

Набрано
в типографии
Г. Гольдберг,
отпечатано
в типографии
Гемпель и Ко.
в мае 1923 в
Берлине

Б Е С Е Д А

Ж У Р Н А Л
ЛИТЕРАТУРЫ И НАУКИ

ИЗДАВАЕМЫЙ
ПРИ БЛИЖАЙШЕМ УЧАСТИИ:

ПРОФ. Б. Ф. АДЛЕРА
АНДРЕЯ БЕЛОГО
ПРОФ. Ф. А. БРАУНА
М. ГОРЬКОГО
И В. Ф. ХОДАСЕВИЧА

№ 1

МАЙ-ИЮНЬ 1923

БЕРЛИН

Вследствие недосмотра тиснографии на стр. 154 вкралась досадная опечатка. 6-ую строку снизу вместо «*Фея живет, как царица где-то в эмпиреях. Но смерть*» следует читать: «*Фея сходит к смертному, брачится с ним, рожд-*

СОДЕРЖАНИЕ

	СТР.
ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ. <i>Зимние стихи</i>	7
М. ГОРЬКИЙ. <i>Отшельник</i> . Рассказ.	11
ЛЕВ ЛУНЦ. <i>Вне закона</i> . Трагедия.	43
НИКОЛАЙ ЧУКОВСКИЙ. <i>Козленок</i> . Стихотворение	126
НИНА БЕРБЕРОВА. <i>Стихи</i>	132
ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ. <i>Четыре письма из книги Зоо</i>	138
ПРОФ. В. М. АЛЕКСЕЕВ. <i>Царевна заоблачных плушек</i> . Перевод с китайского. .	154
М. ГОРЬКИЙ. <i>Заметки</i>	178
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ. О «России» в России и о «России» в Берлине.	211
Д-р. ГАНС ЛЕЙЗЕГАНГ. <i>Антропософия</i> . Перевод с рукописи	237
ПРОФ. Ф. А. БРАУН. <i>Первобытное население Европы</i>	264
РОМЭН РОЛЛАН. <i>Махатма Ганди</i> . Перевод с рукописи.	309
ПРОФ. О. ВИНЕР. <i>Рентген</i> . Перевод с рукописи.	346
ПРОФ. Т. ЛИТТ. <i>Эрист Трелъч</i> . Перевод с рукописи.	356

ФРАНЦ ЭЛЛЕНС. Современное положение французской литературы в Бельгии. Перевод с рукописи.	362
БАРРЕТ КЛАРК. Евгений О'Нэйлл и американская драма. Перевод с рукописи.	374
ДЖОН ГОЛСУОРТИ. Очерк о современной литературе в Англии. Перевод с рукописи.	389
ГРЕГОРИО МАРТИНЕЦ СИЕРРА. Хасинто Венавенте. Перевод с рукописи.	394

★

Перепечатка как всей книги, так
и отдельных статей воспрещается

★

Alle Rechte vorbehalten

★

Copyright by «Besieda»

★

Адрес редакции и конторы:
Berlin S.W. 68, Zimmerstr. 7/8

★

Владислав Ходасевич

ЗИМНИЕ СТИХИ

1

Встаю расслабленный с постели.
Не с Богом бился я в ночи, —
Но тайно сквозь меня летели
Колочих радио лучи.

И мнится: где-то в теле живы,
Бегут по жилам до сих пор
Москвы бунтарские призывы
И бирж всесветный разговор.

Незаглушимо и сумбурно
Пересеклись в моей тиши
Ночные голоса Мельбурна
С ночными знаниями души.

И чьи-то имена, и цифры
Вонзаются в разъятый мозг,
Врываются в глухие шифры
Разряды океанских гроз.

Хожу — и в ужасе внимаю
 Шум, невнимаемый никем.
 Руками уши зажимаю —
 Все тот же звук! А между тем...

О, если бы вы знали сами,
 Европы темные сыны,
 Какими вы еще лучами,
 Неощутимо пронзены!

2

Сквозь облака фабричной гари
 Грозя костлявым кулаком,
 Дрожит и злится пролетарий
 Пред изворотливым врагом.

Толпою стражи ненадежной
 Великолепье окружа,
 Упрямый, но неосторожный,
 Дрожит и злится буржуа.

Должно быть, не борьбою партий
 В парламентах решится спор:
 На европейской ветхой карте
 Все вновь перечертит раздор.

Но на растущую всечасно
 Лавину небывалых бед
 Невозмутимо и бесстрастно
 Глядят: историк и поэт.

Людские войны и союзы,
 Бывало, славили они.
 Разочарованные Музы
 Припомнили им эти дни —

И ныне, гордые, составить
 Два правила велели впредь:
 Раз: победителей не славить.
 Два: побежденных не жалеть.

3

Трудолюбивою пчелой,
 Звения и рокоча, как лира,
 Ты, мысль, повисла в зное мира
 Над вечной розою — душой.

К ревнивой чашечке ее
 С пыливой дрожью святотатца
 Прильнула — вщупаться, всосаться
 В таинственное бытие.

Срываешься вниз головой
 В благоухающие бездны —
 И вновь выходишь в мир подзвездный,
 Запорошенная пылью.

И в свой причудливый киоск
 Летить назад, полухмельная,
 Отягощаясь, накапливая
 И людям — мед, и Богу — воск.

Вдруг из-за туч озолотило
И столик, и холодный чай.
Помедли, зимнее светило,
За черный лес не упадай!

Дай посиять в румянном блеске,
Прилежным поскрипеть пером.
Живет в его проворном треске
Весь вздох о бытии моем.

Трепещущим, колючим током
С раздвоенного острия
Бежит — и на листе широком
Отображаюсь... нет, не я:

Лишь угловатая кривая,
Минутный профиль тех высот,
Где, восходя и ниспадая,
Мой дух страдает и живет.

Saagow
1923

М. Горький

ОТШЕЛЬНИК

Лесной овраг полого спускался к желтой Оке, по дну его бежал, прячась в травах, ручей; над оврагом — незаметно днем и трепетно по ночам — текла голубая река небес, в ней играли звезды, как золотые ерши.

По юго-восточному берегу оврага спутанно и густо разросся кустарник, в чаще его, под крутым отвесом вырыта пещера, прикрытая дверью, искусно связанной из толстых сучьев, а перед дверью насыпана укрепленная булыжником площадка в сажень квадрата, от нее к ручью спускаются лестницей тяжелые валуны. Три молодых дерева растут перед дверью пещеры: липа, береза, клен.

Все около пещеры сделано хозяйственно и прочно, на долгую жизнь. И так же прочно устроена внутренность ее: бока и свод покрыты циновками из прутьев ивняка, циновки смазаны глиной, смешанной с илом ручья; налево от входа сложена небольшая печь, а в углу — аналой, покрытый, точно парчю, плотной рогожей; на аналое в железном держальце — лампадка, синеватый огонек ее колеблется, в сумраке, чуть виден.

За аналоем три черные иконы, на стенах висят связки новых лаптей, на полу лежит лыко; вкусный запах сухих трав наполняет пещеру.

Хозяин этого жилища старик среднего роста, плотный, но весь какой-то измятый, искусанный. Лицо его, красное, точно кирпич, безобразно, левая щека разрезана от уха до подбородка глубоким шрамом, он искривил рот, придав ему выражение болезненно-насмешливое, темненькие глаза изувечены трахомой, без ресниц, с красными рубцами на месте век, волосы на голове вылезли клочьями и на бутроватом черепе две лысины, одна, небольшая, на макушке, другая обнажила левое ухо. Но старик подвижен и ловок, точно хорек; уродливо голые глаза его смотрят ласково; когда он смеется, увечья лица почти исчезают в мягком обилии морщин. На нем хорошая рубаха небеленного полотна, синие пестрядинные штаны, веревочные лапти, ноги до колен в заячьих шкурах вместо онуч.

Я пришел к нему веселым днем мая, и мы сразу подружились, он оставил меня почевать, а во второе мое посещение уже рассказал мне свою жизнь.

— Я — пильщик был — сказывал он, лежа под кустом калины, сняв рубаху и грея на солнце грудь, мускулистую не по-стариковски. — Я семнадцать лет бревна резал, вот и рожу мне пила распахла. Так и звали меня — Савёл Пильщик. Пилить, это, дружба, не легкая занятя: — машешь-машешь руками в небо, а на роже — сетка, а над головой — бревна, и ничего не видеть, и оппенок на тебя сыплется — беда! А я веселый был, игривый, турманом жил, знаешь, голуби есть турмана: взовьется высоченно в небеса, в самую невидимую глубь, свернет там крылья, головку под крыло и — бултых вниз! Многие убиваются на смерть, об крыши, об землю. Вот эдак и я. Веселый я был, безобидный, вроде блажен-

ного какого, бабы, девки любили меня, ну-как сахар, — верное слово! Что делалось! Вспомнить радостно...

И перекачиваясь с бока на бок, он смеялся звонко, как молодой, только в горле у него немного хрипело, — смеху его ладно вторил гучей. Тепло вздыхал ветер: по нежным бархатам весенней листвы скользили золотистые зайчики.

— Ну-ко-сь, хлебом, дружба, — предложил Савёл. — Тащи ее!

Я сходил к ручью, в нем холодила бутылка водки, выпили по стаканчику. Закусывая кренделем и воблой, старик с восхищением говорил:

— Хорошо это придумано -- винишко!

И облизав седые, трепанные усы:

— Ладная штука! Много я ее не могу принять, а в малом качестве — уважаю! Сказывают: первый, водку сварил бес. За хорошее дело и бесу спасибо...

Зажмурил глаза, умолк на минуту и вдруг воскликнул, протестуя:

— Ну все-таки обидели меня, — в кровь обидели! Эх, дружба, до чего-же люди обижать навывкли дружка дружку — так даже стыдно! Щенком бездомным совесть живет промежду нас, — неприятно совести! Ну, — ладно! Был я женатый, все, как следует, жена — Натальей звали, красивая баба, мягкая. И жили мы с ней ничего, уютно; гуляла она несколько, ну я сам человек отхожий, дома живу мало, где какая баба получше, поласковее, — той и пользуюсь. Дело обыкновенное, без него нельзя, а в крепкие годы ничего лучше не найдешь. Бывало придумой, деньжонок принесу, того сего, а люди говорят: Смеются, значит! Ну, я ее — для приличности — побью

маленько потом подарочек сделаю, приласкаю: дура, говорю, как-же это ты на смех людям ставишь меня? Или я тебе не приятель, али недруг какой? Плачет, конечно; врут они, говорит. Я сам знаю, что люди врать любят; ну, однако, меня не обманешь: ночью про бабу правду скажет; ночью сразу почувешь: была в чужих руках, али нет? Что-то зашумело в кустах за его спиной.

— П-ш! — старик потряс рукою ветвь калины. — Ежишко тут живет, наемдни ногу я наколол об него, — иду мыться к ручью, а его в траве не видно, — прямо в палец всадил себе колючку!

Он улыбаясь посмотрел в кусты и, весь взметнувшись, продолжая:

— Да, дружба! Так, вот, значит и обидели меня, да — ведь как! Была у меня дочь Таша, — Татьяна. Ну хватать не буду, в одном слове скажу: всему свету радость, — вот такая дочь! Звезда! Наряжал я ее — выйдет на улицу в праздник — Божья красота! Походка ли, стан ли, глаза, — учитель наш Кузьмин — Сундук по прозвищу, — неуклюж парень родился, — так он ее неведомым именем называл, а — выпивши — до слез доходил, все упраскивал, чтобы я ее берег. Я — берег! А был я удачлив, этого у нас не любят, зависть была ко мне, и пустили слухов будто я изнасилал дочь, живу с ней...

Тревожно заерзал по траве, снял с куста рубаху, надел ее и тщательно застегнул ворот. Его лицо болезненно искривилось, он плотно сжал губы и реденькие щетины седых его бровей опустились на обнаженные глаза. Вечерело. Становилось свежо. Где-то бил перепел:

— Подь — полоть...

Старик смотрел вниз, в овраг.

— Вот, значит, и пошло дымом дымить! Кузьмин, поп, писарь, кое которые мужики, а особливо бабы, зазвонили языками, забили во все бубны: катать — валяй, человек ошибся! Это праздничек нам, — человека травить, это мы любим! Таша плачет, — на улицу выйти нельзя, мальчишки дразнят. Все рады — забава! Я говорю: Уйдем, Таша...

— А жена? —

— Жена? — удивленно переспросил старик. — Так она же померла! Ночью, в одночасье, охнула да и померла. Как-же! Она — за долго до этого, — Таше тринадцатый шел. Она была супротивна мне, нехорошая баба, не верная!

— Ты, ведь хвалил ее, — напомнил я. Это его не смутило; почесав шею, он приподнял ладонью бородку вверх, и глядя на нее, спокойно сказал:

— Так что, что хвалил? Всякий человек не всю жизнь плох, иной раз и плохой похвалы достоин. Человек — не камень, а и камень от времени меняется. Однако, ты не подумай чего, — она своей смертью померла. Это, от сердца она, — думать надо, сердце у ней захлебывалось, бывало, ночью играешь с ней, а она вдруг обомлеет, вроде, мертвая бывала. Даже страшно!

Его мягкий сыповатый голосок звучал певуче, неумимо и родственно сливался в теплом воздухе вечера с запахом трав, вздохами ветра, шелестом листвы, тихим плеском ручья по камням. Замолчи он и — ночь будет не полна, не так красива и мила душе. Говорил Савёл удивительно легко, не затрудняясь поиском слов, одевая мысли любовно, как девочка куклы. Я уже не мало слышал русских краснобаев, людей, которые опьяняясь цветистым словом, часто — почти всегда — теряют тонкую

нить правды в хитром сплетении речи. Но этот плёл свой рассказ так убедительно просто, с такой ясной искренностью, что я боялся перебивать его речь вопросами. Следя за игрой слов, я видел старика обладателем живых самоцветов, способных магической силою своей прикрыть грязную и преступную ложь, я знал это и все-таки поддавался колдовству его речи.

— И началось, дружба милая, это самое дело: доктора призвали, осмотрел он, бесстыжие глаза, всю Ташу подробно, а был с ним еще один хлюст, — лысоватый такой с золотыми пуговками, — следовательно, что-ли, — спрашивает: кто, когда? Она молчит, ей стыдно. Заарестовали меня, отвезли в губернию, в острог. Сижку. Лысый это говорит мне: сознайся и будет тебе зато легкая казнь. Я ему добродушно предлагаю: отпусти меня, твое Высочорodie, в Киев, ко святым мощам, грехи замолю. Вот — говорит — и хорошо, сознался ты! Поймал, значит, меня, лысый кот. А я ни в чем ему и не признавался, просто, так, от скуки слово бросил. Скушно было мне, не привышно в остроге — кругом воры, человекоубийцы и всякий дрянной народ, к тому же думается: а что с Ташей сделают? Больше года тянули канитель эту, потом начали судить. Гляжу: — Таша тоже пришла, — в рукавичках, сапожки на ней — необыкновенно все! Платице голубое вроде облака, — душа насквозь светится! Весь, этот суд на нее смотрит и весь народ, и знаешь, дружба, как сон все это. А рядом с Ташей госпожа Анцыферова, помещица наша, шука баба, хитрейшего ума. Ох, думаю, эта меня загрызет, эта меня с'ест до костей!

Он засмеялся как-то особенно добродушно.

— Сын у ней Матвей Алексеич, — я его за дурачка принимал, — скушное дитё! Белый весь, без кровинки,

в очках ходил, волосы поповские, бороденка — на смех, и все он песни да сказки в книжечку записывал. Добрага, чего не попроси — дает! Ну, мужики этим пользовались: тот косу дай, этот дров, третий — хлеба; берут кому чего надо, — не надо. Я ему говорю: «Что ты, Алексеич, раздаешь все? Отцы, деды твои копили, наживали, шкуру драли с людей, не боясь греха, а ты раздаешь без оправдания. Али тебе не жалко трудов человеческих?» — «Так, говорит, — надо!» Не больно умен был, ну, все-таки тихой души парень. Потом его губернатор в Китай сослал, нагрубил он губернатору, а тот его — в Китай.

— Ну, — суд... Оказался защитник у меня, часа два говорил, так руками и машет. Таша тоже за меня...

— Да ты — жил с ней?

Он подумал, как бы припоминая, потом равнодушно сказал, следя обнаженными глазами за полетом ястреба.

— Бывает это, — живут и с дочерьми. Даже святой один с дочерьми жил, с двумя; от них тогда, пророки Авраам, Исаак родились. Про себя я не скажу этого. Конечно играл я с ней; дело зимнее, ночи длинные, скушно! Особливо-же скушно такому, который вертеться на земле привык, ходить туда — сюда, а я таков был. Сказки рассказывал я ей, — сказок я знаю сотни! Ну, а сказка — вещь фальшивая. И — кровь горячит. А Таша...

Он закрыл глаза и качая головой вздохнул:

— Красавица же она была невозможная! А я тоже до женщин невозможный, — совсем безумный!

Старик весь вострепнулся, и — с восхищением, с гордостью, — сказал, захлебываясь словами:

— Ты — гляди, дружба: шестьдесят семь годов мне, а и теперь могу всякую женщину добрать до самого до конца — вот оно как! Пяток лет спустя — какие жобылицы, бывало молили меня: Савелушко, милый, отпусти, сил больше нет! Пожалеешь, отпустишь, а — она, через неделю опять тут! Что, — спрашиваю — пришла? То-то вот! Женщина, это, дружба, большое дело, вся земля об этом бредит, — зверь, птица, малая букашка — все одним живы! Кроме — то — чем жить?

— Что-же, все-таки, сказала дочь на суде?

— Таша? Она придумала, — а то Анцифериха научила ее, я Анциферихе полезный был, — она сказала, что сама себе вред сделала, а я — не виноватый. Ну, меня и отпустили. Зря все у них это, так себе, на показ, вот, дескать, глядите, как мы законы стережем! А все — обман один, законы эти, приказы всякие, бумаги, ничего этого не надо, пускай всяк живет как хочет! И дешевле будет и приятнее. — Вот я живу, никому не мешаю, и никуда не лезу....

— А убийцы — как?

— Их — убивать! — решил Савелий. — Который убил, его тоже прикончить, тут-же на месте, — не дури! Человек не комар, не муха, не хуже тебя, сволочь...

— А — воры?

— Чудак, — откуда-же воры, коли воровать нечего? Чего у меня украдешь? Лишнего — нет, значит и зависти нет, и жадности нет... Откуда тут воры рождаются? Вор, — от избытку; он глядит: ой, как много! Ну, и цапнет чего ни будь...

Было уже темно, ночь влилась в овраг. Трижды ухнула сова, — старик выслушал ее жуткие крики и, улыбаясь сказал:

— Не далеко тут живет, в дуплище. Иной раз застигнет ее солнышко, не успеет она спрятаться и торчит на свету. Я иду язык показываю ей: что, дура? Ничего не зрит, молчит! Увидят ее мелкие птицы — беда ей!

Я спросил: как-же он стал отшельником?

— Так и стал: ходил-ходил, потом остановился. Из-за Таши все. Анцифериха тут хитро с'играла, — не допустила меня к ней после суда. Я, говорит, всю правду знаю и скажи мне спасибо, что в каторгу не попал, а дочери я тебе не выдам! Дура, конечно. Повертелся я около нее, вижу: — нет, ее не обойдешь. И — пошел. Был в Киеве и в Сибири был, — там большие деньги заработал, вернулся в свои места, Анцифериху на железной дороге колесами задавило, а Тапу — она замуж выдала за фершала, в Курск. Я — в этот Курск, а фершал в Персию уехал в Узун — город. Я в Царицын, а там на пароход, потом морем ехал в Узун, — а Таша-то померла! Видел я этого фершала, — рыжоватый такой красноносый, веселый. Оказался — пьяница. — «Ты, говорит, может есть отец ей?» Нет, говорю, куда мне! Просто я его в Сибири видел, отца-то! Не хотелось открываться перед ним, — чужой человек. Ну, прошел на Новый Афон, — чуть не остался жить там — хорошее место. После вижу — нет, не хорошо! Море гремит, камни ворочает, абхазы ходят, место не ровное, горы кругом, а ночи — такая чернота, будто тебя в смоле утопили. И — жара. Пришел сюда, да вот и живу — девятый год, — не — зря живу! Притом, обстроился здесь — березу посадил; три года прожил — кленок посадил, — потом — липу, — видишь? Я, дружба, большой здесь утешитель людям, — вот приходи в воскресенье, погляди-ка, послушай!

Он почти не упоминал имени Божия, — третьего слова в устах людей подобных ему. Я спросил: — много он молится?

— Нет, не много, — задумчиво ответил старик, закрыв голые свои глаза. — Сначала я здорово молился; бывало — часами стою на коленках, все крещусь. Руки у меня пилой намотаны, не устают и спина тоже. Тыщу поклонов могу положить — не охну! А, вот косточки на коленях — не терпят, ноют. Потом я вздумался: чего это я молюсь, о чем? Все у меня есть, люди меня уважают, а я — Бога беспокою. У Бога — свои дела, зачем мешать ему? От Него даже отводить надо людские пустяки. Он, Бог, про нас заботится, а мы о Нем — нет. И я так думаю: Господь живет для больших людей, где у него время для меня, мелкого дурака? Теперь я — просто так: не спится ночью, выйду из пещеры, сяду тут где-нибудь, да, глядя в небеса Господни, думаю: — как он там? Это, дружба, очень приятная занятня, до того, что и сказать нельзя, — дивен сон на яву! И — не устаешь, как на молитве. Ничего я у Него не прошу, да и другим не советую, а когда, вижу, надо, — говорю тому, другому: Бога пожалей! Вот, приходи-ко, погляди, какой я полезный и Ему, и людям...

Он говорил не хвастливо, а со спокойной уверенностью мастерового, в знании своего ремесла. Голые глаза его улыбались весело, скрапывая безобразие изуродованного лица.

— Зимой-то как живу? Ничего, у меня и зимой тепло. Только зимой народу трудно ходить ко мне из-за снега; бывает, сутки по двое, по трое без хлеба живу. Один раз — суток восемь, али больше, не ел ни крошки, обесилел до того, что и память потерял. Девонька одна,

пришла таки, — выправила меня. Монастырская служба она была, а после вышла замуж за учителя. Это я ее недоумил; что ты, Ленка, говорю, балуешься? К чему это тебе? Я, говорит, сирота. Выходи, замуж, — вот и конец сиротству! А тут — учитель, Певцов, милый человек, я ему и советую: приглядиись, Миша, к девушке! Да. Он ее, в скорости, и поял. Ничего, живут. Ну, зимой я в Саров ухожу, в Оптину, в Оранки, в Дивеевский, тут — кругом монастыри. Монахи, однако, не любят меня, все к себе зовут, чтобы я постригся, в старцы шел бы, — им это выгодно, приманка людям, а я не хочу, я живой, мне это не годится. Али я — святой? Я, дружба, просто — тихий человек...

Смеясь, потирая бока ладонями он, умиленно, сказал:

— За то у монахинь я — милый гость! Любят они меня, — эти меня любят! Не хвастаю, чистая правда. Я, дружба, женщину насквозь знаю, всякую, какую хочешь, хоть дворянских кровей, хоть купеческих, а простая баба мне насквозь видна, как моя душа. Погляжу в глаза и все понимаю, всякое беспокойство ее. Я тебе про них такие сказки могу рассказать... И снова он убедительно пригласил меня:

— Ты вот, приходи, увидишь, как я с ними гуторю! Ну-ко, давай еще опрокинем по баночке.

Выпив, он зажмурил глаза и, качая головой, с новым восхищением проговорил:

— До чего-же это вино полезное!

Короткая ночь весны, заметно таяла, становилось свежо, я предложил развести костер.

— Ну, — зачем? Али холодно? Мне, старцу, не холодно, а тебе холодно. А-яй! Так ты в пещеру, иди, ложись там. Видишь-ли, дружба, ежели огонь развести,

налетит всякая живая мелочь и станет гореть в огне, а я этого не люблю. Огонь им, как западня, на погибель. Солнышко, — всякому огню отец, никого не убивает, а мы с тобой, костей наших ради, всю эту мелкоту будем жечь. Не надо...

Я согласился — не надо. И ушел в пещеру, а он еще долго возился вне ее, уходил куда-то, плескался в ручье и я слышал его ласковый голос:

— Пють... Не бойся, дурачек... Фить...

Потом он тихонько, дребезжащим голосом зашел, словно баюкая кого-то...

Когда я проснулся и вышел из пещеры, — Савелий, сидя на коленях, ловко плел лапоть и говорил зяблику, который яростно распевал в кустах:

— Катай — валяй, пой, день — твой!

— Выспался, дружба? Иди, мойся, я уже чайшко вскипятил, поджидаю тебя...

— Ты, — что-ж не спал?

— Я, дружба, помру-попью...

Я пришел к нему недели через три, в субботу к вечеру и был встречен им как старый, любимый знакомый.

— А я, уже, думал: забыл этот человек меня! О, и винца принес? Ну спасибо! И хлеба пшеничного? Да, гляди-ка ты, мягкий какой! Ну, добер ты, ой, хорош! Тебя люди должны любить, они добрых — любят, они свою пользу знают. Колбаса? Это я не уважаю, это — собачья пища, ты сам ее кушай, а, вот рыбку я люблю! Эта рыба называемая рыбец, — сладкая рыба, из Каспийского моря, я знаю! Ты, тут, рубля на полтора принес. чудачок. Ну, ничего, спасибо!

Он показался мне еще более живым, более радушно сияющим; мне стало легко, весело и я подумал:

— Чорт возьми, — а, ведь, пожалуй я вижу, счастливого человека? — Ловкий, мягкий, он хозяйственно суетился, пряча мои дары и, точно искры, от него летели во все стороны эти милые русские, обаятельные слова, от которых пьянеет душа.

Движения его прочного тела, быстрые, как движения ужа, великолепно гармонировали с четкой речью и, несмотря на изуродованное лицо его, на эти глаза без ресниц, — как будто нарочно разодранные для того, чтобы больше и смелее видеть — он казался почти красивым, красотой пестро и хитро спутанной жизни. И его внешнее безобразие особенно резко подчеркивало эту красоту.

Снова, почти всю ночь, трепетала его седенькая борода и топорщились выщипанные усишки, когда он закатисто смеялся, широко растягивая кривой рот, в котором блестели белые, острые зубы хорька. На дне оврага было тихо, наверху гулял ветер, качались кроны сосен, шелестала жесткая листва дубов; синяя река небес была бурно взволнована — серая пена облаков покрывала ее.

— Чу! — предостерегающе подняв руку, тихонько воскликнул старик. Я прислушался, — было тихо.

— Лиса крадется, у нее тут нора. Охотники спрашивают: а, что, дед, не живет тут лиса? Я их обманываю, — ну, какие тут лисы? Не уважаю охотников, мать их Бог любил!

Я уже заметил, что старику иной раз очень хочется выругаться глупой русской бранью, но, понимая, что это уже не подобает ему, он говорил только «мать твою Бог любил», «мать твою курицу».

Выпив водки, настоянной на буквице, он говорил, прижмуривав разодранные глаза:

— Какая скусная рыба эта, — покорно тебя благодарю, — очень я люблю все скусное!...

Не ясно было мне его отношение к Богу, и я осторожно завел беседу на эту тему. Сначала он отвечал мне обычными словами странников, завсегдатаев монастырей, профессиональных богомолков, но я почувствовал, что ему скучно говорить так и не ошибся, — подвинувшись ближе ко мне и понизив голос, он вдруг оживленно начал:

— Скажу я тебе, дружба, про французика одного, французского попа, — маленький такой попик, черный весь, как скворец, на головке — гуменце выстрижено, на носике — очки золотые, а ручки — словно у девочки малы и весь он — игрушка Божова! Встретил я его в По-чаевской Лавре, — Лавра эта далеко отстоит — там!

Он махнул рукой куда-то на Восток, в Индию, вытянул ноги поудобнее и продолжал, опираясь спиной о камни.

— Кругом — поляк живет, — чужое место, — не наша земля. Балагурю я с монахом одним, он говорит: людей надо наказывать чаще, а я посмеиваюсь: ведь коли правильно наказывать, так надо — всех, а тогда и время ни на что не хватит, и делать больше ничего — дери дёром друг, дружку, только и всей работы! Рассердился монах на меня — ты, говорит, дурак! И ушел. А попик этот в уголке сидел и вот подкатился ко мне и — начал, — ах, какой! Я тебе, дружба, так скажу: он мне вроде Иван-Крестителя. Язык ему мешал, не все наши слова можно сказать чужим языком, ну — все таки говорил он с большою душой. Видел я, — говорит, что вы, — все на вы со мною, да! — вы, говорит, не верите монаху, ох, говорит, это очень хорошо! Бог, говорит, не злодей людям, а сер-

дечный друг, только с Ним по доброте его, так случилось: растаял Он в слезной жизни нашей, как сахар в воде, а вода серная, вода — грязная и не стало нам чуть его, — не чуем, не слышим мы скуса Божия в жизни нашей! А все-таки Он во всем мире пролит и в каждой душе живет чистейшей искрой и надо, говорит, нам искать Бога в человеке, собирать его во единый ком, а как соберется Господь всех душ живых во всей силе своей, — тогда придет к нему Сатана и скажет: велик Ты, Господи, и силен безмерно, не знал я этого — прости пожалуйста! — А теперь — не хочу больше бороться с Тобой, возьми меня на службу Себе.

Старик говорил напряженно и на его темном лице странно сверкали расширенные зрачки.

— И тогда наступит конец всякому непотребству и злу и всякой земной сware, и все люди возвратятся в Бога своего, как реки в Океан — море....

Он захлебнулся словами, ударил по коленям своим и начал сиповато смеяться, радостно продолжая, сквозь смех:

— Ну — так все это мне не по сердцу пришлось, так светло на душе стало — и не знаю, что сказать французика. Ваше, говорю, Христово подобие, можно тебя обнять? Обнялись и — давай мы плакать оба, — ведь как плакали! Как малые ребята, родителей встретив, после долгой разлуки. А оба — старые, у него щетинка-то вокруг гуменца тоже седая. Тут я ему и сказал: ты, говорю, мне Христоподобие, вместо Ивана-Крестителя! Ваше Христоподобие зову его, а самому смешно: он, — я — те сказал, — на скворца похож был. А монах этот, Виталий, все ругал его: вы, говорит, гвоздик! Верно, он и на гвоздик был схож, — острый такой! Тебе, дружба, милая вся эта радость моя, конечно, непонятная, ты —

грамотный, сам все знаешь, а я, в ту пору, слепой был, хожу, — будто все вижу, а — ничего, не понимаю, — где Бог? А он мне сразу все и открыл, — сообрази, каково это было мне! Ведь я тебе речи его в краткости сказал, а мы с ними до свету беседу вели, он мне столько много говорил, что я — одно ядро помню, а скорлупку всю растерял...

Замолчав, он понюхал воздух, как зверь.

— Дождик, будто, собирается? Али — нет?

Понюхал еще и успокоенно решил:

— Нет, не будет дождя, — это к ночи сыреет... Я тебе, дружба, скажу, все эти французы и разных иных земель жители, — высокоумный народ. В Харьковской, — не то в Полтавской — губерне, у одного князя великого, англичанин, управляющий, глядел — глядел на меня, потом позвал в комнату и говорит: «Вот тебе, старик, секретное письмо и отнеси его туда-то, такому-то человеку — можешь?» Чего — же не мочь? Мне все равно куда идти, а тут верст сотня до указанного места. Взял я пакет, привязал на веревку, сунул за пазуху — иду. Пришел в указанное место, прошусь: допустите меня к помещику! Меня, конечно, по шее. Гонют, бьют. Ах, вы, думаю, оканные, раздуй вас горой! А пакет в бумажке был, и, от поту, бумажка разлезлась вся, — гляжу: деньги! Большие деньги, рублей триста, примерно. Испугался — вдруг заметит кто-нибудь да украдет ночью? Что делать? И, вот, сижу в поле, на дороге, под деревом, — едет господин; может это тот самый, кого мне нужно? Встал на дорогу, малю посохом, кучер меня хлыстом огрел, ну, господин, велел остановиться и даже ругнул его. Господин — тот самый «Вот — говорю» — «извольте получите секретный пакет!» — «Хорошо, — говорит, — садись со

мною, едем!» Поехали, привез он меня в роскошную комнату и спрашивает: что это за пакет? По моему — деньги, — говорю — бумага-то отпотела, я видел». «А, кто, говорит, дал это тебе?» Не могу сказать, не велено! Он — кричать на меня: «К становаму отправлю, в тюрьму! «Ну, что-ж, говорю, значит так надо. Он меня пугал, пугал, однако, — не боюсь! Вдруг — отворяется дверь и этот самый англичанин на пороге. Что такое? А он — хохочет. Он по железной дороге раньше меня приехал и — ждал: приду я али нет? И знали они оба, что давно я пришел, и видели как прислуга гнала меня, — сами же и велели гнать, бить не велели, а только — гнать. Ну, понимаешь, это они шутку шутили для испытания мне, — донесу деньги, али нет. Понравилось им, что донес, велели они мне вымыться, дали всякую чистую одежду и пожалуйста кушать с ними! Да, — а, дружба... Ну, я тебе скажу и кушали мы! А вино, — так, знаешь, — хлебнешь его и — рот закрыть нет! И обожгло, и дух прелестный. Так они меня напоили, что даже облевал я. На другой день — тоже кушал с ними, рассказывал разное, очень удивлялись. Англичанин напился и доказывал, что русский народ — самый удивительный и никому не известно, что он может сделать. Даже кулаком по столу стучал. Деньги эти они дали мне — возьмите, говорят. Я взял, хоть никогда не жадовал на деньги, не интересен был к ним. Ну, а вещь разную любил покушать — раз куклу купил; иду по улице, гляжу: кукла в окошке лежит, совсем как живое дите и даже глазки заводит. Купил. Четверо суток с собою таскал, присяду где-нибудь, выну из котомки и — гляжу. Потом девчонке отдал в деревне. Отец ее спрашивает — украд? Украд, говорю, — стыдно было сказать, что купил...

— Как-же кончилось с англичанином? —

— Отпустили меня, только и всего. Руку жали мне. Говорили разное, эдакое — дескать, мы пошутили, извините... Надо мне поспать, дружба, а то завтра у меня день трудный...

Укладываясь спать, он говорил:

— Чудак я был! Вдруг, бывало, охватит меня радость, так все нутро, все сердце и обольется, — хоть пляши! И — плясал ведь; люди смеются, а я — пляшу... Что-ж? Детей — нет у меня, стыдиться некого....

— Это, дружба, — душа играет, задумчиво и тихо продолжал он.

Душа — птица капризная, куда летит — неведомо...

Почти сквозь сон, или как в бреду, старик говорил с паузами, пожевывая и вдруг снова оживился, точно сырыснутый холодным дождем:

— В прошлом году, осенью, появилась ко мне барыня из города; она — так себе, суховатая, неказиста, а — взглянул я в глаза ей — Господи! Вот — бы мне ее, на одну бы только ночь, а — после, — ножами режьте, конями рвите, — ничего не боюсь! Какую хочешь смерть приму. И — говорю ей прямо: уйди, пожалуйста, а то я тебя обижу, уйди! Не могу я беседовать с тобой. Уходи! Не знаю, поняла-ли она, али что, — ушла поспешно. Так я — сколько ночей не спал из за нее — мерещатся глаза эти, что хощь делай! А, — старик, ведь... Старец... да!... Душа — закона не знает, годов не считает....

Он вытянулся на землю, двигая красными рубцами век, чмокая, потом сказал:

— Ну-ко, буду спать...

Закутал голову армяком и умолк.

Проснулся он на рассвете, взглянул в облачное небо и торопливо сбегал к ручью, там разделся до нага, кряхтя, вымыл свое крепкое, коричневое тело с ног до головы и закричал мне:

— Эй, дружба, дай-кося мне рубаху и порты, там, в землянке лежат...

Одев длинную до колен, белую рубаху и синие порты, он причесал деревянным гребнем мокрые волосы и, почти благообразный, отдаленно напоминая какую-то икону, сказал:

— Я всегда чисто моюсь перед тем, как народ принимать.

За чаем он отказался выпить водки.

— Нельзя! И есть не буду, только чайку выпью. Надо, чтоб ничего в голову не бросалось, чтоб легко было. В этом деле большая легкость души нужна...

Народ начал приходить после полудня, но до этого времени старик вел себя молчаливо и скучно. Его живые, веселые глаза смотрели сосредоточенно, в движениях явилась степенность. Он часто поглядывал в небо, прислушивался к шороху легкого ветра, лицо его вытянулось, стало еще более уродливо и рот искривился почти болезненно.

— Идет кто-то, — вдруг тихо сказал он.

Я ничего не слышал.

— Идут. Бабы. Ты, дружба, вот что: ты не говори ни с кем, не мешай, — испугаешь! Ты где-нибудь, в сторонке живи. Тихо.

Из кустов безшумно вылезли две бабы; одна дородная средних лет, с кроткими глазами лошади, другая молоденькая с чахоточным, серым лицом, обе они испуганно

установились на меня, — я ушел вверх по склону оврага и слышал слова старика:

— Ничего, он — не помеха нам. Он — блаженненький, ему все равно, не вникает в дела наши...

Надломленным голосом, покашливая, присвистывая, торопливо и обиженно, заговорила молодая баба, подруга ее не громко, густыми звуками вставляла в ее речь краткие слова, а Савелий сочувственно, не своим голосом восклицал:

— Так-так-так! Ай-йй-йй? — Экие, какие, а?

Баба тонко заплакала, тогда старик певуче протянул:

— Милая, ты — погоди, перестань, ты послушай...

Мне показалось, что голос его потерял сиповатость, звучит выше и чище, а мелодия слов странно напомнила незатейливую песенку щегленка. Я видел сквозь сетку ветвей, что он, наклоняясь к женщине, говорит ей прямо в лицо, а она неудобно, сидя рядом с ним, широко открыла глаза, прижав ладони ко груди своей. Подруга ее, склонив голову на бок, покачивала ею.

— Тебя обидели — Бога обидели! — громко говорил старик, и бодрый, почти веселый тон этих слов явно не ладил со смыслом их. — Бог-то — где? В душе твоей, за прудами твоими живет Свят Дух Господень, а они дураки, братья твои, Его и заделали дуростью своей. Их, дураков, пожалеть надо, — плохо сделали. — Ведь Бога обидеть это — как малого ребенка обидеть твоего-бы... И снова он певуче произнес:

— Милая...

Я даже вздрогнул: никогда раньше не доводилось мне слышать и принять это, хорошо знакомое, ничтожно маленькое слово, насыщенным такой ликующей нежностью. Теперь старик говорил быстрым полупропотом;

положив руку на плечо женщины, он тихонько толкал плечо, и женщина покачивалась, точно задремав. А большая баба села на камни к ногам старика, аккуратно веревом, — разбросив вокруг себя подол синей юбки.

— Свинья, собака, лошадь, всякий скот разуму человека верит, а братья твои — люди, — помни! И скажи старшему, чтоб он в то воскресенье пришел ко мне..

— Не придет он, — сказала большая баба.

— Придет! — уверенно воскликнул старик.

В овраг спускался еще кто-то, — катились комья земли, шуршали ветви кустов.

— Придет, — повторил Савелий. — Теперь — идите с Богом! Все наладится.

Чахоточная баба встала и молча, в пояс поклонилась старику, он подставил ладонь свою под лоб ей, приподнял ее голову и сказал:

— Помни: Бога носишь в душе!

Она снова поклонилась, подавая ему маленький узелок.

— Спаси тебя Христос...

— Спасибо, дружба!.. Иди, себе!..

И перекрестил ее.

Из кустов вышел широкоплечий мужик, чернобородый, в новой, розовой, еще не стиранной рубаше, — она топорщилась на нем угловатыми складками, вылезая из-за пояса. Был он без шапки, вклокоченная копна полуседых волос, торчала во все стороны буйными вихрами, из под нахмуренных бровей угрюмо смотрели маленькие медвежьи глаза.

Уступив дорогу бабам, он поглядел вслед им, гулко каплянул и почесал грудь.

— Здорово, Олёша, — сказал старик, усмехаясь.
— Что?

— Пришел, вот, — глухо ответил Олёша. Посидеть с тобой охота.

— Ну, посидим, давай!

Посидели с минуту молча, серьезно оглядывая друг друга, потом заговорили одновременно:

— Работаешь?

— Тоска, отец.

— Большой ты мужик, Олёша!

— Кабы мне твою доброту...

— Великой силы мужик!

— На кой она мне, сила? Мне бы вот душу твою...

— Вот — погорел ты; другой-бы осел, затосковал...

— А — я?

— А ты — нет! У тебя опять хозяйство играет...

— Сердце у меня злое, — сказал мужик шумно и обложил сердце свое матерными словами, а старик спокойно, уверенно говорил:

— Сердце у тебя обыкновенное, человечье, тревожное сердце, — тревоги оно не любит, покою просит...

— Верно, отец...

Так они говорили с полчаса — мужик рассказывал о человеке злом, буйном, которому тяжело жить от множества неудач, а Савелий говорил о каком-то другом, крепком человеке, упрямом в труде —, о человеке, у которого ничего не ускользнет, не отвертится от рук, а душа у него — хорошая.

Усмехаясь во всю рожу мужик сказал:

— Помирился я с Петром...

— Слышал.

— Помирился. Выпили. Я ему говорю: ты, что-же, дьявол? А — ты, говорит? Да. Хорош он мужик, мать...

— Вы оба — одного Бога дети....

— Хороший. Умен, главное! Отец, — жениться, что-ли, мне?

— А — как-же? На ней и женись...

— На Анфисе?

— На ней! Хозяйка. А — красота какая, сила? Вдова, жила со старым, натерпелась, — тебе с ней хорошо будет, верь....

— Женюсь, в самом деле...

— Только и всего....

Потом мужик рассказывал что-то малопонятное о собаке, о том, как выпустили из бочки квас, рассказывал и хохотал, точно леший. Его угрюмое, разбойничье лицо совершенно преобразилось в глуповато добродушную рожу обыкновенного, избяного зверя.

— Ну, Олёша, отойди в сторону, идут ко мне...

— Страдальцы? Ладно....

Олёша спустился к ручью, попил воды, черпая ее горстью, минуты две сидел неподвижно, точно камень, потом опрокинулся на спину, заложил руки под голову и, должно быть, тотчас уснул.

Пришла хроменькая девушка в пестром платье, с толстой русой косой на спине, с большими синими глазами, лицо на редкость картинное, а юбка раздражающе пестра, вся в каких-то зеленых и желтых пятнах, а на белой кофточке пятна красные, цвета крови.

Старик встретил ее радостно, ласково усадил, — но появилась высокая, черная старуха, похожая на монахиню, и с ней больше-головый, белобрысый парень, с неподвижной улыбкой на толстом лице.

Савелий торопливо отвел девушку в пещеру, и спрятав ее там, притворил дверь, — я слышал как заскрипели деревянные петли ее.

Он сел на камень между старухой и парнем и долго, молча, опустив голову, слушал бормотание старухи.

— Будет! — вдруг громко и строго сказал он. — Значит, не слушает он тебя?

— Никак. Я ему и то, и се...

— Погоди! Не слушаешь ты ее, парень?

Тот молчал, глупо улыбаясь.

— Ну, вот, ты — и не слушай! Понял? А, ты, женщина, затеяла дело плохое, я тебе прямо скажу — это судебное дело. А хуже судебных дел — ничего нет! И — ступай от меня, иди! Нам с тобой толковать не о чем. Она тебя обмануть хочет, парень...

Парень, ухмыляясь, сказал высоким тенором:

— Я зна-аю...

— Ну — идите! — Брезгливо отмахиваясь от них рукой, сказал Савелий. — Ступайте. Удачи — не будет тебе, женщина. Не будет!..

Они оба поникли, молча поклонились ему и пошли кустарником вверх по незаметной тропе, — мне было видно, что поднявшись шагов на сотню, они оба сразу заговорили, плотно встав друг против друга, потом сели у корня сосны, размахивая руками; долетал ворчливый гул. А из пещеры выплыл невыразимо волнуемый взгляд:

— Мил-лая...

Бог знает, как уродливый старик ухитрился вложить в это слово столько обаятельной нежности, столько ликующей любви.

— Рано думать тебе про это, — колдовал он, выводя хроменькую девушку из пещеры. Он держал ее за руку, как ребенка, который еще неуверенно ходит по земле; она покачивалась на ходу, толкая его плечом, отирая слезы с глаз, движениями кошки, — руки у нее были маленькие, белые.

Старик усадил ее на камне рядом с собой, говоря непрерывно, ясно и певуче, — точно сказку рассказывая:

— Ведь ты — цветок на земле, тебя Господь взрастил на радость, ты можешь великие радости подарить, глазыньки твои, свет ясный, всякой душе праздник, — милая!

Емкость этого слова была неисчерпаема и, право-же, мне казалось, что оно содержит в глубине своей ключи всех тайн жизни, разрешение всей тяжкой путаницы человеческих связей. И оно способно околдовать чарующей силой своей, не только деревенских баб, но всех людей, все живое. Савелий произносил его бесчисленно разнообразно, — с умилением, с торжеством, с какой-то трогательной печалью; оно звучало укоризненно-ласково, выливалось сияющим звуком радости, и всегда как бы оно не было сказано, я чувствовал, что основа его — безграничная, неисчерпаемая любовь, — любовь, которая ничего кроме себя не знает и любит сама собой, только в себе чувствуя смысл и цель бытия, всю красоту жизни, силою своей облекая весь мир.

В ту же пору я уже хорошо умел не верить, но все мое неверие в эти часы облачного дня исчезло, как тень перед солнцем при этих звуках знакомого слова, истрепанного языками миллионов людей.

Уходя, хроменькая девушка радостно всхлипывала, часто кивая старику головой:

— Спасибо тебе, дедушка, спасибо, милый!

— Ну, ну, ну, — ничего! Иди, дружба, иди! Иди, да — так и знай: на радость идешь, на счастье, на великое дело — на радость. Иди...

Она уходила как-то боком, не открывая глаз от сияющего лица Савелия. Черный Олеша, проснувшись, стоял над ручьем, встряхивая еще более взлохмаченной головой и глядел на девушку, широко улыбаясь. Вдруг сунул два пальца в рот себе и оглушительно свистнул. Девушка покачулась и, рыбой, нырнула в густые волны кустарника.

— Сдурел, Олеша! — Упрекнул его старик.

Олеша дурачливо опустился на колени, вытащил из ручья бутылку водки и, махая ею по воздуху, предложил:

— Выпьем, отец!

— Ты — пей, мне — нельзя! Я — вечером...

— Ну, и я вечером... Эх, отец, — он облобызил старика кирпичами материщины — колдун ты, а — святой, ей Богу! Душой ты прямо, как дитя играешь, — человеческой душой. Лежал я тут и думал, ах, ты, думаю!

— Не шуми, Олеша...

Воротилась старуха с парнем, она сказала что-то Савелию виновато и тихо, он недоверчиво покачал головой и увел их в пещеру, а Олеша заметив меня в кустарнике, тяжело влез ко мне, ломая ветви.

— Городской, что-ли?

Он был настроен весело, словоохотливо, ласково, поругивался и все хвалил Савелия:

— Большой это утешитель! Я, вот, прямо его душой живу, у меня своя душа злостью, как волосом обросла. Я, брат, отчаянный... Он долго расписывал себя страшными красками, но я ему не верил. Старуха вышла из пещеры и, низко кланяясь Савелию, сказала:

— Уж ты, — батюшка, не сердись на меня...

— Ладно, дружба...

— Сам знаешь...

— Знаю: всяк человек бедности боится. Нищий — никому не любезен, — знаю! Ну, а все-таки: бояться надо Бога обидеть и в себе и в другом. Кабы мы Бога — то помнили и нищеты не было-бы. Так-то, дружба! Иди с Богом.....

Парень шмыгал носом, смотрел на старика боязливо и прятался за спину мачехи. Пришла красивая женщина, видимо — мещанка, в сиреновом платье, в голубом платочке, из под него сердито и недоверчиво сверкали большие серовато-синие глаза.

И снова зазвучало обаятельное слово:

— Ми-лая....

Олеша говорил, мешая мне слушать речь старика:

— Он всякую душу может расплавить, как олово. Великий он помощник мне, — без него я бы наделал делов — ой-ей — каких! Сибирь...

А снизу возносилась песня Савелия.

— Тебе, красота, всякий мужчина — счастье, а ты говоришь эдакое — злое! Милая, — гони злобу прочь; гляди-ко ты: что люди празднуют? Все наши праздники — добру знаменье, а не злобе. Чему не веришь? Себе не веришь, женской силе твоей не веришь, красоте твоей, а — что в красоте скрыто? Божий дух в ней... Мил-лая...

Взволнованный глубоко, я готов был плакать от радости, — велика магическая сила слова, оживленного любовью!

До поры, когда овраг налился густой тьмой облачной ночи, Савелия посетило человек тридцать, — приходили солидные деревенские «старики» с посохами в ру-

ках, являлись какие-то угнетенные горем, растерянные люди, но более половины посетителей — женщины. Я уже не слушал однообразных жалоб людей, а только нетерпеливо ждал от Савелия его слова. К ночи он разрешил мне и Олеше разжечь костер на камнях площадки, мы готовили чай и ужин, а он сидя у костра, отгонял полкой армяка разное «живое», привлеченное огнем.

— Вот и еще денек отслужил душе, — сказал он задумчиво и устало.

Олеша хозяйственно советовал ему:

— Напрасно ты денег не берешь с людей...

— Не подходяще это мне...

— А ты с одного возьми, другому отдай. Вот мне бы дал. Я — бы лошадь купил...

— Ты, Олеша, скажи завтра ребятишкам, — прибежали бы ко мне, у меня гостинцы есть для них, — много сегодня бабы натаскали разного...

Олеша пошел к ручью мыть руки, а я сказал Савелию:

— Хорошо ты, дедушка Савел, говоришь с людьми...

— То-то, вот, — спокойно согласился он. — Я ведь сказывал тебе, что — хорошо. И народ уважает меня. Я всем правду говорю, кому какую надо. Вот оно что...

Улыбнулся весело и продолжал, менее устало:

— А — особо хорошо с бабами я беседую, — слышал? Это, дружба, так уж бывает у меня: увижу бабу или девушку мало-мале красивую, и разыграет душа, вроде, как цветами зацветет. У меня к ним благодарность: одну вижу, а вспоминаю всех, коих знал, им — счета нет!

Воротился Олеша, говоря:

— Отец Савел, — ты за меня поручись перед Шахом в шестьдесят рублей...

— Ладно.

— Завтра. А?

— Ладно...

— Видал? — торжествующим тоном спросил меня Олеша, кетати наступив мне на ногу. — Шах это, брат, такой человек: издаля взглянет на тебя — так и то рубаха твоя сама с плеч ползет в руки ему. А придет к нему отец Савел, — перед ним Шах собачкой вертится; на погорельцев сколько лесу дал...

Олеша шумел, возился и мешал старику отдыхать, а Савелий, видимо, очень устал; он сидел над костром понуро, казался измятым, рука его взмахивала над костром, пола армяка напоминала сломанное крыло. Но Олешу невозможно было укротить, он выпил стакана два водки и стал еще более размашисто весел. Старик тоже выпил водки, закусил печеным яйцом с хлебом и вдруг негромко сказал:

— Ты иди домой, Олеша...

Большой, черный зверь, встал, перекрестился, глядя в черное небо.

— Будь здоров, отец, спасибо! — сунул мне тяжелую, жесткую лапу и послушно полез в кусты, где спряталась узкая тропа.

— Хороший мужик? — спросил я.

— Хороший, только следить за ним надо, — бует! Жену так бил, что она и родить не могла, все сбрасывала ребятишек, а после — с ума сошла. Я ему говорю: за что ты ее бьешь? Не знаю, говорит, так себе, хочется, да и все...

Замолчав, он опустил руку и, сидя неподвижно, долго смотрел в огонь костра, приподняв седые брови. Лицо его, освещенное огнем, казалось раскаленным до красна и стало страшно; темные зрачки голых, разодранных глаз изменили свою форму — не то сузились, не то рас-

пирились, — белки стали больше и как будто он вдруг ослеп.

Он двигал губами, — ошетинаясь, шевелились редкие волосы усов, словно он хотел сказать что-то, но — не мог.

А заговорил он все-таки спокойно, только вдумчиво как-то особенно:

— Это со многими мужиками бывает, дружба: вдруг хочется бабу избить, без всякой, без вины ее, да еще — в какой час! Только вот, целовал ее, любовался красотой ее и тут-же, в минуту, приходит охота — бить. Да, да, дружба, это бывает... Я тебе скажу — я сам, смирный человек, нежный, уж как я женщин любить умел, до того, бывало, дойдешь — так-бы весь и влез в нее, в сердце ей, скрылся бы в нем, как в небесах голубь — вот как хорошо бывало! И — тут ее ударить, ущипнуть какнибудь больнее хочется и, ведь щипал, да! Вздвизгнет, спрашивает: что ты? А тебе и сказать нечего, — что тут скажешь?

Я изумленно смотрел на него, и тоже не знал, что сказать, о чем спросить, — поразило меня его странное признание. А он, помолчав, снова заговорил про Олешу.

— После того, как жена обезумела, Олеша еще хуже характером стал, — находит на него буйная блажь, проклятым себя считает и всех бьет. Намедни мужики привели его ко мне связанного, в кровь избили всего, опух весь, как хлеб коркой кровью залекся. Укrotи, говорят, его, отец Савел, а то убьем, житья нам нет от зверя! Вот как, дружба. День пять я его выхаживал, — я, ведь, и лечить умею маленько... Да-а, дружба, не легко людям жить, — охо-хо! Не сладко, дружба ты моя милая, ясные глаза... Вот, — утешаю я их, н — да! Он

усмехнулся жалостливо и от этого его лицо стало еще уродливее, страшнее.

— А которых — обманываю немножко, ведь живут и такие люди, которым нет уже никакого утешения, кроме обмана... Есть, дружба, такие... Есть...

О многом хотелось спросить его, но он целый день не ел, усталость и выпитый стакан водки заметно действовали на него, он дремал, покачивался и обнаженные глаза его все чаще прикрывались красными рубцами век.

Все-таки я спросил:

— Дедушка Савел, а что, по твоему, ад — есть?

Он поднял голову и строго, обиженно, сказал:

— Ну, — как же это можно — ад! Ну, — где же это? Бог, а тут — ад! Разве можно? Это несоединимое, дружба, это — обман! Это все вы, грамотные, для страха придумали, попы все дурят. Человека не к чему пугать. Да никто и не боится ада-то этого....

— А — Дьявол-то как-же, он где живет?

— Ну, ты этим не шути....

— Я не шучу.

— То-то.

Он взмахнул над костром полой армяка и тихонько сказал:

— Ты над ним не смейся. У всякого — своя ноша. Французик-то, может, правду сказал: и Дьявол Господу поклонится в свой час. Мне пои один о блудном сыне рассказывал из Евангелия, — я это очень помню. По моему: притча эта про Дьявола и сказана. Про него, не иначе он самый и есть блудный сын!

Он покачнулся над костром.

— Лег — бы ты, уснул, — предложил я.

Старик согласился:

— Верно, пора...

Легко опрокинулся на бок, поджал ноги к животу, натянул армяк на голову и — замолк. Потрескивали и шипели ветки на углях костра, дым поднимался затейливыми струйками во тьму ночи.

Я смотрел на старика и думал:

— Это — святой человек, обладающий сокровищем безмерной любви миру?

Вспомнил хроменькую, пестро одетую девушку с печальными глазами, и вся жизнь представилась мне в образе этой девушки: стоит она перед каким-то маленьким, уродливым Богом, а Он, умея только любить, всю чарующую силу любви своей, влагает в одно слово утешения:

— Милая...

Л е в Л у н у

ВНЕ ЗАКОНА

Трагедия в 5 действиях и 7 актах)*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Действующие лица этой пьесы носят испанские имена. Но не думайте, что это трагедия из испанской жизни. Место действия С'юдад, а С'юдад по испански город вообще. Я хотел написать пьесу вне точно установленного времени и пространства. Испания — условна. Ведь, испокон веков страна эта служила в таких случаях козлом отпущения. Конечно, это элементарно. Но писать с абсолютно вымышленными именами, без всяких указаний на костюм, на бутафорию, — значит, загубить пьесу для сцены.

А для меня важна не литературная, а только сценическая сторона пьесы. Когда я писал эту трагедию, я ее *видел*, а не думал о ней. Пусть же простит мне промахи читатель, — зритель прощать не должен.

Я пытался разрешить трудную задачу: начав водевилем, — кончить трагедией. Я хотел сделать этот переход органическим: он вытекает из основной идеи пьесы.

Л. Л.

*) Принята к постановке в Государственном Александринском Театре в Петербурге.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

РОДРИГО,	канцлер С'юдадский.
ДОН ПАВЛО,	С'юдадские дворяне.
ДОН ГОНСАЛО,	
ДОН БЕНИГНО,	
ДОН КАРЛОС,	
ДОН НАРСИССО,	
ЛЕОНЕЛО,	Горожане.
МЕНГО,	
ПЬЕТРО,	
АЛОНСО ЭНРИКЭС,	
ОРТУНЬО,	
ХИНЕС,	Разбойники.
ФАБИО,	
КАСТАНЬО,	
ЭРНАНЬО,	
ХОЗЯИН КАБАЧКА,	
ИНЕСА,	дочь герцога.
КЛАРА,	графиня Урсино.
ИСАБЕЛЛА,	жена Алонсо.
ХАСИНТА,	дочь хозяина кабачка.

ГОРОЖАНЕ, ОФИЦЕРЫ, РАЗБОЙНИКИ, НАРОД.

*После каждого акта — „антракт“, который происходит
обычно, на двух боковых сценах, по обе стороны главной*

*Время действия — неопределенное
Место — С'юдад*

★

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Акт I-й

*(Кабачек. Горожане за столиками. Между ними
ОРТУНЬО. Несколько в стороне ДОН БЕНИГНО. В
углу незнакомец в шляпе, нагнутой на глаза.
ХАСИНТА прислуживает)*

ДОН ГОНСАЛО *(вбегая)* Дон Бенигно! Дон Бенигно!
Вы слышали?
ДОН БЕНИГНО. В чем дело?
ГОНСАЛО. Вы слышали?
ВСЕ *(окружая его)* Что? Что случилось?
ГОНСАЛО. Только что, на главной улице С'юдада...
ВСЕ. Ну! Ну!
ГОНСАЛО. На главной улице...
ВСЕ. Да ну!
ГОНСАЛО. Средь белого дня!
БЕНИГНО. Да что там было?
ГОНСАЛО. Под окнами донна Родриго, канцлера!
БЕНИГНО. Говорите же.
ГОНСАЛО. Под окнами канцлера!
МЕНГО. Ну, от этого дурака толку не добьешься!
(Горожане отходят)
БЕНИГНО. Послушайте, дон Гонсало. Присядьте,
отдохните. Рассказывайте толком.
ГОНСАЛО *(громко)* Алонсо Энрикэс!
ВСЕ *(снова подбегая)* Да?.. Что?.. Алонсо?
ГОНСАЛО. Алонсо Энрикэс... Разбойник!.. Граби-
тель... Вор!...
БЕНИГНО. Да?..

ГОНСАЛО. Мошенник! Убийца! Негодяй! Свято-татец!

МЕНГО. Синьор! Я прошу вас не трогать Алонсо! Он наш друг!

ГОНСАЛО. Как? Этот мошенник ваш друг? Этот негодяй?

ЛЕОНЕЛО. Да, дон Гонсало. Он наш друг.

МЕНГО. И защитник!

ГОНСАЛО. Разбой! Арестовать!

ГОРОЖАНЕ *(наступая)* Попробуйте!

БЕНИГНО. Дон Гонсало! Успокойтесь! *(Горожанам)*. Друзья мои! Зачем ссориться? Послушаем - ка лучше, что произошло с этим... кхе... достойным доном Алонсо Энрикэсом.

ПИЕТРО. Правильно, друзья... Дон Гонсало! Расскажите, что случилось с этим... кхе... негодяем Алонсо...

ГОНСАЛО. Слушайте! Только что среди белого дня на главной улице, под окнами дона Родриго, канцлера, первой особы государства!

ВСЕ. Дальше! Дальше!

ГОНСАЛО. Под окнами дона Родриго, канцлера...

МЕНГО. О, Господи...

ГОНСАЛО. Алонсо с двумя своими молодцами выдрал Фернандо, сына канцлера!...

(Взрыв хохота)

ЛЕОНЕЛО. Молодец Алонсо!

ПЬЕТРО. Так его!

1-й ГОРОЖАНИН. По делом!

ГОНСАЛО. Как?... Как вы смеете?

ЛЕОНЕЛО. По делом! Этот молокосос — шестнадцать лет — и уже почище отца...

2-й ГОРОЖАНИН. Вчера на улице я случайно задел его плащом, и он прибил меня палкой, а я должен был молчать, потому что он дворянин и сын герцога!

МЕНГО. Этот мальчишка каждый день на моих глазах пристает к моей дочери, а я молчу...

ВСЕ. По делом! по делом!

ГОНСАЛО. Смотрите вы! Дон Родриго покажет вам. Он покажет вам!

ОРТУНЬО *(из угла)* Э! не того выдрал Алонсо! Канцлера нужно было, уважаемого дона Родриго!

(Взрыв хохота)

ОРТУНЬО. А заодно и Клару Урсино с ним.

(Хохот)

МЕНГО. Так.

1-й ГОРОЖАНИН. Ай-да, Ортуньо! Ты не пьян? Смотрите, друзья, Ортуньо, не пьян!

ЛЕОНЕЛО. Молодец Ортуньо.

ГОНСАЛО. Негодяй! Как вы смеете смеяться над священной особой канцлера?

ЛЕОНЕЛО. Да, вы правы. Мы должны плакать, а не смеяться над *(передразнивая)* священной особой канцлера. Он ничего не дарит нам, кроме слез! Он выжимает из нас последние деньги своими налогами, он срамит наших дочерей и жен, наказывает плетью наших отцов.

1-й ГОРОЖАНИН. Долой дона Родриго!

2-й ГОРОЖАНИН. К чорту!

ОРТУНЬО. Выдрать!

ГОНСАЛО. Бунт! Арестовать!

БЕНИГНО. Дон Гонсало! Успокойтесь, ради Бога!

ГОНСАЛО. Не желаю!

БЕНИГНО. Они убьют вас!

ГОНСАЛО. Не боюсь!

БЕНИГНО. Выдерут.

ГОНСАЛО. *(отступая)* Ай!

БЕНИГНО. Друзья! успокойтесь! Дон Гонсало, расскажите лучше, что было дальше с этим Алонсо?

ГОРОЖАНЕ. Расскажите! Расскажите!

ГОНСАЛО. Так вот этот Алонсо выдрал дону Фернандо! Днем! И кругом много народу! И все смеялись и радовались. Небывало!

МЕНГО. Дон Гонсало! А вы тоже были при этом?

ГОНСАЛО. Как же? Я стоял и негодовал!

МЕНГО. Отчего же вы, дорогой дон Гонсало, не выступили в защиту любимого вами дону Фернандо?

ГОНСАЛО. То - есть, как в защиту?

МЕНГО. Отчего вы не обнажили шпаги против этого разбойника Алонсо?

ГОНСАЛО. То - есть как шпаги?

МЕНГО. А вот очень просто. Так и так!

ГОНСАЛО. Ну, как же?... Как я мог?... И потом... То - есть конечно... Одним словом, этот разбойник и трус, выдрав дону Фернандо среди белого дня под окнами канцлера...

МЕНГО. О, Боже! Опять сначала.

ГОНСАЛО. Бежал! Дон Родриго в неопишемом бешенстве. По всему городу разосланы альгвасилы...

(Входят два альгвасила)

АЛЬГВАСИЛ. Именем герцога! *(Все смолкают)*

Указ его высочества герцога Филиппа всему населению С'юдадского герцогства. Уже давно недостойный разбойник, именуемый Алонсо Энрикэсом, не дает покоя нашему герцогству. Достойные наши синьоры подвергаются на дорогах, на улицах и даже в своих домах нападениям вышеупомянутого разбойника. Его преступления с каждым

днем становятся все более дерзкими. Наконец, сегодня, чаша нашего терпения переполнилась. Особа его светлости, дона Фернандо, графа Лара, сына его светлости дона Родриго, маркиза Фебреро, подверглась небывалому поруганию.

ОРТУНЬО. Выдрали парня!..

АЛЬГВАСИЛ. А посему объявляем во всеуслышание, что с сего числа вышеозначенный разбойник, Алонсо Энрикэс, объявляется вне закона. Каждый гражданин имеет право преследовать его, убить его, брать себе его имущество. Все законы нашего герцогства объявляются уничтоженными по отношению к вышеозначенному разбойнику, Алонсо Энрикэсу.

Подписал: Филипп, герцог С'юдадский.

Скрепил: Родриго, маркиз Фебреро, канцлер.

(Альгвасилы уходят)

ГОНСАЛО. Наконец - то! Теперь мы можем спать спокойно.

ЛЕОНЕЛО. Ну, мы и раньше спали спокойно...

1-й ГОРОЖАНИН. Нас Алонсо никогда не трогал.

МЕНГО. Он — хе-хе — не имеет обыкновения водиться со всяким сбродом, вроде нас. С ним знакома только знать. Хе-хе! Достойные графы и маркизы знают его хорошо.

МЕНГО. Ой, как хорошо!

1-й ГОРОЖАНИН. Алонсо — наш защитник!

2-й ГОРОЖАНИН. Друг!

ЛЕОНЕЛО. Мы за него!

ПЬЕТРО. Он отомстит за нас!

ГОНСАЛО. Стойте! Вы преступаете указ его светлости.

МЕНГО. Да разве это указ его светлости? Герцог только подписал, а все Родриго.

ОРТУНЬО. Герцог — дурак, а Родриго — мошенник.
(Хохот)

ГОНСАЛО. Измена! Сюда! Альгвасилы, к нам!

ОРТУНЬО. А Гонсало — трус. (Хохот)

ЛЕОНЕЛО. Дон Гонсало! Что же вы не обнажаете шпаги против изменников?

1-й ГОРОЖАНИН. Дон Гонсало! Что-ж вы молчите? Слышали? Вы, трус!

ОРТУНЬО. Глупый трус!

ПЬЕТРО. Дон Гонсало! Слышали: вы — глупый трус!

ХОЗЯИН. Синьоры! синьоры! Пора по домам! по домам!

БЕНИГНО. Идемте, дон Гонсало. Идемте (тихо)
Охота вам связываться со всяким сбродом.

ГОНСАЛО (тихо). Мне не охота, а вот им — охота.
(Направляется к выходу)

ЛЕОНЕЛО. Дон Гонсало, а как же с нами? Ведь вас оскорбили!

1-й ГОРОЖАНИН. Дон Гонсало! Окажите честь! Побейте нас!

(Гонсало и Бенигно спешат к выходу)

ХОЗЯИН. Время! По домам! По домам!

ГОРОЖАНЕ (наперебой). Дон Гонсало!... Достойный дон Гонсало! Храбрый дон Гонсало!

(Выходят гурьбой. Хозяин бежит за ними. Остаются Ортуньо, Хасинта и в углу незнакомец)

ОРТУНЬО. Хасинта! Милая!

ХАСИНТА. Что я вижу?

ОРТУНЬО (оглядывая себя). А? что такое?

ХАСИНТА. Я не верю своими глазами.

ОРТУНЬО. В чем дело?

ХАСИНТА. Ты не пьян!

ОРТУНЬО. Нет, нет, я пьян, не бойся. Честное слово, я пьян.

ХАСИНТА. Ну-ка, подыши на меня

(Ортуньо дует ей на щеку и вдруг целует)

ХАСИНТА. Отстань!

ОРТУНЬО. Что, пьян?

ХАСИНТА. Мало! На, выпей.

ОРТУНЬО (на коленях)

«Моя судьба должна сейчас решиться,

В твоих руках спасение мое:

Жить мне или нет? Клянусь тебе, Хасинта,

Всем, что святого есть для нас с тобою,

Своею шпагой толедской стали,

Кафтаном византийского шитья...»

ХАСИНТА. Которых у тебя нет...

ОРТУНЬО. Своим... Ну вот, Хасинта, теперь ты меня сбила. А я приготовил такую красивую речь.

ХАСИНТА. Продолжай, продолжай, Ортуньо. Может, вспомнишь.

ОРТУНЬО.

«Клянусь вином, что с острова Мадейры,

Клянусь хересом и Малагой клянусь,

Клянусь вином, что...»

ХАСИНТА. Вот это я понимаю. Это ты от души, Ортуньо. Но ты совсем трезв. Выпей!

ОРТУНЬО. Ах, ради Бога не перебивай меня! Я опять забыл.

ХАСИНТА. Выпей же, выпей!

ОРТУНЬО (пьет). Я лучше сразу конец (опять падает на колени)

«Люблю тебя, о милая Хасинта,
Люблю, как идеальное вино,
Что боги пьют на пламенном Олимпе.
В нем крепость Зевса, сладость Аполлона,
Афины ум. И ты, Хасинта...»

НЕЗНАКОМЕЦ (*подходя, кладет руку на плечо Ортуньо*) Довольно, друг! Ты превзошел самого себя. Кончишь в другой раз.

ОРТУНЬО. Позвольте, синьор. Кто вы такой? Как вы смеете?

НЕЗНАКОМЕЦ. Выпей, Ортуньо. Тебе вредно быть трезвым.

ОРТУНЬО. Я обнажаю шпагу...

НЕЗНАКОМЕЦ. Толедской стали?

ОРТУНЬО. Хотя она и не толедской стали, но за себя постоит.

НЕЗНАКОМЕЦ. Ты сегодня молодцом, Ортуньо. Кто тебя выучил таким хорошим стихам?

ОРТУНЬО. Защищайтесь!

ХАСИНТА. Ортуньо! Синьор!

НЕЗНАКОМЕЦ. Ортуньо! Шпагу в ножны. (*Снимает бороду и усы*)

ОРТУНЬО. Алонсо!

АЛОНСО. Скорей выпей. А то с тобой удар от изумления.

ОРТУНЬО. Алонсо, друг! (*Бурно обнимаются*)

ХАСИНТА. Ах, синьор!

АЛОНСО. Что, красотка?

ХАСИНТА. Такие красивые борода и усы!

АЛОНСО. А разве так я не хорош?

ХАСИНТА. Ах, синьор! очень!

ОРТУНЬО. Алонсо, подожди!...

АЛОНСО. Да, милый друг?

ОРТУНЬО. Дай собраться с мыслями.

АЛОНСО. Выпей. Они соберутся.

ОРТУНЬО. Что я хотел тебе сказать?... очень спешное...

АЛОНСО. Спешн, спешн, (*к Хасинте*) Красотка! Так я не нравлюсь тебе?...

ХАСИНТА. Ах, синьор...

АЛОНСО. Что ах? Ах — да? Или: ах — нет?

ХАСИНТА. Ах, синьор!

ОРТУНЬО. Да, вспомнил! Алонсо! Ведь ты же... ведь это же... ведь ты же...

АЛОНСО. Вне закона! Да, я знаю. Что - ж из того?

ХАСИНТА. Как синьор, вы дон Алонсо Энрикэс?

АЛОНСО. Разве ты меня не узнала?

ХАСИНТА. Ах, синьор!...

АЛОНСО. Ну, что - ж: я нравлюсь тебе?

ХАСИНТА. Ах, синьор, очень!

ОРТУНЬО. Алонсо! Сумасшедший! По городу рыскают алыгвасилы. Надень скорей бороду!...

АЛОНСО. Алыгвасилы подождут. Не в первый раз. Красотка, поцелуй меня!

ХАСИНТА. Ах, синьор! (*Целуются*)

ОРТУНЬО. Алонсо! Это свинство. Я... я... как бы это сказать....

АЛОНСО. Выпей, Ортуньо.

ОРТУНЬО (*выпив*) Я люблю эту девушку. А ты. теперь... Это нехорошо, Алонсо. Дружба.....

АЛОНСО. Что? Законы дружбы? Да я же вне закона! Нет для меня никаких законов. Поцелуй меня, Хасинта.

ХАСИНТА. Ах, синьор! Нельзя!

(Целуются)

ОРТУНЬО. Как тебе не стыдно?

АЛОНСО. У меня нет больше стыда. Я вне стыда. Я вне всяких законов! Целуй, Хасинта (целуются).

ОРТУНЬО. Алонсо! Вспомни, что ты женат!

ХАСИНТА. Ах, синьор! Вы женаты?

АЛОНСО. Негодяй! Зачем ты напомнил мне? Испорчен весь вечер. Женат? постой! Женат? Ортуньо, друг! обними меня! Поцелуй меня! Поцелуй меня! Благослови меня!

ОРТУНЬО и ХАСИНТА. Что? Что?

АЛОНСО. Ведь я подумал! Я подумал! Я больше не женат! Я вне закона! Вне законов женитьбы!... Вне женитьбы! Вне жены! Без жены! Я не женат! О, Провиденье, благодарю тебя! Герцог Филипп! Дон Родриго! благодарю вас! Вы освободили меня от моей язвы, от моей чумы! О, герцог! Я отстою за вас сто месес! Я пойду завоевывать Святой Гроб для вас. О, дон Родриго! Клянусь вам! Я больше никогда не выдеру вашего сына! А как я его здорово выдрал! Мальчик кричал, как курица под ножом. И сколько народу кругом, и как весело... Я вне закона! Я не женат! (Кружится по комнате, опрокидывая столы и стулья, крича и беснуясь)

ХОЗЯИН (бежит за ним). Синьор! Синьор!

АЛОНСО. К чорту все! Все! все! все! К чорту супружеское ложе!

ХОЗЯИН. Достойный синьор! Уходите, прошу вас. Уж полночь! Надо закрывать таверну.

АЛОНСО. Что тебе, добрый человек?

ХОЗЯИН. Достойный синьор! По закону нашего герцогства....

АЛОНСО. Достойный синьор! Я не имею права слушаться законов.

ХОЗЯИН. Достойный синьор! Вы забываете указ, по которому запрещено...

АЛОНСО. Достойный синьор! Мне запрещено исполнять указы.

ХОЗЯИН. Достойный синьор!

АЛОНСО. Достойный синьор! Отстаньте, иначе я поступлю с вами, как с этим столом...

ХОЗЯИН. Достойный синьор! Я честный трактирщик! вы не имеете права...

АЛОНСО. Достойный синьор! Я не имею права иметь право!

ХОЗЯИН. Послушайте, вы! Я позову алыгвасилов!

АЛОНСО. Послушайте, вы! Я не могу повиноваться алыгвасилам...

ХОЗЯИН. Дорогой друг! Прошу вас добром! Уйдите!

АЛОНСО. Дорогой друг! Вы, повидимому не разбирали, кто я.

ОРТУНЬО. Алонсо! Сумасшедший! Не открывайся!

АЛОНСО. Ортуньо! Выпей!

ХАСИНТА. Синьор! Опомнитесь!

ХОЗЯИН. Святая Дева! Алонсо Энрикес. (Убегает)

ХАСИНТА. О, что вы сделали! Отец выдаст вас! (бежит и закрывает дверь)

АЛОНСО. Ну, и пусть себе. Видишь ли, дорогая Хасинта... Но раньше поцелуй меня (целуются) Видишь ли... Еще раз (целуются)

ОРТУНЬО. Стой!... Хасинта моя... моя...

АЛОНСО. Ортуньо, вышей!... Видишь ли, Хасинта. Обычно, разбойник, увидев, что за ним гонятся, убегает, но это обычно, по закону, а я вне закона и остаюсь. Обычно, разбойник надевает маску и скрывает свое имя, а я вне обычая и открываюсь всем (*подходит к окну*). Эй, вы, солнце, луна и звезды! Я беру вас в свидетели! Даю обет: с этого часа не выходить через двери, как все люди, не спать в постели, не есть за столом, не здороваться со знакомыми, здороваться с незнакомыми, не спать ночью, а спать днем. Вставать вечером и ложиться утром. Ездить верхом на свинье и есть лошадь. Во время панихиды петь плясую, и во время свадьбы произносить надгробную речь. Спать на ногах и ходить на руках. Повиноваться крестьянину и бить герцога. Целовать мужчин и играть в кости с женщинами. Почитать младенцев и учить старцев. Ходить по воде и плыть по земле...

ХАСИНТА. Дон Алонсо! Опомнитесь! Вы даете обет. Как же вы будете ходить по воде?...

АЛОНСО. Дурочка! Ведь я же вне закона! Значит, могу нарушать обеты. Эй ты солнце? Отчего ты спряталось? — Оттого что тебе пора спрятаться, оттого что ты, как наш народ, гуляешь по закону. — Эй, вы луна и звезды! Вы ходите по закону, как стадо овец! Герцоги, короли, папы римские! Вы думаете, что всемогущи, а вы — рабы законов! Я один — вне закона! Эй вы, маркизы, графы, дворяне, синьоры и синьорины, мужчины и женщины, старики, юноши, дети, младенцы, коровы, лошади, кабаны, обезьяны, куры, верблюды, львы, скалы, козы, реки, моря, столы и стулья, вино, бокалы, деревья, дома, трубы, небо, облака — все! все! все! все! все ходит, движется, стоит или спит — по закону! Я один — вне

закона. (*Приближаясь к раме*) Но, синьоры мои! Все это ничего не стоит. Все эти законы, земные и небесные, людские и божеские, законы государства и законы чести — все это глупости! Быть вне этих законов не трудно. Но вот есть законы, синьоры мои, есть законы (*шопотом*) это законы Гименя. Ах, синьоры мои, не смейтесь. Вы думаете легко быть вне.. вне... Как бы это сказать... вне своей жены. Попробуйте! Нет, нет вы не смейтесь, а попробуйте! Одним словом, если бы вы знали мою жену, вы бы поняли. Что канцлер, что герцог?!.. Плюю я на них, но вот донья Исабелла, моя супруга!... Я, Алонсо Энрикес, разбойник, клятвопреступник, я, который никого и ничего не боюсь, я, который вне всяких законов, — я дрожу. Синьоры мои! Позвольте дать вам совет. Никогда не женитесь. Лучше попасть в лапы Святой Инквизиции, чем жениться. Мальчики и юноши! заклиная вас — не женитесь! А те, кто женат, пойдите домой и повесьтесь. Это единственное средство быть вне своей жены. Ах, донья Исабелла! Донья Исабелла! Зачем я женился на тебе? Смотрите, синьоры, я плачу, честное слово плачу....

Но теперь я спасен. Я — вне закона. К чорту! К дьяволу! В преисподню! Не хочу! Не боюсь! никого не боюсь! Слушай, донья Исабелла, я знаю тебя больше не знаю! Мы с тобой больше незнакомы! Я вне закона! Я больше не женат! Хасинта, поцелуй меня! (*Целуются*)

ОРТУНЬО. Алонсо! это свинство.

АЛОНСО. Ортуньо, вышей.

ОРТУНЬО. Я вышью, вышью...

АЛОНСО. Еще раз, Хасинта (*целуется*) Так я тебе нравлюсь?

ХАСИНТА. Ах, синьор! У вас такие красивые глаза.

ОРТУНЬО. Это... это свинство...

(Стук в дверь: «отворите!»)

ХАСИНТА. Ах! это пришли за вами!

ЗА ДВЕРЬЮ. Отворите! Именем герцога!

ХАСИНТА. Мой отец!... альгвасилы!...

АЛОНСО. Что вам нужно?

ЗА ДВЕРЬЮ. Именем закона!

АЛОНСО. Здесь нет законов! Я — вне закона!

ЗА ДВЕРЬЮ. Именем закона! отворите!

АЛОНСО. Опять они со своими законами. Сами же объявили меня вне закона, а теперь угрожают законом.

ХАСИНТА. Ах, синьор! Как вы можете смеяться! Ведь они убьют вас.

АЛОНСО. Я всегда смеюсь. Настоящий человек должен всю жизнь смеяться. Всегда и всюду. Кто не смеется, тот — брр... дрянь! Если я когда-нибудь перестану смеяться, я тоже стану дрянью. А потому давай смеяться.

ЗА ДВЕРЬЮ. Ломайте дверь! (Дверь трещит)

ХАСИНТА. Алонсо! Сюда! Через окно! Здесь невысоко.

АЛОНСО. Все разбойники убегают через окно. А я дитя.

ХАСИНТА. Отчего?

АЛОНСО. Иду... Постой, постой. Нет, это не го- не должен быть, как все... Я уйду через дверь

ХАСИНТА. Вы погибнете!

АЛОНСО. Успокойся (целуются)

ОРТУНЬО. Это свинство. Я убью тебя. (Поднимается. С трудом вытаскивает шпагу)

АЛОНСО. Ортуньо! Выпей! (Целуется с Хасинтой)

ОРТУНЬО. Я выпью, выпью. Но сперва убью тебя. (Делает два шага, возвращается к столу и пьет. Алонсо становится к стене у двери. Дверь трещит. Ортуньо идет по комнате, качаясь и размахивая шпагой. Дверь взламывается, вбегают альгвасилы и бросаются на Ортуньо).

АЛЬГВАСИЛЫ. Вот он! Вот он! (Обезоруживают Ортунью и бьют его)

АЛОНСО (у двери) Прощайте, болваны. (Спокойно уходит)

ОРТУНЬО. Ай! ай! Стой! ай! Я не тот! Я не тот!

ХОЗЯИН. Подождите, синьоры! Смотрите, это не тот! Это не Алонсо.

АЛЬГВАСИЛ. Чорт возьми! Это пьяница Ортуньо.

ХОЗЯИН (бросается к Хасинте) Где Алонсо?

ХАСИНТА. Ах, отец! Он убежал через окно.

АЛЬГВАСИЛ. Он убежал! О чорт!

ОРТУНЬО. Он убежал... (икает) Мо — молодец... Я... я всегда говорил, что он молодец.

ХОЗЯИН. Ортуньо помогал ему!

ОРТУНЬО. Я... я... (икает) Помогал ему.

АЛЬГВАСИЛ. Что с ним делать?

ХОЗЯИН. Тащите его вон! Мне нужно закрывать кабак!

АЛЬГВАСИЛ. Бросим его в канаву

ОРТУНЬО. Тра — ла — ла!

(Альгвасилы тащат Ортуньо вон. Бьют его. Хозяин закрывает за ними дверь)

ХАСИНТА (мечтательно) Ах! синьор! У вас такие красивые глаза.

(ЗАНАВЕС)

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Акт I-й

Левая сцена

(Улица С'юдада. Входят ДОН ГОНСАЛО и ДОН БЕНИГНО)

ДОН ГОНСАЛО. А, дон Бенигно! Приветствую. Как живете?

БЕНИГНО. Да ничего, знаете. А вы?

ГОНСАЛО. Да ничего, знаете.

БЕНИГНО. Как здоровье вашей уважаемой супруги?

ГОНСАЛО. Да ничего, знаете. А вашей?

БЕНИГНО. Да ничего, знаете.

ГОНСАЛО. Что новенького?

БЕНИГНО (тихо). Слышали? Донья Инеса, дочь герцога...

ГОНСАЛО. Да ну?

БЕНИГНО. Что — «да ну»? Я же вам ничего не сказал еще.

ГОНСАЛО. Вы всегда говорите замечательные вещи, дон Бенигно. Я уже вперед удивляюсь (пожимают друг другу руки).

БЕНИГНО. Так наша любимая принцесса...

ГОНСАЛО. Не может быть!

БЕНИГНО. Что не может быть?

ГОНСАЛО. Ах, дон Бенигно! Вы не умеете рассказывать. Говорите сразу — я дрожу от нетерпения.

БЕНИГНО. Так вы не перебивайте меня, дон Гонсало.

ГОНСАЛО. Дон Бенигно! Прошу вас не учить меня.

БЕНИГНО. Дон Гонсало!

ГОНСАЛО. Дон Бенигно!

БЕНИГНО. Дон Гонсало! Вы мой друг, но я могу рассердиться.

ГОНСАЛО. Дон Бенигно! Я тоже могу рассердиться.

БЕНИГНО. Но я не хочу ссориться с вами, дон Гонсало. Прощайте.

ГОНСАЛО. Дон Бенигно! А как же принцесса? Дон Бенигно! Прошу вас. Расскажите.

БЕНИГНО. Ради вас, дон Гонсало.

ГОНСАЛО. Спасибо, дон Бенигно. (Пожимает руку)

БЕНИГНО. (Тихо) Донья Инеса!

ГОНСАЛО. Вы подумайте!

БЕНИГНО. Влюблена!

ГОНСАЛО. В кого?

БЕНИГНО. Не знаю.

ГОНСАЛО. Дон Бенигно! Вы знаете. Не скрывайте.

БЕНИГНО. Клянусь своей шпагой, не знаю. (Хочет уйти)

ГОНСАЛО. Дон Бенигно! Умоляю вас, скажите.... А как же Фернанд, жених доньи Инесы?

БЕНИГНО. А разве я вам сказал, что она влюблена не в своего жениха?

ГОНСАЛО. Не может быть. Это было бы так просто. Нечего рассказывать! Дон Бенигно, в кого?

БЕНИГНО. Не знаю (уходит)

ГОНСАЛО. Дон Бенигно! Дон Бенигно!

(ЗАНАВЕС)

Правая сцена

(Другая улица. Входят с двух сторон ДОН КАРЛОС и ДОН НАРСИССО)

ДОН КАРЛОС. А, дон Нарсиссо! С добрым утром. Давно не виделись. Расскажите что-нибудь. У вас всегда масса новостей.

ДОН НАРСИССО. Что ж я буду вам рассказывать? Вы всегда все знаете.

КАРЛОС (снисходительно). Ну, не все же...

НАРСИССО. Слышали, что с доном Пабло?

КАРЛОС. Что?

НАРСИССО. Значит, вы не знаете?

КАРЛОС. Нет... То-есть, да, Я знаю. Умер!

НАРСИССО. Что вы? Что вы?

КАРЛОС. Значит, влюблен. Видите, я знаю.

НАРСИССО. Вы всегда все знаете, дон Карлос!

Может быть, знаете, в кого он влюблен?

КАРЛОС. А вы знаете?

НАРСИССО. Нет.

КАРЛОС. Я знаю.

НАРСИССО. В кого же?

КАРЛОС. Я знаю. Прощайте, дон Нарсиссо. (Уходит)

НАРСИССО. Он всегда все знает! (Уходит)

(ЗАНАВЕС)

Средняя сцена

(Улица. Сбоку лежит ОРТУНЬО)

ГОНСАЛО (входя слева). Дон Карлос!

КАРЛОС (входя справа). Дон Гонсало!

ГОНСАЛО. Вы слышали?

КАРЛОС. Вы знаете?

ГОНСАЛО. Какая удивительная новость!

КАРЛОС. Какое поразительное известие!

ГОНСАЛО. Донья Инеса!

КАРЛОС. Дон Пабло!

ГОНСАЛО. Влюблена!

КАРЛОС. Влюблен!

ГОНСАЛО. В кого?

КАРЛОС. В кого?

ГОНСАЛО. Не знаю.

КАРЛОС. Не знаю. (Молчание)

ГОНСАЛО (хватая Карлоса за рукав). Дон Карлос!

КАРЛОС (хватая Гонсало за рукав). Дон Гонсало!

ГОНСАЛО. У меня открылись глаза!

КАРЛОС. У меня тоже!

ГОНСАЛО. Я догадываюсь.

КАРЛОС. Я тоже.

ГОНСАЛО. Я знаю.

КАРЛОС. Я тоже.

ГОНСАЛО. Что ж вы думаете, дон Карлос?

КАРЛОС. Нет, вы сперва скажите, что вы думаете?

ГОНСАЛО (шопотом). Я думаю, что дон Пабло влюблен в донью Инесу, а донья Инеса в дон Пабло.

КАРЛОС. Не может быть... То-есть... Представьте — в одно слово со мной. Я думаю то же.

ГОНСАЛО. Какое открытие. Я бегу рассказывать. Бедная донья Инеса. Она же невеста Фернанда. Что скажет дон Родриго?.. Я бегу... Какая честь... Ведь это мое открытие.

КАРЛОС. Дон Гонсало. Это мое открытие. Я раньше.

ГОНСАЛО. Я открыл...

КАРЛОС. Нет я... (Уходят)

(Входит Исабелла, натывается на Ортуньо)

ИСАБЕЛЛА. Ортуньо! Ортуньо! Ортуньо!

ОРТУНЬО. Ы-ы-ым.

ИСАБЕЛЛА. Ортуньо! Встань! Ах, пьяница. Ортуньо.

ОРТУНЬО. Ы-ы-м.

ИСАБЕЛЛА. Ах, Господи. Что мне с ним делать?

(Нагибается. Бьет его по щекам) На! На!

ОРТУНЬО. То-то-то... стой-стой... Подождите! Стой.

(Исабелла продолжает бить его. Между шлепками голос Ортуньо) Пере-станьте — бить. — Я — ничего — не — понимаю. Ой... Подождите... Ой... Стой...

ИСАБЕЛЛА (подымаясь). На! готово! Теперь вставай.

ОРТУНЬО (с земли. Грозно) Тысяча Люциферов.

Кто осмелился бить меня? (Видит Исабеллу, робко) Ах, это вы, донья Исабелла? (В сторону) Я это знал. Кто же другой так дерется?

ИСАБЕЛЛА. Вставай, изверг!

ОРТУНЬО. Подожди, дай очухаться. Ох, ох, Господи.

ИСАБЕЛЛА. Бесстыдный жутила и пьяница. Где

Алонсо?

ОРТУНЬО. Какой Алонсо?

ИСАБЕЛЛА. Какой Алонсо, мошенник? Ты еще пьян?

ОРТУНЬО (томно). Повидимому.

ИСАБЕЛЛА. Где мой муж, Алонсо Энрикес?

ОРТУНЬО (подымаясь) Не знаю такого.

ИСАБЕЛЛА. Как не знаешь? (бьет его по щекам)

Ну теперь знаешь?

ОРТУНЬО. Подожди, подожди... Нет, дай-ка мне еще парочку по правой щеке. Я что-то не совсем соображаю.

ИСАБЕЛЛА. И не парочку, а целый десяток (бьет). Ну, где Алонсо?

ОРТУНЬО. Алонсо? Алонсо? (очнувшись) Ах, негодяй! Дайте мне его! Дайте мне его, чтоб я убил его! Негодяй! Отбил у меня Хасинту! Мою милую, славную Хасинту!

ИСАБЕЛЛА. Какую Хасинту? Говори, какую Хасинту? Говори!

ОРТУНЬО. Он целовался с ней на моих глазах! Дайте мне его!..

ИСАБЕЛЛА. Отвечай, какую Хасинту! (Бьет его по щекам)

ОРТУНЬО. Ай-ай! Хасинту из кабачка!

АЛОНСО (входит с надвинутой шляпой; задевает Исабеллу). Простите синьора (хочет идти)

ИСАБЕЛЛА. Пожа... (заглядывает под шляпу; хватается Алонсо за рукав)

АЛОНСО. Прошу извинения, синьора. Мне нужно идти.

ИСАБЕЛЛА. Алонсо!

АЛОНСО (надвигая шляпу). Извините, синьора. Вы, повидимому, приняли меня за другого.

ИСАБЕЛЛА. Стой! Стой! Алонсо!

АЛОНСО. Мы с вами незнакомы, синьора!

ИСАБЕЛЛА. Ортуньо! Вот он! (стаскивает с него шляпу)

ОРТУНЬО. А негодяй, ты попался мне!

АЛОНСО (круто поворачиваясь к нему) Ну-с! Что тебе угодно?

ОРТУНЬО. Да мне, собственно, ничего. Вот ей угодно.

ИСАБЕЛЛА. Бесстыдник! Дай, я выпаралаю твои глаза!

АЛОНСО. О, не делайте этого, донья Исабелла! Я не смогу любоваться вашим очаровательным носом.

ИСАБЕЛЛА. Подожди я испарапаю твоё лицо.

АЛОНСО. Вам же противно будет целовать его.

ИСАБЕЛЛА. Где ты пропадал, негодяй?

АЛОНСО. *(К публике)*. Что я вам говорил? От всех законов убежал, ни один алыгвасил не узнал меня, а законная супруга узнала. Ох, трудно быть вне жены! *(К Исабелле)* О, донья Исабелла!

ИСАБЕЛЛА. Что?

АЛОНСО. О, донья Исабелла! *(Вытирает глаза рукавом)*

ИСАБЕЛЛА. Ну что?

АЛОНСО. О, донья Исабелла! *(Плачет)*

ИСАБЕЛЛА. Знаю я твои штуки. И потом, что я тебе за донья Исабелла? Я твоя жена.

АЛОНСО. О, донья Исабелла! Ты ещё ничего не знаешь! *(плачет)*

ИСАБЕЛЛА. Что случилось?

АЛОНСО. Видит Бог! Я люблю тебя и любил всегда. Видит Бог! Я всегда стремился к тебе.

ОРТУНЬО. Я этого не видел.

АЛОНСО. А ты Бог, что ли? О, донья Исабелла. Видит Бог! Ни одна женщина не была и не будет так любима, как ты любима мной.

ИСАБЕЛЛА. *(растроганно)* Что ж ты плачешь, мой Алонсо?

АЛОНСО. О, донья Исабелла! Злые силы противятся нашему нежному союзу. Видит Бог, судьба против нас. Ты читала последний указ герцога?

ИСАБЕЛЛА. Нет...

АЛОНСО. О, любовь моя! Злой канцлер, дон Родриго, объявил меня вне закона. Все договоры со мной уничтожены. И, — о, моя Исабелла, — наш брачный договор тоже уничтожен. О, как я буду жить без тебя, моя дорогая Исабелла?

ОРТУНЬО *(в сторону)* Как врет! Как врет!

ИСАБЕЛЛА. О, мой дорогой Алонсо! Ты знаешь, что я буду всегда любить тебя.

АЛОНСО *(грустно)* Я это знаю. Увы! Увы!

ИСАБЕЛЛА. О, мой любимый Алонсо! Какое нам дело до людей и их законов. Будем вне закона, о мой Алонсо!

ОРТУНЬО. Вот это здорово!

АЛОНСО. Но знаешь ли ты, что этим ты подвергаешь себя страшной опасности?..

ИСАБЕЛЛА. Ради тебя, о мой Алонсо, я пойду на все.

АЛОНСО *(в сторону)* Ничего не помогает! *(Исабелле)* Приди же в мои объятия, о Исабелла. Видит Бог, я люблю тебя больше жизни.

ОРТУНЬО. Бедный Бог! Сколько он сегодня перевидал! *(Алонсо обнимает Исабеллу, подымает, крутит и бросает ее на Ортуньо. Оба падают. Алонсо убегает)*

ОРТУНЬО. О черт! *(на земле)*

ИСАБЕЛЛА *(подымаясь)* Негодяй! Держи! Стой!

ОРТУНЬО *(бежит за ней)* Видит Бог, я это знал!
(ЗАПАВЕС)

Левая сцена

(ДОН ГОНСАЛО и ДОН БЕНИГНО)

БЕНИГНО. Так вы уверены, что Инеса влюблена в дона Пабло?

ГОНСАЛО. Клянусь своим дедом, — это так! Это мое открытие! *(Вбегают Алонсо, натывается на них)*

АЛОНСО. Простите, синьоры! *(хочет бежать дальше)*

ГОНСАЛО. Синьор, вы разорвали мне плащ.

АЛОНСО. Синьор, простите! Мне нужно спешить.

ГОНСАЛО. Синьор, вы должны извиниться.

АЛОНСО. Синьор, мне нужно спешить.

БЕНИГНО. Синьор! Вы должны ответить на оскорбление.

АЛОНСО. Прощайте, синьоры *(хочет бежать)*

ГОНСАЛО. Это против всяких правил.

АЛОНСО. Я вне всяких правил.

БЕНИГНО. Стойте. *(Держит его)* Почему вы вне правил, позвольте узнать?

АЛОНСО. Потому что я вне закона *(поднимает шляпу)* Прощайте, синьоры, *(убегает, вбегают Исабелла и Ортуньо)*

ИСАБЕЛЛА. Где он? держи!

ГОНСАЛО. Алонсо Энрикес!

БЕНИГНО. Алонсо Энрикес! *(Бегут за ним)*

(ЗАНАВЕС)

Правая сцена

(ДОН КАРЛОС, ДОН НАРСИССО)

НАРСИССО. Дон Карлос, я не верю своим ушам. Дон Пабло влюблен в донью Инесу? Что скажет канцлер? Что скажет герцог?

КАРЛОС. Я всегда говорил, это мое открытие. *(Вбегает Алонсо, задевает Карлоса, сбивает с него шляпу)*

АЛОНСО. Простите синьоры. *(хочет бежать дальше)*

КАРЛОС. Стойте! Вы не имеете права...

АЛОНСО. Я имею право делать все, что мне угодно.

КАРЛОС. То-есть как это вы имеете право?..

АЛОНСО. Я — Алонсо Энрикес. Прощайте, синьоры, *(убегает)*

КАРЛОС. Алонсо!

НАРСИССО. Алонсо! *(Вбегает погоня, с криком бежит дальше)*

(Подымается занавес то одной, то другой сцены. Алонсо проносится, задевая встречающих и сбивая их с ног. Погоня растет. Занавесы поднимаются и опускаются все скорей)

Левая сцена

(Пробегают АЛОНСО. За ним погоня)

БЕНИГНО. Заходите по той улице. Окружите его. Так... Сюда... Теперь он не уйдет. *(Убегают)*

(ЗАНАВЕС)

Правая сцена

(Перед домом графини Урсино)

АЛОНСО *(вбегая)*. Я окружен. Окруженный человек, по правилам, погиб. Но я вне закона и я, конечно, убежал бы... если бы с ними не было моей жены. Она восстанавливает все законы. Что же делать? Ну, рассуждать долго не приходится. Господи благослови *(влезает по трубе на крышу)*. Однако, с улицы все видно. А, труба!.. *(бросается в трубу)*

(Вбегает погоня с двух сторон. Сталкиваются с криком: «Держи! держи!»).

БЕНИГНО. Где он?

КАРЛОС. Где он?

НАРСИССО. Где Алонсо?

ГОНСАЛО. Где Алонсо? (*Осматриваются, глядят на крышу*)

ОРТУНЬО (*в сторону*) Молодец Алонсо! (*Громко*) Не иначе, Бог взял его на небо. То-то Алонсо так часто призывал его в свидетели...

(ЗАНАВЕС)

Акт II-й

Средняя сцена

(*Комната доньи Клары Урсино. ДОНЬЯ КЛАРА.
Через трубу влетает АЛОНСО*)

АЛОНСО. Привет!

КЛАРА. Святая Дева!

АЛОНСО. Простите, синьора, труба несколько испортила мой туалет.

КЛАРА. Кто это? кто это?.. Как вы смеете?.. Через трубу!

АЛОНСО (*в сторону*) Ах, отчего я не знаю, как ее зовут?.. (*Кларе*). Синьора! Это мой обычный путь.

КЛАРА. Синьор! Вы... вы разбойник?

АЛОНСО. Вы угадали!

КЛАРА. Эй, слуги! Педро! Хайме! Где вы? Сюда!

АЛОНСО. Синьора! Умоляю вас...

КЛАРА. Сюда! Сюда!

АЛОНСО. Синьора, во имя Бога! (*Хватает ее за рукав*)

КЛАРА. Сюда! Я не боюсь вас!

АЛОНСО. Хорошо, зовите слуг, синьора. Пусть схватят меня, пусть казнят, я буду страдать — ради вас! Я

пойду на смерть — ради вас! И, умирая, я буду думать — о вас! (*В сторону*) Пол-жизни за то, чтобы узнать, как ее зовут. (*Мечется по комнате. Громко*) Но я буду молчать. Когда меня схватят, я буду молчать. Я не скажу, что привело меня сюда, в эту комнату. Пусть думают, что я вор. (*Подбегает к столу; про себя*). Письмо донье Констансе Орреас. (*Бросается к Кларе, падает на колени*). О, донья Констанса Орреас! Я люблю вас! Вы не знаете меня, вы видите меня в первый раз, но клянусь небом, вот уже два года, как я люблю вас. Два года тому назад я увидел вас в церкви, и мое чорствое закаленное сердце поняло, что дни его свободы сочтены. О, донья Констанса! Два долгих мучительных года тайной скрытой, но страстной любви, и вот я открылся вам. О, донья Констанса! Сжальтесь надо мной. Моя жизнь в ваших руках. Зовите слуг, убейте меня, но дайте мне поцеловать вашу руку...

КЛАРА. Синьор! Вы произнесли великолепную речь. Но вы чуть-чуть ошиблись. Хотя вы меня страстно любите уже два года, но вы меня видите сегодня в первый раз.

АЛОНСО. Вы оскорбляете меня, донья Констанса!

КЛАРА. Я совсем не Констанса, а Клара!

АЛОНСО. О, тысяча дьяволов! Простите синьора. Я ошибся. Я не туда попал. Я думал, что это дом синьоры Констансы Орреас.

КЛАРА. Вы любите донью Констансу?

АЛОНСО. Я боготворю ее уже три года...

КЛАРА. Три? только что было два?.. Я очень рада. Донья Констансе это будет очень приятно. Ее уж давно никто не любил. Ей 86 лет. Это моя бабушка.

АЛОНСО. О, чорт! Все силы неба ополчились против меня, что ли? Синьора, простите меня. Я ошибся, я не туда попал.

КЛАРА. Нет, синьор, вы не ошиблись. Вы попали, куда хотели. Вы хотели влезть в этот дом и влезли в него. Только вы ошиблись, читая вот то письмо, что лежит на столе. Вы думали, оно ко мне, а оно от меня.

АЛОНСО. Синьора! Вы победили меня. Сдаюсь. Зовите слуг.

КЛАРА. Нет, синьор, я не сделаю этого. Я люблю смелых и находчивых людей. Вы мне нравитесь.

АЛОНСО. О, вы мне тоже нравитесь, синьора. Клянусь, что, если я не люблю вас три года, то люблю три минуты, и люблю по-настоящему.

КЛАРА. Вот и прекрасно. Садитесь и расскажите, зачем вы пришли, то-есть, прилетели сюда.

АЛОНСО. Синьора, разрешите мне не рассказывать.

КЛАРА. Что за тайна? Уж не мароккский ли вы принц?

АЛОНСО. Принц? С чего вы взяли? Я просто разбойник.

КЛАРА. Не верю. Разбойник не может быть так находчив!

АЛОНСО. А вы близко знакомы с разбойниками, синьора, что так хорошо знаете их?

КЛАРА *(смеясь)*. Вот видите! Разве может простой вор так ответить? Вы — дворянин, синьор.

АЛОНСО. А между тем я простой разбойник, синьора.

КЛАРА. Не верю.

АЛОНСО. Меня зовут Алонсо Энрикес.

КЛАРА *(вскакивая)*. О!

АЛОНСО. Вы испугались?

КЛАРА. Нет! Я восхищаюсь вами! Как вы могли сказать ваше имя, это имя? Открыться незнакомой женщине?

АЛОНСО. Я — каменотес. Я — сын каменотеса. Я — внук каменотеса. В моих жилах нет ни капли дворянской крови. Но я умею отличать благородного человека от предателя, — я знаю, что вы не выдадите меня.

КЛАРА. Вы — дворянин.

АЛОНСО. Я родился в хлеву, и я вырос в хлеву. Я не дворянин. Но я лучше дворян. Кто лучше: Фернандо, граф, который приставал на улице к женщине или я, Алонсо, каменотес, который наказал этого Фернандо? Нет, я не стыжусь того, что я не дворянин. Я горжусь этим. Стыдно в нашем герцогстве быть дворянином! *(К публике)* Если кто-нибудь из вас — дворяне, исчезните от стыда и не встречайтесь со мной. Я — разбойник, но разбойник для дворян. Я — вор, но вор для графов. Я — убийца, но убийца маркизов. Берегитесь, дворяне! А кто такой первый дворянин Сюдада, наш властелин, наш обожаемый герцог? — Набитый дурак! Старый, беспомощный болван! Разве он правит герцогством? — Родриго правит — канцлер! А кто такой Родриго? — Старая лиса, которая днем мучает народ, а ночью развратничает с этой Урсино. Но Филипп — герцог, Родриго — маркиз, а Клара Урсино, Клара, о которой ни один честный человек не говорит без отвращения — она графиня! Шапки долой перед ними, синьоры! Дорогу благородным дворянам! Алонсо, разбойник и каменотес, кланяется им!

КЛАРА. Нет, Алонсо, вы не каменотес. Вы принц — Алонсо!

АЛОНСО. Опять, синьора? Вы оскорбляете меня.

КЛАРА. Нет, ты принц! Ты принц! И я люблю тебя!

АЛОНСО. Ха-ха! *(Бросается к ней)*

КЛАРА. Но я дворянка! Больше — я графиня.

АЛОНСО. Что ж? Для правил есть исключения. Не все дворянки похожи на Клару Урсино. Тем больше чести для тебя, что ты, графиня, полюбила — разбойника.

КЛАРА. Да! Я полюбила разбойника, который носил меня. Я Клара Урсино.

АЛОНСО. Что?.. Кто, Клара?..

КЛАРА. Я — Клара Урсино.

АЛОНСО. Ложь!

КЛАРА. Я тебе поверила, что ты простой разбойник, отчего же ты не веришь, что я простая... потаскушка?

АЛОНСО. Ложь! *(Стук в дверь)*

КЛАРА. Вот тебе доказательство.

АЛОНСО. Кто там?

КЛАРА. Родриго!

АЛОНСО. Канцлер!

КЛАРА. Он.

АЛОНСО *(после короткого молчания)* Так... Я понимаю. Хорошо. Он умрет.

КЛАРА. Ты слишком быстр. Убить всегда успеешь. Зайди сюда. *(Хочет отвести его за ширму, хватая за рукав)*

АЛОНСО *(брезгливо выдергивает руку)* Не трогайте... графиня!

КЛАРА. Ах, так? Ну, хорошо. Послушайте, дон Алонсо, разбойник! Вы только что... ну, скажем, уважали меня. Уважайте же меня еще десять минут.

АЛОНСО *(привчась)* Но смотрите, если вы выдадите меня...

КЛАРА. Слово дворянки, каменотес! *(Алонсо прячется. Клара открывает дверь)*

РОДРИГО *(входя)*. Вы были заняты, Клара?

КЛАРА. Я причесывалась, синьор.

РОДРИГО. Синьор? Зачем такая торжественность, моя дорогая?

КЛАРА. Когда я вижу вас после долгого перерыва, я забываю, что для меня вы не всемогущий канцлер, а добрый друг. Вы так давно не приходили ко мне, Родриго.

РОДРИГО. Я занят. Я устал, Клара. *(Снимает шапку и садится)*. Я устал. Днем и ночью, утром и вечером одно и то же. Нелегко быть укротителем диких зверей.

(Молчание)

РОДРИГО. Клара! Когда стоишь в клетке и видишь, как они лизут твои руки!.. Не страх, а гордость в душе, победа! Но когда я выхожу из клетки, когда я не вижу своих зверей, а думаю о них, вот сейчас...

КЛАРА. Вы боитесь, Родриго?

РОДРИГО. Нет, я не боюсь. Я устал, а укротитель не должен уставать. Когда я не вижу своих зверей, мне кажется, что когда-нибудь они разорвут меня.

КЛАРА. Зачем такие грустные мысли, мой Родриго?

РОДРИГО. Да, вы правы. Я пришел сюда не для того, чтобы плакать. Но я так устал.

КЛАРА. Присядьте к огню, Родриго. Вот так. Мой дорогой!

РОДРИГО. Клара! Вы мое единственное утешение.

КЛАРА. Зачем же говорить это таким... Милый, что с вами?

РОДРИГО. Я не знаю... Я, кажется, боюсь... Но чего — не знаю. Я боюсь всего...

КЛАРА. Стыдитесь! Вы, который никогда ничего не боялись...

РОДРИГО. Я не боюсь их когтей, боюсь их глаз. Они трусы, но нет ничего страшнее, чем глаза трусов. Когда я иду по улице, — они смотрят на меня. Когда я поворачиваюсь к ним спиной, я чувствую их глаза. Глаза трусов! Это хуже шпаг! Вот сейчас... тысячи глаз, глаза всего герцогства, трусливые, рабские глаза, бессильные! Я боюсь их, Клара!

КЛАРА. Родриго!

РОДРИГО. Днем и ночью, утром и вечером — одно и то же. О, вырвать бы их глаза, все глаза! (*Молчит, смеется*). Старость, Клара. Старческие страхи. Никогда этого не будет. Разве смогут трусы восстать. Зверям — звериная жизнь. В клетке... Хороший бич, и все...

КЛАРА. Мой славный укротитель! (*Ластится к нему*)

РОДРИГО. Я не боюсь ничего. Поцелуйте меня, Клара... Так... Крепче. Только мне надоело работать на других. Если б это были мои звери! Я должен укрощать их для другого. Этот герцог, этот старый глупец. И я должен работать на него! Почему он герцог, а не я? Почему престолы для дураков? О, Клара, если бы я был герцогом!

КЛАРА. Но ведь вы и так всемогущи, мой Родриго.

РОДРИГО. Это не то. Каждый день ходить к королеванному старику, кланяться, унижаться, когда знаешь, что ты больше и сильнее его.

КЛАРА. Отчего же вы не станете герцогом, мой Родриго?

РОДРИГО. Я? Герцогом?

КЛАРА. Да, герцогом! Отчего вы не свергнете Филиппа? Ведь вы можете. Войско знает только вас. Никто не слушается герцога.

РОДРИГО. Опомнитесь!

КЛАРА. Вы будете герцогом, великим герцогом! Посмотрите на наш город. Он мал и ничтожен. Будьте герцогом, будьте! И наше герцогство станет первым!

РОДРИГО. Предать господина?..

КЛАРА. Какой он вам господин? Родриго, будьте мужчиной! Вы должны свергнуть Филиппа! Вы должны...

РОДРИГО. Да, я должен, и я буду герцогом! Подождите. Подождите... я сброшу Филиппа. Я сам стану герцогом... нет, королем! Никому не подчиняться, никому!.. быть свободным!.. Тогда они увидят, тогда...

КЛАРА (*обнимая его колени*). И тогда я стану королевой? Правда? Правда?

РОДРИГО. Вы?

КЛАРА. Вы женитесь на мне, Родриго, правда? Да? да? Женитесь?

РОДРИГО. Клара!

КЛАРА. Ваша жена умерла. Король должен жениться. Я буду вашей королевой? Да? правда? (*целует его*)

РОДРИГО. Но, Клара... Вы...

КЛАРА. Я — потаскушка? Да? Я знаю. Я знаю все. Королю непристойно жениться на своей фаворитке. Ее нужно держать так, между прочим; любовница! А жениться на принцессе, на глупенькой, на уродливой, на царской крови. Да?

РОДРИГО. Клара! Что с вами?

КЛАРА. Со мной ничего. Я только — так. Я — просто....

РОДРИГО. Клара! И вы тоже? Я устал. Я хотел отдохнуть у вас.

КЛАРА (*смеясь и целуя его*) Я пошутила, мой Родриго. Дайте я поцелую вас.

РОДРИГО. Так, моя дорогая. Так. Я устал.

КЛАРА. Вы устали? Вы хотите отдохнуть?

РОДРИГО. Я посижу у огня. Сядьте рядом со мной. Я устал. Обнимите меня. Так. Так хорошо.

КЛАРА. Приходите ко мне чаще, Родриго. Вы отдохнете у меня.

РОДРИГО. Я буду приходить, теперь часто, очень часто. Каждую среду. Хорошо? Сядьте ближе. Так. Вот. Ночью и днем, утром и вечером, — одно и тоже.

(*Засыпает. Клара тихо подымается, идет за ширму, берет Алонсо за руку и подводит к огню*)

КЛАРА. Смотри!

АЛОНСО. Что?

КЛАРА. Убей его!

АЛОНСО. Алонсо Энрикес не убивает беззащитных.

КЛАРА (*смеясь*) Ты трус!

АЛОНСО. Я не убью его, потому что я не трус.

КЛАРА. Тогда прочь! Мне не нужно тебя. Я сама убью его.

АЛОНСО. Ты не убьешь!

КЛАРА. Кто помешает мне?

АЛОНСО. Я! Только женщины убивают спящих.

КЛАРА. А! Хорошо! Я буду помнить.

АЛОНСО. Клара! Каждую среду.

КЛАРА. Что среду?

АЛОНСО. Он будет приходить к тебе каждую среду!

КЛАРА. Так что ж?

АЛОНСО. Одна среда будет его последней средой. Я не убью его. Я возьму его живым (*к Родриго*). Укротитель не должен бояться ничего и никогда. «Днем и ночью, утром и вечером одно и тоже!» Но ты боишься и ты умрешь. Мы откроем клетки, и звери разорвут тебя, укротитель!

(ЗАНАВЕС)

*

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Антракт II-й

Левая сцена

(Улица)

ДОН БЕНИГНО. А, дон Гонсало!

ГОНСАЛО. А, дон Бенигно!

БЕНИГНО. Дон Гонсало!

ГОНСАЛО. Что дон Бенигно?

БЕНИГНО. Как вам это нравится?

ГОНСАЛО. Совсем не нравится!

БЕНИГНО. Когда все это кончится?

ГОНСАЛО. Совсем не кончится.

БЕНИГНО. Как не кончится?

ГОНСАЛО. Очень просто. Его не поймают.

БЕНИГНО. Как не поймают?

ГОНСАЛО. Очень просто. Он не будет пойман.

БЕНИГНО. Как не будет пойман?

ГОНСАЛО. Очень просто — его не поймают.

БЕНИГНО. Но ведь на ногах весь город!

ГОНСАЛО. А хоть и два города!

БЕНИГНО. Разгуливает открыто, днем, не переодетый!
 ГОНСАЛО. И никто не может его поймать.
 БЕНИГНО. Как вам это нравится?
 ГОНСАЛО. Совсем не нравится.
 БЕНИГНО. Чем это все кончится?
 ГОНСАЛО. Совсем не кончится.
 БЕНИГНО. Прощайте, дон Гонсало.
 БЕНИГНО. Прощайте, дон Гонсало.

(ЗАНАВЕС)

Правая сцена

(Другая улица. Ночь)

ДОН НАРСИССО. Дон Карлос! Дон Карлос!
 ДОН КАРЛОС. Добрый вечер!
 НАРСИССО. Дон Карлос!
 КАРЛОС. Что уважаемый, дон Нарсиссо?
 НАРСИССО. Я только что встретил — ну, кого вы думаете? Вы все знаете.
 КАРЛОС. Герцога!
 НАРСИССО. Хуже!
 КАРЛОС. Канцлера!
 НАРСИССО. Еще хуже!
 КАРЛОС. самого чорта, что ли?
 НАРСИССО. В десять раз хуже. Алонсо Энрикеса!
 КАРЛОС. Я так и знал!
 НАРСИССО. Вы всегда все знаете, дон Карлос...
 КАРЛОС. Что ж вы сделали с ним?
 НАРСИССО. С кем?
 КАРЛОС. С Алонсо.
 НАРСИССО. Святая Дева! Конечно, ничего. Я спрятался.

КАРЛОС. Непристойно, дон Нарсиссо, дворянину прятаться от разбойника!

НАРСИССО. Вам хорошо говорить! Встретились бы вы с ним сами...

КАРЛОС. Да если бы я его встретил, я бы...

НАРСИССО. Смотрите, вон он возвращается.

КАРЛОС. Не может быть!

НАРСИССО. Вон!

КАРЛОС. Бежим!

НАРСИССО. А как же вы, только что...

КАРЛОС. Если вам дорога жизнь! (Прячутся за угол. Алонсо проходит)

КАРЛОС (выходя). Видели?

НАРСИССО (выходя). Видели?

КАРЛОС. Куда он идет?

НАРСИССО. Выследим его.

КАРЛОС. Боже упаси!

НАРСИССО. Где он ночует, интересно бы знать!

КАРЛОС. В преисподней, не иначе. Его нигде не могут найти.

(ЗАНАВЕС)

Акт III-й

(Тронный зал дворца; ночь; темно; пусто)

АЛОНСО (выпрыгивая через окно). Готово! Эти болваны алыгасили ищут меня по всему городу, обыскивают все дома. На небе он, что-ли? — А он во дворце. Говорят, самое верное прятаться у того, кто больше всех тебя ищет.

Ничего не видно... Это что? Трон! Э! да я в тронном зале. Вот так-так! А на стенах какие то люди. Должно

быть, предки... Вы никогда не видели разбойника, дорогие предки? Не пугайтесь, он вас не тронет. Вы возмущены: помилуйте, каменотес и разбойник в тронном зале! Что смотрит небо? Где его гром и молния? А вот сяду на трон, да, сяду, и ничего со мной не будет. *(Садится)* Что, предки? Вы не верите своим глазам? Ничего, скоро привыкнете. Скоро, скоро. А хорошо, чорт возьми, сидеть на троне. И вообще во дворце хорошо. Этот Родриго со своими словами не дает мне покоя... Темно... Ты хочешь стать королем, Родриго? Королем будет — народ! В этом зале, на этом троне будет сидеть — народ! Ха-ха! Мы вас снимем, уважаемые предки! Мы заменим вас портретами наших предков. Дровосеки, сапожники, каменотесы и извозчики... Мой дед тоже будет висеть на стене. Снилось ли это тебе, старый дурак? А твой внук будет... Кем буду я? Кем буду я? *(Слезает с трона)* К чорту! Что со мной? Алонсо, что с тобой? Ты стал серьезным. Смотри, ты уже целую неделю не смеялся, Алонсо, Алонсо! Брось! А все этот дон Родриго...

ИНЕСА *(входя, тихо)* Пабло! Это — он!

АЛОНСО. Кто там?

ИНЕСА. Мой Пабло!

АЛОНСО *(в сторону)*. Хотя я и не Пабло, но охотно буду им.

ИНЕСА. Мой любимый!

АЛОНСО. Моя любимая!

ИНЕСА. Мой ненаглядный

АЛОНСО. Моя ненаглядная! *(В сторону)* Воистину ненаглядная. Ничего не могу разглядеть.

ИНЕСА *(обнимает его)*. Мой... Это не он! Это не он!

АЛОНСО. Прелестная синьорина! Зачем кричать, а почему я не он? Я ничем не хуже его.

ИНЕСА. Пустите меня! Пустите меня! Я погибла.

АЛОНСО. Как раз поэтому - то и не нужно кричать *(Притягивает ее к окну)* О, чорт! Красотка! *(Целует ее)*

ИНЕСА *(вырываясь)* Синьор! Вы негодяй!

АЛОНСО. Ах, Боже мой! Зачем волноваться? Уверяю вас... *(Пабло впрыгивает через окно)*.

АЛОНСО. Э, да сегодня проливной дождь на дворе, дураки так и сыпятся.

ИНЕСА *(бросаясь к нему)*. Мой Пабло!

ПАБЛО. Моя Инеса!

АЛОНСО *(в сторону)*. Это, видимо, настоящий «он»!

ИНЕСА. Спаси меня!

ПАБЛО. Что случилось?

ИНЕСА. Вон там! Вон там!

ПАБЛО. Что, моя милая?

ИНЕСА. Там! Там!

ПАБЛО. Что там?

ИНЕСА. Там он!

ПАБЛО. Кто он?

АЛОНСО. Это я — он!

ПАБЛО. А, негодяй! Ты подстерегал нас!

АЛОНСО. Смею вас уверить, что ничего подобного.

ПАБЛО. Кто вы?

АЛОНСО. Да я теперь сам не знаю. Сперва эта уважаемая синьорина сказала, что — это он. Увидев же, что я — не он, закричала: «это не он». А теперь снова: «это — он»! Теперь сам не знаю, кто я такой: он или не он?

ПАБЛО *(обнажая шпагу)*. Защищайся, негодяй! *(Бросается на Алонсо и натывается на колонну)*

АЛОНСО. Это не он. Это столб.

ПАБЛО. Ты умрешь! *(Тыкает шпагой во все стороны и попадает в стену)*

АЛОНСО. Вы убили какого-то предка на стене, синьор, и совершенно напрасно. Он уже умер.

ПАБЛО *(найдя Алонсо)* А, вот ты, наконец! Защищайся!

АЛОНСО. Если вы так хотите... *(Дерутся)* Синьор! Осторожней, не убейте в темноте самого себя. *(Сражаясь, попадают в струю лунного света, врывающуюся через окно)*

ПАБЛО. Алонсо Энрикэс!

АЛОНСО. Пабло Перес! *(Бросают шпаги и кидаются друг другу в объятия)*

ПАБЛО. О, Инеса, это он!

АЛОНСО. Видите, синьорина. Я — все-таки — он!

ПАБЛО. О, Инеса! Это тот самый Алонсо, мой молочный брат, о котором я рассказывал тебе.

АЛОНСО. Очень приятно, что ты рассказывал обо мне этой прекрасной особе. Что же ты рассказывал? Что я разбойник, мошенник, душегуб?

ПАБЛО. О, Алонсо, как ты можешь так думать?

АЛОНСО. Что при моем имени каждый добрый христианин должен содрогнуться?

ПАБЛО. О, Алонсо!

АЛОНСО. Ну, я шучу! Ты хороший человек, Пабло. Ты единственный дворянин, которого я уважаю.

ПАБЛО. О, Алонсо! *(Целуются)*

ПАБЛО. Но зачем ты здесь, Алонсо?

АЛОНСО. А зачем вы оба здесь?

ПАБЛО. Мы же любим друг друга! *(Целуются с Инесой)*

АЛОНСО. Ну, так и я люблю самого себя. *(Целует свою руку)*

ПАБЛО. Но все-таки почему ты здесь?

АЛОНСО. А, все-таки, почему вы здесь?

ПАБЛО. Дон Родриго не позволяет нам любить друг друга.

АЛОНСО. И тот же Родриго не позволяет мне любить самого себя.

ИНЕСА. Он хочет выдать меня за своего сына, а я не хочу.

АЛОНСО. Он хочет женить меня на дочери Плутона, а я не хочу.

ПАБЛО. И потому мы встречаемся ночью здесь.

АЛОНСО. И потому я ночью здесь.

ПАБЛО. О, Инеса!

ИНЕСА. О, Пабло! *(Целуются)*

АЛОНСО. О, Алонсо! *(Целует свою руку)* Пабло! поздравляю тебя. Твоя невеста — красавица!

ПАБЛО. Увы!

ИНЕСА. Увы!

АЛОНСО. В чем дело?

ПАБЛО. Кто знает, будет ли она моей женой?

ИНЕСА. Кто знает, буду ли я его женой?

ПАБЛО. Дон Родриго!

ИНЕСА. Дон Родриго!

АЛОНСО. Друзья! не нойте! К чорту дона Родриго. Я помогу вам.

ПАБЛО. О, Алонсо! Я всегда говорил Инесе, если-б только с нами был Алонсо, он бы помог нам.

АЛОНСО. Так вот он с вами и поможет вам!

ПАБЛО. О, Алонсо! *(Целует его)*

ИНЕСА. О, Алонсо! *(Целует его)*

АЛОНСО. О, Пабло! *(Целует его)* О, Инеса! *(Целует ее)* О, Инеса! *(Целует ее)* О, Инеса! *(Целует ее)*

ПАБЛО (*мечтательно*). Сколько времени не виделись мы с тобой, Алонсо!

АЛОНСО. Да, порядком. А ты все такой же, не изменился. Мечтательный и добрый (*в сторону*) простофиля!

ПАБЛО. И ты тоже не изменился.

АЛОНСО. Ну, нет!

ПАБЛО. Все такой же веселый.

АЛОНСО. Веселый-то, веселый, но... впрочем, что гореть... Да, я веселый... Веселый! Я больше не веселый, Пабло. Да-а... Но к делу, Пабло.

ПАБЛО. Что?

АЛОНСО. Ты хочешь жениться на этой прекрасной девице?

ПАБЛО. О, Алонсо!

ИНЕСА. О, Алонсо!

АЛОНСО. И ты хочешь, чтоб я помог тебе в этом?

ПАБЛО. О, Алонсо!

ИНЕСА. О, Алонсо!

АЛОНСО. Так слушайте же, дети... Я клянусь вам, что не пройдет двух недель, как вы поженитесь.

ПАБЛО. О, Алонсо!

ИНЕСА. О, Алонсо!

АЛОНСО. Но...

ПАБЛО. Что?

АЛОНСО. Ты тоже должен поклясться мне, что ты будешь помогать мне.

ПАБЛО. В огонь и воду!

АЛОНСО. На какое угодно дело?

ПАБЛО. Куда ни позовешь!

АЛОНСО. Против кого угодно?

ПАБЛО. Хоть против дьявола!

АЛОНСО. Клянись... Постой, ты занимаешь какой пост?

ПАБЛО. Начальник полка.

АЛОНСО. Солдаты любят тебя?

ПАБЛО. Не понимаю...

АЛОНСО. Отвечай!

ПАБЛО. Ну да, любят.

АЛОНСО. Очень?

ПАБЛО. Очень.

АЛОНСО. Теперь клянись!

ПАБЛО. Клянусь!

АЛОНСО. И я клянусь. Жди же меня, Пабло. А теперь прощайте, голубки. Через две недели ваша свадьба.

ПАБЛО. О, Алонсо!

ИНЕСА. О, Алонсо!

АЛОНСО. Не забудьте пригласить меня.

ПАБЛО. О, Алонсо!

ИНЕСА. О, Алонсо!

АЛОНСО. Не окажите раньше времени. Ведь я разбойник.

ПАБЛО. О, Алонсо!

ИНЕСА. О, Алонсо!

АЛОНСО. Впрочем, кто знает, что будет через две недели. Может быть... Ну, прощайте, голубки. Не буду вам мешать. Прощайте.

ПАБЛО. Постой, постой! Я забыл спросить тебя.

АЛОНСО. Что?

ПАБЛО. Как поживает твоя жена? Надеюсь, она в добром здравии? Ха-ха-ха!

АЛОНСО. Жена? ах, жена? Ну, хорошо! Скажи, дон Пабло, как поживает дон Родриго? Надеюсь он в добром здравии?

ПАБЛО. О, Алонсо!

АЛОНСО (*передразнивая*). О, Пабло! Слушай, Пабло! Если ты еще раз спросишь меня про мою жену, клянусь, что я пойду к дону Родриго и выдам тебя, слышишь ты? Жена? Жена? Ты хочешь? Весело? А мне эта чортова Исабелла портит все мои планы.

ИНЕСА. Не сердитесь, дон Алонсо! Пабло только пошутил.

АЛОНСО. Я поменялся бы с ним женами, синьорина! Прощайте (*лезет в окно; к публике*). Я всегда говорил, что дуракам счастье.

(ЗАНАВЕС)

Акт III-й

(*Через несколько дней. Ночь. Улица*)

ФАБИО. Не узнаю нашего Алонсо. Что с ним?

ХИНЕС. С каких это пор?

КАСТАНЬО. Да уж недели две.

ФАБИО. Не весел!

КАСТАНЬО. Да!

ФАБИО. Никогда не шутит.

ХИНЕС. Груб с друзьями.

КАСТАНЬО. И с женщинами.

ФАБИО. Ну, этого не может быть!

КАСТАНЬО. Клянусь небом, я сам видел, как он ударил женщину!

ФАБИО. Алонсо?

КАСТАНЬО. Он самый!

ФАБИО. Чудеса! Что это с ним стало?

ХИНЕС. Идемте, друзья! Сейчас все узнаем.

ФАБИО. Не понимаю, что с Алонсо! (*Уходят*)

(ЗАНАВЕС)

Правая сцена

(*Другая улица. Ночь. Входят ДВА РАЗБОЙНИКА*)

ОДИН. А ты знаешь дорогу?

ДРУГОЙ. Иди за мной (*проходят. Входят ОРТУНЬО и ИСАБЕЛЛА*).

ОРТУНЬО. Стой здесь и жди его. Он сейчас пройдет мимо.

ИСАБЕЛЛА. Дай мне только поймать его.

ОРТУНЬО. Ради Бога, не говори ему, что это я привел тебя.

ИСАБЕЛЛА. Не беспокойся.

ОРТУНЬО. Вот он! Я побегу, чтоб он меня не заметил. Только боюсь, как ты одна...

ИСАБЕЛЛА. О, я с ним справлюсь. Иди скорей.

ОРТУНЬО (*убегая*). Я покажу ему, как приставать к моей Хасинте.

(*Входят АЛОНСО, ЭРНАНЬО и ХУАН*)

ИСАБЕЛЛА. Постой, дружок...

АЛОНСО. Простите, я спешу.

ИСАБЕЛЛА. Спешить? Куда? Отвечай, бесстыжие твои глаза!

АЛОНСО (*спокойно*). А, это ты, Исабелла? Пусти!

ИСАБЕЛЛА. Ну, нет, мой друг. Так-то легко не уйдешь от меня. Наконец, я поймала тебя.

АЛОНСО (*все также*). Исабелла, отстань. Мне надо идти.

ИСАБЕЛЛА. Куда идти, изверг? Говори, к какой потаскушке идешь, убийца?

АЛОНСО (*грозно*). Отстань!

ИСАБЕЛЛА. Нет, дружок. Не пушу.

АЛОНСО. Отстань!

ИСАБЕЛЛА. Развратник!

АЛОНСО. К чорту! *(Хватает ее и бросает в сторону)*
На, получила! Отстань, говорю.

ИСАБЕЛЛА *(кричит)* Ай! убивают! помогите. Ай ай!

АЛОНСО. Слушай! Если ты крикнешь еще раз...

ЭРНАНЬО *(Хуану)*. Смотри! Что с ним?

ХУАН. Он угрожает женщине!

АЛОНСО. Если ты попробуешь пойти за мной...
Лучше не делай этого. Довольно я возился с тобой шутками и прибаутками. Понимаешь?.. Идем, друзья.

ИСАБЕЛЛА. Алонсо! Дорогой мой! Ненаглядный!
На кого ты меня оставляешь?

АЛОНСО. К чорту!

ИСАБЕЛЛА. Алонсильо мой!

АЛОНСО. Но! Слышала, что тебе говорят?

ИСАБЕЛЛА. Алонсо!

АЛОНСО. Вон! *(Замахивается на нее. Она убегает)*.
Я — дурак. Два года отдавался от нее смехом и ничего не выходило, а раз замахнулся, и все готово. *(Уходят)*

(ЗАНАВЕС)

А к т IV-й

*(Внутренность какого-то неопределенного здания. Ночь.
РАЗБОЙНИКИ; входят еще ДВОЕ)*

1-й РАЗБОЙНИК *(входя)* Алонсо еще нет?

ХИНЕС. Нет, как видишь.

ФАБИО. Уж полночь било. Он пропустил свой срок.

2-й РАЗБОЙНИК. Это на него не похоже.

ФАБИО. Он изменился.

КАСТАНЬО. В последнее время мы совсем не работали.

3-й РАЗБОЙНИК. Надоело.

ФАБИО. Алонсо грустен. Что с ним

ОРТУНЬО. Я знаю.

ВСЕ. Ну! ну!

ОРТУНЬО. Он влюблен.

ВСЕ. Ха! ха!

ФАБИО. Ну, плохо же ты знаешь нашего Алонсо,
если думаешь, что из-за любви он бросит дело.

ОРТУНЬО *(мрачно)* Кому как не мне знать?

ХИНЕС. Вообще чудеса: Алонсо не весел, Ортуньо
не пьян.

ВСЕ. Ха-ха!

ФАБИО. Ведь Ортуньо женат.

ХИНЕС. Как женат?

ФАБИО. Третьего дня женился на Хасинте.

1-й РАЗБОЙНИК. Дочери трактирщика.

ВСЕ. Ха-ха!

ФАБИО. И дал обет не пить. Вот уж второй день
не пьян.

ХИНЕС. То-то он такой грустный.

ВСЕ. Ха-ха!

2-й РАЗБОЙНИК. Видно, ему уж наставили рога.

ВСЕ. Ха-ха!

(Входят АЛОНСО, ЭРНАНЬО и ХУАН)

АЛОНСО. Что за шум?

ФАБИО. А мы смеемся, что Ортуньо... Да ты знаешь, что Ортуньо женат?

АЛОНСО. Ну?

ФАБИО. Так мы смеемся, что жена уж наставила
ему рога.

ВСЕ. Ха-ха!

АЛОНСО. Нечего смеяться. Замолчите. Слышали?

(Все смолкают. С изумлением смотрят друг на друга).

ФАБИО. Алонсо! Ты ли это?

АЛОНСО. Что?

ФАБИО. Ты запрещаешь смеяться?

АЛОНСО. Да, запрещаю. Что ж, вы хотите, чтоб весь город сбежался на ваш смех?

ФАБИО. Послушай, Алонсо! Не ты ли сам говорил, что можно заставить человека не спать, но нельзя заставить его не смеяться.

АЛОНСО. А теперь говорю: молчите!

(Все переглядываются)

ОРТУНЬО. Алонсо! Мне надо с тобой...

АЛОНСО. После.

ОРТУНЬО. Нет сейчас.

АЛОНСО. Ты пьян.

ОРТУНЬО. Я требую, чтоб ты меня выслушал!

АЛОНСО. Требуешь? Ну хорошо. Идем. (Отходит в сторону)

ФАБИО. Что такое с ними?

КАСТАНЬО. Не узнаю обоих.

ОРТУНЬО. Алонсо! Ты знаешь, что я женился на Хасинте?

АЛОНСО. Знаю.

ОРТУНЬО. И ты был у нее сегодня днем, когда меня не было?

АЛОНСО. Был.

ОРТУНЬО. Раньше ты не поступал так с друзьями!

АЛОНСО. Не понимаю.

ОРТУНЬО. Отвечай прямо!

АЛОНСО. Ты угрожаешь?

ОРТУНЬО. Да.

АЛОНСО. Ты пьян.

ОРТУНЬО. Довольно с пьянством! Мне надоело это! Отвечай, или...

АЛОНСО. Что или?..

ОРТУНЬО (кричит). Алонсо!

АЛОНСО. Что?

ОРТУНЬО. Ты будешь драться со мной!

АЛОНСО. После.

ОРТУНЬО. Нет, сейчас.

АЛОНСО. Отстань.

ОРТУНЬО. Ты трус!

АЛОНСО. Ортуньо! (хватается за шпагу)

ФАБИО. Друзья! друзья! успокойтесь!

ВСЕ. Бросьте!.. Алонсо!.. Ортуньо!.. Тише!..

ФАБИО. Послушай, Алонсо, ты зачем позвал нас сюда? Чтобы драться друг с другом, или дело делать?

КАСТАНЬО. Нам надоело ждать!

ХИНЕС. К делу!

1-й РАЗБОЙНИК. Мы сидим без работы уж целый месяц.

ВСЕ. Дела! дела!

АЛОНСО. Эй! тише! Слушайте! Вот уже почти месяц, как мы ничего не делаем.

ВСЕ. Да! да! надоело!

АЛОНСО. Мы прятались в своих щелях, как кролики.

ВСЕ. Да! да! дела!

АЛОНСО. Мы смотрели, как дон Родриго со своей шайкой грабят народ и мы молчали.

ВСЕ. Да! да!

АЛОНСО. Ни один дворянин не был обокраден. Ни один негодяй не был убит.

ВСЕ. Да! да! да!

АЛОНСО. Так слушайте же! Объявляю, что и впредь ни один дворянин не будет обокраден и ни один граф не будет убит!

(Недоумение. Недоумение переходит в негодование. Ропот)

ХИНЕС. Алонсо! что это значит?

1-й РАЗБОЙНИК. Отвечай!

ФАБИО. Что с тобой?

ОРТУНЬО. Я знаю, отчего он говорит это. Он трус. С тех пор, как он объявлен вне закона, он боится. Он прячется за женскими юбками. Он — трус!

(Алонсо молчит)

ФАБИО. Слушайте. Его оскорбили, а он молчит!

ХИНЕС. Что с ним?

ОРТУНЬО. Он — трус!

АЛОНСО. Молчать! Повторяю: с сегодняшнего дня мы прекращаем наши нападения. Шайка Алонсо Энрикеса объявляется распушенной!

ОРТУНЬО. Он изменник. Я знаю: он бывает у Клары Урсино.

ХИНЕС. Алонсо! Что это значит?

АЛОНСО. Это значит, что я второй любовник Клары Урсино. Я бываю у нее каждый день.

ВСЕ. А!

АЛОНСО. Я люблю ее, и она любит меня. И потому я распускаю вас!

ОРТУНЬО. Смерть изменнику!

ФАБИО. Алонсо!

АЛОНСО. Мы перестаем нападать из-за угла поодиночке, для того чтобы напасть на всех сразу.

ОРТУНЬО. Не верьте ему!

АЛОНСО. Молчать! Выслушайте меня. Канцлер Родриго объявил меня вне закона. Вся жизнь боролся я

против закона, и вдруг канцлер сам объявил меня вне его. И я убедился, что вне законов жить лучше. И вот я хочу, чтобы всем жилось хорошо, чтобы все были вне закона! Понимаете?

ФАБИО. Нет...

АЛОНСО. Слушайте же! Завтра ночью мы свергнем герцога Филиппа, арестуем Родриго и всех его приспешников и уничтожим законы. Весь С'юдад будет вне закона. Не будет больше законов. Каждый будет законом самому себе!

ФАБИО. Ты с ума сошел, Алонсо?

ХИНЕС. Да что с ним?

АЛОНСО. А, вы боитесь? Вы, которые всю жизнь боролись против закона, боитесь отменить его?

ФАБИО. Мы не боимся. Но подумай сам, Алонсо. Нас только двадцать человек.

АЛОНСО. Неправда! Нас двести тысяч! Весь народ за нас!

ФАБИО. Народ — баран. Он — трус. Он не пойдет за нас.

АЛОНСО. Но и не будет против нас! Друзья! довольно нам возиться из-за угла! Пойдем напролом. На всех сразу! Нас двадцать человек, дворян две тысячи. Неужели каждый из нас не убьет сотни этих трусов?

1-й РАЗБОЙНИК. Но войско?

АЛОНСО. Войско тот же народ. Оно пойдет за нами.

(Толпа в нерешительности)

Слушайте. Я, Алонсо Энрикес, разбойник и весельчак, который всю жизнь только и делал, что пил, целовался и дрался, я стал задумываться. Народ стонет — мы мстим за него, народ гибнет — мы утешаем его. Но разве на-

роду нужна такая помощь? Нет! мы должны раз и навсегда вырвать с корнем законы!

ФАБИО. Кто же будет править нами?

АЛОНСО. Никто! Каждый будет править самим собой! Помните, мы клялись, что для нас не будет никаких законов, кроме законов чести! Так пусть же не будет никаких законов, кроме законов чести!

(Молчание)

Понимаете ли, что это значит? Это значит, что не будет насильников и не будет рабов! Не будет дворян и не будет налогов. Не будет стражей и не будет тюрем. Все будут — вне закона.

ОРТУНЬО. Друзья! Алонсо прав! Нет законов, кроме законов чести! На бой! Долой законы!

ХИНЕС. Не нам, не разбойникам, восставать на тиранов. Не тебе Алонсо, шутнику, и тебе Ортуньо, пьянице.

АЛОНСО. Нет, нам и только нам. Я — весельчак, я — пьяница, я — каменотес, и потому я достоин восстать против Родриго. Смеясь, прожил я всю жизнь и смеясь пойду на битву. За мной, друзья!

ОРТУНЬО. Алонсо! Я пойду за тобой! Клянусь. Нет законов, кроме законов чести.

АЛОНСО. Кто еще за мной?

(Толпа колеблется)

АЛОНСО. А, вы все таки сомневаетесь! Труссы!

ФАБИО. Не нам делать великое. Пусть другие свергают герцога.

АЛОНСО. Да! ты прав! Другие свергнут герцога! Знайте, что завтра ночью Родриго свергнет Филиппа!

1-й РАЗБОЙНИК. Не может быть.

2-й РАЗБОЙНИК. Родриго....

3-й РАЗБОЙНИК. Мы погибли!

ХИНЕС. Это ложь!

ФАБИО. Неправда!

АЛОНСО. Нет, это так! Завтра в полночь Родриго захватит дворец и объявит себя герцогом. Он подкупил войско. Сюда в его руках. Я знаю это наверняка, Клара Урсино сказала мне это.

ФАБИО. О, Боже!...

ХИНЕС. Чорт...

КАСТАНЬО. Что делать?

ВСЕ. Что делать? Что делать!

АЛОНСО. Что делать? Вы не знаете, что делать? Я знаю! Свергнуть и Родриго и Филиппа вместе!

ОРТУНЬО. Друзья! Неужто мы отдадим престол Родриго? Ведь это наша смерть!

АЛОНСО. И смерть народа!

ОРТУНЬО. Он убьет нас!

АЛОНСО. И убьет всех!

ОРТУНЬО. Он замучит наших детей!

АЛОНСО. Изнасилует наших жен!

ФАБИО. Я твой, Алонсо!

ВСЕ (один за другим) Я — твой! И я! твой! Я — твой! Веди нас!

АЛОНСО. Наконец! Слушайте же! Завтра в десять часов вечера Родриго будет у Клары Урсино. Я тоже буду там.

ВСЕ. Клара?.. Урсино?.. Урсино?..

АЛОНСО. Графиня Урсино — наша!

ФАБИО. Не может быть!

АЛОНСО. Наша! Завтра в десять я тоже буду у ней.

ХИНЕС. И ты убьешь его!

АЛОНСО. Нет. Я не убью его! Знайте, что завтра не должно быть ни одного убийства. Кончилось время убийств. Мы возьмём Родриго живым.

ФАБИО. Как?

АЛОНСО. Вы, двадцать человек, возьмете себе каждый по кварталу и в десять часов с криком: «держите Алонсо» броситесь к дому Урсино.

ХИНЕС. Не понимаю!

ВСЕ. Не понимаю! Не понимаю!

АЛОНСО. О, глупцы! Увлекайте за собой, как можно больше народу, гоните из всех домов, кричите, зовите, угрожайте: «Держите Алонсо»... Он пойман! Он не уйдет». На этот крик сбегится весь С'юдад. Клара откроет вам двери, и Родриго ваш!

ОРТУНЬО. Он наш!

ВСЕ. Да! Да!

АЛОНСО. Потом все — ко дворцу, кричите: «Долой герцога! Долой Филиппа». Стража пропускает нас, думая, что мы наемники Родриго. Полк Пабло Переса наш. Пабло с нами, он знает все. За ним перейдет все войско. И С'юдад наш!

ВСЕ. Наш! Наш!

АЛОНСО. Клянитесь же!

ОРТУНЬО. Клянусь!

ВСЕ. Клянемся!

АЛОНСО. Молчать! Еще одно слово! Помните! Мы, убийцы, говорим, что убийств больше не будет! Убийства там, где есть законы. Законов нет — и убийств нет. Беззащитным — пощада, тиранам — тюрьма. Помните!

ВСЕ. Помним!

АЛОНСО. Клянитесь!

ВСЕ. Клянемся!

АЛОНСО. Клянитесь, что во всем и всюду вы будете повиноваться мне.

ВСЕ. Клянемся!

АЛОНСО. А теперь по домам. До завтра! Наш лозунг — нет законов, кроме законов чести!

ВСЕ. Нет законов, кроме законов чести!

АЛОНСО. Наш пароль: «Вне законов».

ВСЕ. Вне законов!

ОРТУНЬО. Алонсо! Прости меня!

АЛОНСО. Милый друг, за что?

ОРТУНЬО. Я оскорбил тебя!

АЛОНСО. Ты первый понял меня сегодня, и за это я прощаю тебя (*пожимают друг другу руки*). Только, милый друг, позволь дать тебе совет.

ОРТУНЬО. Говори!

АЛОНСО. Напейся пьяным! Иначе ты ни на что не годен.

(ЗАНАВЕС)

*

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Акт IV-й

Левая сцена

(Вечер. Улица. Офицеры).

1-й ОФИЦЕР. Так что сегодня ночью?

2-й ОФИЦЕР. Сегодня!

3-й ОФИЦЕР. Наконец-то у нас будет настоящая власть!

1-й ОФИЦЕР. Дон Родриго покажет им!

4-й ОФИЦЕР. Помните пароль!
ВСЕ. Закон и власть!

Правая сцена

(Другая улица. Разбойники).

ФАБИО. Друзья! Рассеивайтесь по городу. Скоро
десять часов.

ХИНЕС. Не забудьте, куда гнать толпу!

1-й РАЗБОЙНИК. Помните пароль!

ВСЕ. Вне законов.

Акт V-й

(Комната доньи Клары. КЛАРА одна).

КЛАРА. Когда я проходила сегодня по площади какой-то человек крикнул мне: «потаскушка»! А другой: «Уличная»! Ха — ха! Верно, верно: и то и другое. Но еще третье: герцогиня! Нет, больше, чем герцогиня. Я та, которая сажает герцогов. Потаскушка сажает на престол. Я сильнее их всех. И этот Алонсо, который считает, что он выше всех, что он вне всяких законов, ему не победить законов женщины. Вы все думаете, что вы герцоги, а герцогиня — я, потаскушка! (Пауза)

Глупый Алонсо! Он хочет отменить все законы, чтоб все были равны. А сам то он? Он тоже будет, как все? Пусть говорит, что хочет! Пусть только коснется трона, чтоб опрокинуть его, и он сядет на трон! Трон слишком крепок для тебя, Алонсо! Ты говоришь — не нужно никого над народом! Ты сам первый станешь над ним, и даже не заметишь этого. (Стук в дверь) А! будущий герцог! (Открывает)

АЛОНСО (говорит шопотом) Я боялся, что опоздаю.
Его еще нет?

КЛАРА. Нет.

АЛОНСО. Уж скоро десять.

КЛАРА. Сейчас он будет.

АЛОНСО. Через полчаса!

КЛАРА. Сюдад — твой!

АЛОНСО. Сюдад — наш!

КЛАРА. Твой!

АЛОНСО. Кажется, стучат...

КЛАРА. Тебе показалось. Отчего ты говоришь шопотом?

АЛОНСО. Не знаю.

КЛАРА. Ты боишься?

АЛОНСО. О, Клара! Завтра не будет законов в Сюдаде. Мы разрушим суды и дворцы, мы сождем тюрьмы! Не будет законов в Сюдаде.

КЛАРА. И все ты!

АЛОНСО. Не я — народ!

КЛАРА. Нет — ты! Ты, только ты! Что народ! Он спит! Он даже не знает, что будет через полчаса. И этот народ — герой? Да никогда! Ты — герой, Алонсо. Зачем ты принижаешь себя? Будь вне закона, Алонсо, по старому.

АЛОНСО. Все будет вне закона!

КЛАРА. И все будет под законом, под рабским, жалким законом.

АЛОНСО (не слушая) Завтра не будет жен и мужей, господ и слуг, офицеров и солдат! Все будут равны.

КЛАРА. И все будут — никто! Все будут рабами. И ты тоже будешь рабом, Алонсо!

АЛОНСО. Рабом? Никогда!

КЛАРА. Но если ты станешь такой, как все, а все рабы, — ты тоже будешь рабом. Ты — вождь, Алонсо.

АЛОНСО. Не будет вождей!

КЛАРА. Рабы сами сделают тебя вождем!

АЛОНСО. Но я не соглашусь!

КЛАРА. Что-ж! Они найдут другого вождя. Они не могут жить без палки. Алонсо! не будь глупцом, ты — вождь!

АЛОНСО. Мы схватим всех дворян, графов, маркизов, царедворцев, сановников! Филипп и Родриго будут сидеть в одной тюрьме!

КЛАРА. Ты убьешь их!

АЛОНСО. Нет! Убийств не будет!

КЛАРА. Как? Ты не убьешь Родриго?

АЛОНСО. Не надо убийств!

КЛАРА *(в сторону)* Глупец! Пусть говорит, что хочет. Через час он увидит другое.

АЛОНСО. Через час мы сбросим трон.

КЛАРА *(в сторону)* Через час он сядет на трон.

АЛОНСО. Без капли крови!

КЛАРА *(в сторону)* В море крови!

АЛОНСО. Клара!

КЛАРА. Что?

АЛОНСО. Моя Клара! Завтра ночью я приду к тебе.

КЛАРА *(про себя)* Завтра ночью он будет думать иначе.

(Стук в дверь)

КЛАРА. Он! Сюда за ширму *(прячет его)*. Теперь второй герцог! *(Открывает дверь. Входит Родриго)*

КЛАРА. Мой герцог!

РОДРИГО. Все готово.

КЛАРА. И у меня все готово!

АЛОНСО *(за ширмой)*. И у меня все готово.

РОДРИГО. Войска ждут приказа.

АЛОНСО *(также)* Они его получают.

РОДРИГО. В полночь я взойду на трон. Наконец. Десять лет быть властелином на деле и в то же время рабски ползать перед троном!... Я буду герцогом! Быть надо всеми, быть выше всех, быть вне законов!...

АЛОНСО *(за ширмой)*. Вне законов?!..

РОДРИГО. Это низко: быть, как все. Знать что ты такой же, как жалкий торговец или последний ремесленник. Повиноваться каким-то чужим законам. Я буду над этими законами, я буду господином законов!

КЛАРА. Мой герцог... нет, мой король! Вы — король, Родриго. Вы — император!

РОДРИГО. Я сделаю С'юдад державой! Железным законом я подыму его! И я буду королем!

КЛАРА. Императором! Посмотрите на себя, Родриго! Разве вы не император?

РОДРИГО. Я знаю — меня ненавидят. Пусть! На ненависти народа я построю великое государство. Пусть кричат на меня и проклинают, бросают камни из-за угла. Придет время, и они будут петь обо мне песни и целовать мои ноги. Разве народ понимает что-нибудь? В три раза увеличу налоги и трижды умножу законы. Но — сделаю народ великим! Железные прутья, железные законы народу. И он станет бессмертным! Просыпаться утром и знать, что ты властелин, засыпая — чувствовать свою власть! Работать без конца, но работать — для себя, никому не повиноваться, ни человеку, ни Богу, быть вне всего, вне закона.

АЛОНСО. Вне закона?

РОДРИГО. Я буду править один. Мне не нужно никого. Я буду всюду и везде. Все будут мои, и я сделаю их героями, я...

КЛАРА. Родриго, первый император С'юдада!

РОДРИГО. Клара! Вы виновны в этом, моя Клара. Вы побудили меня к этому, уговорили меня. Я никогда не забуду.

(Часы бьют десять)

КЛАРА. Что надо мне, бедной фаворитке? Я только прошу, чтоб вы не бросили меня.

РОДРИГО. Я, чтоб бросил вас...

КЛАРА. Вы будете приходить ко мне иногда, правда, Родриго? В эту комнату, да?

РОДРИГО. Каждая свободная минута — ваша.

КЛАРА. А жена как же?

РОДРИГО. Чья жена?

КЛАРА. Ведь вы женитесь, мой император? Император должен жениться.

РОДРИГО. Жениться?

КЛАРА. Да, да! Жениться! На какой-нибудь принцессе. На некрасивой, но принцессе?

РОДРИГО. На принцессе!

КЛАРА. На Инесе, дочери Филиппа, да? Вы убьете ее отца, женитесь на ней? А я буду ее служанкой? Буду убирать ее постель, на которой она будет спать одна, а вы, император, будете приходить в мой чуланчик?

РОДРИГО. Клара!

(На улице вдалеке шум и крики)

КЛАРА. И каждый мальчишка на улице будет показывать на меня и кричать: «Дорогу любовнице императора»!

РОДРИГО. Да что вы...

(Шум и крики приближаются)

КЛАРА. Знаешь ли ты, что сегодня какой то мужик крикнул мне: «Вот потаскушка»!

РОДРИГО. Кто смел?...

КЛАРА. Кто смел? А кто смел сделать меня потаскушкой? Кто?

РОДРИГО. Клара! Вы сошли с ума!

КЛАРА. Отвечай мне, император, кто сделал меня потаскушкой?

РОДРИГО. Оставьте, Клара! Я уйду, мне пора.

(Стук в дверь. Крики: «Отворите, отворите».)

КЛАРА. Пора? Да, пора! Вы слышите? Пора, мой император! Время наступило.

(Сильный стук; крики)

РОДРИГО. Что там?

(Крики: «Отворите! Разбойник здесь, он не уйдет!»)

КЛАРА. Это пришли за вами, император! Пора!

(Крики: «Ломайте дверь! Алонсо здесь! Он не уйдет!»)

РОДРИГО. Что это? Что это?

КЛАРА. А! Вы испугались, император? Ваше величество! Это пришли убить вас.

(Крики: «Алонсо! Алонсо здесь! Ломайте дверь!»)

РОДРИГО. Боже мой! Они думают, что здесь Алонсо Энрикэс! Я не хочу, чтоб меня нашли у вас!

КЛАРА. Непристойно императору сидеть у потаскушки?

РОДРИГО. Где у вас....

КЛАРА. Сюда, мой император! Сюда! *(Ведет его мимо ширмы. Алонсо преграждает путь)*

РОДРИГО. Кто это?

КЛАРА. Это ваш друг, мой император!

АЛОНСО. Я — Алонсо Энрикес. Вам знакомо это имя, дон Родриго? Вы хорошо говорили о власти, дон Родриго. Я заслушался!

РОДРИГО. Измена!

КЛАРА. Да измена! Вы изумлены? Я изменила вам! Я погубила вас, Родриго! Это я привела вон тех людей, что кричат за дверью. Я спрятала Алонсо.

РОДРИГО. Клара! За что?

КЛАРА. За ваши благодеяния, герцог! За то, что вы хотели возвысить меня! Спасибо вам, мой император.

(Крики. Дверь трещит)

РОДРИГО *(спокойно)* Потаскушка!

КЛАРА. Потаскушка? Потаскушка? Потаскушка лишит вас жизни.

АЛОНСО. Клара, довольно!

КЛАРА. Мой Алонсо! *(Бросается к нему)* Родриго! Вот наш герцог, наш император!

РОДРИГО. Потаскушка!

КЛАРА. Сюда! *(Бросается к двери)*

АЛОНСО. Стой, Клара! Дон Родриго! Ваша игра проиграна. Вы хотели свергнуть Филиппа и сесть на его место....

КЛАРА. А сядет он. Алонсо будет герцогом.

АЛОНСО. Клара!...

(Дверь трещит. Крики)

АЛОНСО. Вы слышите? Через минуту они будут здесь. Они убьют вас. Но Алонсо Энрикес не даст убить беззащитных. Дон Родриго обнажите шпагу. Мы встретимся один на один.

РОДРИГО. Никогда! Маркиз Фебреро не скрещивает шпаги с разбойником!

КЛАРА. Убей его!

(Дверь трещит)

АЛОНСО. В последний раз! Обнажите шпагу!

РОДРИГО. Нет!

КЛАРА. Убей его!

АЛОНСО. Открой!

(Клара открывает дверь. Сцена наполняется народом)

РОДРИГО *(спокойно отходя в угол)* Какая смерть! За час до престола!

ЖЕНЩИНА ИЗ ТОЛПЫ. Вот он! Вот он, наш обожаемый канцлер!

ТОЛПА. *(Ревет)*

ЖЕНЩИНА. Наш властелин! Мы пришли за тобой! О, бессмертный! Будь нашим герцогом! Бей нас, жги нас, мы обожаем тебя!

ТОЛПА. Смерть! Смерть! *(Бросается к Родриго. Алонсо становится перед ним)*

АЛОНСО. Стой! Вы забыли, что убийство не должно быть.

ТОЛПА. Смерть! Бей! Смерть!

КЛАРА. Убей его!

АЛОНСО. Клянусь, что беззащитный не будет убит, пока жив я! Дон Родриго! Еще раз!

РОДРИГО *(спокойно вынимает шпагу и ломает ее о колено)*.

ТОЛПА. Убить! Смерть! Убить! Смерть!

АЛОНСО. Вы убьете сперва меня.

ЖЕНЩИНА. Да, что там смотреть? Бей!

ВСЕ. Бей! Бей!

КЛАРА. Алонсо! Смотри! Они убьют тебя. Ты потеряешь власть над толпой. Убей его!

ТОЛПА. *(Ревет)*

РОДРИГО. Ну что, каменотес, ты, кажется, клялся, что не убиваешь беззащитных? Ты сомневаешься?

ТОЛПА. Смерть! Смерть! *(Надвигается)*

АЛОНСО. Помните наш клич: «Нет законов, кроме законов чести!» Уйдите!

РОДРИГО. Честь? Разве у воров есть честь?

КЛАРА. Мой принц, решай!

ТОЛПА. *(Ревет)*

РОДРИГО. Послушайся потаскушки, вор!

АЛОНСО. Бейте!

РОДРИГО. Каменотес!

(Толпа опрокидывает Родриго)

(ЗАНАВЕС)

А н т р а к т V-й

(Левая и правая сцены открыты одновременно. Темно. Факелы. Толпы народу бегут взад и вперед. Крики и завывания).

ТОЛПА. Долой! Смерть! Долой! Бей! Нет законов! Долой! Нет законов! Смерть герцогу! Долой! Бей! Смерть! Долой! Ура! Ура! Долой! Ура!

(Толпы на обеих сценах соединяются, сбегаются, разбегаются. Слева крик за сценой: «Алонсо! Алонсо!» Крик разливается по всей толпе)

ТОЛПА. Да здравствует Алонсо! Алонсо Энрикес! Наш вождь! Да здравствует Алонсо! Алонсо! Консул! Наш консул! Консул! Консул!

(Толпа вносит Алонсо на руках)

АЛОНСО. Друзья!

ТОЛПА. Тише! тише! Да здравствует наш вождь! Алонсо Энрикес! Тише! Алонсо! Тише! Тише! Тише!

АЛОНСО. Друзья!

ТОЛПА. Т — с — с...

АЛОНСО. Друзья! Великий день настал!

ТОЛПА. Ура! Ура! Да здравствует Алонсо! Тише! Наш консул! Тише! Тише!

АЛОНСО. Тиран свергнут!

ТОЛПА. Долой! Долой!

АЛОНСО. Наш злейший враг, Родриго — убит!

ТОЛПА. Ура! Ура! Бей! Тише! Алонсо! Тише!

АЛОНСО. Герцог арестован!

ТОЛПА *(то же)*

АЛОНСО. Сюда в наших руках!

ТОЛПА *(то же)*

АЛОНСО. Слушай же меня, свободный народ! Я, Алонсо Энрикес, говорю тебе.

ТОЛПА. Алонсо! Алонсо! Алонсо! Консул! Тише! Алонсо!

АЛОНСО. С сегодняшнего дня не будет больше господ и слуг, тиранов и рабов!

ТОЛПА. *(Ревет)*

АЛОНСО. Не будет законов, кроме законов чести!

ТОЛПА. *(Ревет)*

АЛОНСО. Каждый сам себе герцог, и нет над нами власти.

ТОЛПА. Алонсо! Наш консул! Консул! Консул! Консул!

АЛОНСО. Не надо консулов! Не надо вождей! Нет вождей над нами!

ТОЛПА. Долой консулов! Не надо! Консул! Да здравствует Алонсо! Консул! Консул!

АЛОНСО. Друзья! Берите все, что принадлежит тиранам. Оно ваше.

ТОЛПА. *(Ревет)*

АЛОНСО. Но не надо убийств! Довольно крови! Арестуйте, но не убивайте! Отнимайте, но не грабьте.

ТОЛПА. *(Молчит)*

АЛОНСО. Пусть закон чести будет для вас единственным законом. Не крадите и не убивайте там, где не нужно этого.

ТОЛПА. *(Ропщет)*

АЛОНСО. Друзья! Уж скоро утро! Мы выиграли сражение. Расходитесь по домам!

ТОЛПА. *(Ропищет)*

АЛОНСО. Я, Алонсо Эприкэс, ваш первый консул, приказываю вам!

ТОЛПА. Мы не хотим! Алонсо! Долой Алонсо! Не надо консулов! Да здравствует Алонсо! Алонсо! Консул! Долой консулов!

(Ропот растет)

АЛОНСО. Друзья!

ТОЛПА. Тише! Тише! Алонсо! Не нужно консулов! Не надо законов! Долой! Долой!

АЛОНСО. Друзья! Будь по вашему! Сегодняшняя ночь — ночь веселая! Идем и откроем все погреба! Все на улицу! Пусть все веселятся!

ТОЛПА. Ура! Ура! Да здравствует Алонсо, консул! Наш консул! Герцог! Наш герцог! Пей! Смерть! Бей! Пей! Алонсо! Консул! Да здравствует Алонсо! Пей! Нет законов! Герцогский погреб! Смерть! Бей! Вино! Нет законов!

(Толпа разбегается, унося Алонсо)

(ЗАНАВЕС)

★

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

Акт VI-ой

(Тронный зал. ФАБИО, ОРТУНЬО. Вбегает КАСТАНЬО).

КАСТАНЬО. Алонсо!

ФАБИО. Что случилось?

КАСТАНЬО. Один чорт знает, что делается на улице. Толпа только что подожгла дом Родриго и живьем жарит его детей.

ФАБИО. О!

КАСТАНЬО. Я пробовал убеждать их — какое! В доме кричат дети, а они смеются.

ФАБИО. Весь город горит!

КАСТАНЬО. И весь город пьян!

ХИНЕС *(вбегая)* Алонсо!

ВСЕ. Что? Что?

ХИНЕС. Я ничего не могу сделать с ними. Грабят казну!

ОРТУНЬО. Что делать? — Законов нет!

ФАБИО. Кроме законов чести!

ОРТУНЬО (*насмешливо*) Кроме законов чести!

ХИНЕС. Всюду убийства, крики, плач. На улицах насиляют женщин.

ОРТУНЬО. Законы чести!

ФАБИО. Мы сделали все, что могли.

ХИНЕС. Где Алонсо?

ОРТУНЬО. Алонсо — изменник!

ФАБИО. Ортуньо!

ОРТУНЬО. Кто виноват во всем? Кто первый нарушил клятву? — Алонсо! Не будет убийств, не будет крови! А кто убил Родриго? Не будет вождей! А кто стал консулом? Алонсо — изменник! Он первый нарушил закон чести!

ФАБИО. Где он?

ОРТУНЬО. Что-ж вы хотите от народа, если вождь — негодяй?

КАСТАНЬО. Где Алонсо?

ОРТУНЬО. Алонсо — клятвопреступник! Я говорю это, я, который первый принял его сторону! Вы сомневались — я поверил. Глупец! Я думал, что он честный человек! Законы чести! Суток не прошло, — что случилось с нашей клятвой?

ХИНЕС. Где Алонсо?

АЛОНСО (*входит*) В чем дело? (*Все бросаются к нему, кроме Ортуньо*)

ФАБИО. Алонсо! Город горит!

ХИНЕС. Повсюду грабежи.

КАСТАНЬО. Все пьяны!

ФАБИО. Насилия!

КАСТАНЬО. Убийства!

ХИНЕС. Казна разграблена!

ФАБИО. Море крови!

АЛОНСО. Прекрасно!

ФАБИО. Что прекрасно?

АЛОНСО. Я люблюсь вами. Прекрасно, друзья мои! (*наступая на них*) Зачем вы явились сюда? Зачем? Или я слеп и глух, что не вижу пожаров, и не слышу криков? Что вы тут делаете, когда ваше место на улице, в толпе, в огне, среди убийств? Сбежались, как младенцы к няньке, и хватаются за юбку. Прочь! На улицу! Тушите пожары, останавливайте грабежи, спасайте беззащитных! Смотрите, что стало с восстанием! Кровь, кровь и кровь! А кто виноват? Вы! Вы начали мятеж, а теперь его бросаете!

(*Разбойники мнутя*)

АЛОНСО. Ну! Что же вы стоите?

ХИНЕС. Не мы первые убили.

КАСТАНЬО. Мы не виноваты.

ФАБИО. Мы круглые сутки на улице!

ХИНЕС. Мы устали!

АЛОНСО. Устали? Кто смеет говорить в такой день об усталости? Прочь, негодяи! На улицу! Вы мне клялись! Ну!

(*Все расходятся. Остается Ортуньо*)

АЛОНСО. Ты что здесь?

ОРТУНЬО. Я не пойду.

АЛОНСО. Почему?

ОРТУНЬО. Я не пойду участвовать в бесчестии

АЛОНСО. Иди!

ОРТУНЬО. Нет!

АЛОНСО. Ты клялся повиноваться мне!

ОРТУНЬО. А кто клялся, что не будет убийств, и кто убил Родриго?

АЛОНСО. Вы убили...

ОРТУНЬО. Ложь! Ты виноват! ты один! Ты оплевал закон чети!

АЛОНСО. Лжешь!

ОРТУНЬО. Мы весь день и всю ночь бегали по улицам, а ты прохаживался во дворце и выбирал одежды. Ты негодяй!

АЛОНСО. Ортуньо!

ОРТУНЬО. Где Хасинта?

АЛОНСО. Почему мне знать?

ОРТУНЬО. Не притворяйся! Хасинта ушла из дому. Она пошла к тебе. Она тут. Да? Да?

АЛОНСО. А если так?

ОРТУНЬО. А если так, то я скажу тебе, что ты вор, грабитель и негодяй. Ты бесчестный человек, консул! В первый же день своей власти, когда город горит и народ гибнет, ты обесчестил жену друга. Ты вор, консул.

АЛОНСО. Дальше!

ОРТУНЬО. А дальше вот! *(Обнажает шпагу)*
Здесь, на этом месте ты ответишь мне! Защищайся!

АЛОНСО *(смеется)*

ОРТУНЬО. Защищайся!

АЛОНСО. Консул не скрещивает шпаги со сволочью!

ОРТУНЬО. Тебе же непристойно драться с разбойником? Каменотес! Защищайся, или я убью тебя, как кошку!

АЛОНСО. Эй! сюда! *(Вбегают солдаты)* Обезоружить негодяя! Он покушается на жизнь консула! *(Солдаты бросаются на Ортуньо)*

ОРТУНЬО. Стойте, собаки, если вам дорога... *(Дерутся, солдаты обезоруживают Ортуньо.)*

ОРТУНЬО. Хасинта!

АЛОНСО. Эй! Отвести его в подвал!

ОРТУНЬО. О, негодяй! *(Его уводят)*

АЛОНСО *(один)* Не хватало, чтоб я сражался со всяким сбродом! Сброд? А разве сам ты не тот же сброд, Алонсо? Кто бы принял меня сейчас за каменотеса? Я похож на самого чистокровного принца. Алонсо Энрикес, первый консул С'юада! А я клялся, что вождей не будет. Но разве я мог отказаться, когда народ... Они бы убили меня. Все равно, я откажусь от власти. Да и сейчас власти нет, я консул только на словах. Законов нет и не будет!

(Протаживается. Останавливается перед опрокинутым тронном)

Вчера, когда мы ворвались во дворец, Филипп бросился к этому трону. Он думал, что трон спасет его. Мы опрокинули его вместе с тронном. А вы молчали, предки! И молчите сейчас. Ну да, вам все равно. Вы отсидели на троне свое время. Дайте посидеть другим... Что говорю? Другим? Никто не будет сидеть больше на троне. Пусть лежит опрокинутый.

(Пауза)

Эй, предки! герцоги! Хотите я наступлю ногой на ваш трон? Каменотес наступит на него! А хотите я сяду на ваш трон? *(Подымает трон)* Уж раз я сидел на нем, и ничего... молния не убила *(сидится)* Приятно сидеть на троне. Если-б только я захотел, я бы всю жизнь сидел здесь. *(Смеется)* Хорошо быть герцогом, делать добро и зло, что хочешь. Сделать нищую графиней, и графиню — нищей. Быть вне закона. Можно сделать столько добра и... столько зла. Идти по улице и видеть, как все на тебя смотрят. Если-б только я захотел... Кто помешает мне? Уж не вы ли, предки? Или народ?

Народ — стадо. Их надо бы в клетку... И я — укротитель. Укротитель зверей... Жутко, но хорошо быть укротителем... *(Обрывает себя)* Что я болтаю?... Я где-то слышал уже это... Кто говорил так? Не могу вспомнить...

(Соскакивает с трона)

Бог мой! Это слова Родриго. Родриго говорил так.

Ну, и что-ж из того? Чего я испугался? *(Снова садится)*. Родриго был великий человек. Он тоже хотел быть вне закона. И за это умер.

КАСТАНЬО *(вбегает)* Алонсо! *(Останавливается)* Алонсо! Ты на троне?

АЛОНСО. А, чорт! *(Встает)*

КАСТАНЬО. Кто поднял трон?

АЛОНСО. Не все ли равно? Что случилось?

КАСТАНЬО. Трон был опрокинут...

АЛОНСО. Да, что ты пристал с троном? Что случилось?

КАСТАНЬО. Толпа схватила дона Пабло и хотела его убить.

АЛОНСО. Пабло?

КАСТАНЬО. Я еле спас его! Я говорил, что Пабло с нами, что он помог нам, но меня не слушали. С трудом согласились отвести его в тюрьму.

АЛОНСО. Где он?

КАСТАНЬО. Он сидит в башне, и они сторожат его.

АЛОНСО. Я совсем забыл про Пабло... Где Инеса?

КАСТАНЬО. Она здесь во дворце. Мы прятали ее.

АЛОНСО. Немедленно возьми отряд и отправляйся за Пабло... Нет постой... Инеса... Приведи мне сперва Инесу.

КАСТАНЬО. Слушаю-сь, светлейший герцог!

АЛОНСО. Ты что, спятил?

КАСТАНЬО. А как же иначе прикажите обращаться к вашему бархатному камзолу на золотом троне?

АЛОНСО. Болван! Делай, что тебе говорят.

КАСТАНЬО. *(Уходя про себя)* Прыток ты стал на приказанья. Вчера еще говорил другим голосом. *(Уходит)*

АЛОНСО. В самом деле, это становится невыносимым. Я начинаю играть настоящего герцога. Я сам не узнаю себя. Я целый день ни разу не смеялся... Но Инеса! Инеса — красавица. На этой Инесе женился бы Родриго, если бы он был герцогом... Нет, нужно уйти из этого дома... Здесь из каждого угла дышит власть, из каждого угла смотрит корона. Прочь! Прочь! Еще немного и я задохнусь здесь.

(Входит Инеса)

ИНЕСА *(падает на колени)* Пощадите...

АЛОНСО. Принцеса! На коленях? Предо мной?

ИНЕСА. Пощадите!

АЛОНСО. Встаньте!

ИНЕСА. Не убивайте меня!

АЛОНСО. Я — вас?

ИНЕСА. Не убивайте!

АЛОНСО. Инеса, милая. Встаньте. *(Поднимает ее. В сторону)* Как хороша!

ИНЕСА. Дон Алонсо! Я уйду в монастырь. Только не убивайте меня.

АЛОНСО. Да с чего вы взяли?...

ИНЕСА. Отца схватили, связали, унесли. Я не знаю, что с ним... А меня бросили в чулан... И вдруг Кастаньо... И говорят, что Пабло арестован... И вы велели привести меня... Не убивайте меня, дон Алонсо.

АЛОНСО. О, милая! Не бойтесь! Я не трону вас. Клянусь!

ИНЕСА. О, как вы добры! *(Падает на колени)*

АЛОНСО. Да что с вами? Встаньте, успокойтесь! *(Подымает ее)*

ИНЕСА *(прижимаясь к нему)* И Пабло будет жить? да?

АЛОНСО. Да! Да!

ИНЕСА. А отец? Где отец?

АЛОНСО. Он жив.

ИНЕСА. Где они?

АЛОНСО. Они в безопасности. Я спрятал их от толпы.

ИНЕСА. Как мне благодарить вас?! А я думала... Пабло всегда говорил мне, что вы самый благородный, самый честный человек.

АЛОНСО. Инеса... Послушайте... Нет, ничего... Инеса! Вы очень любите Пабло?

ИНЕСА. О, дон Алонсо!

АЛОНСО. Боюсь...

ИНЕСА. Что? Что? скажите мне... Не скрывайте...

АЛОНСО. Я боюсь — вам придется отложить вашу свадьбу. Я не могу выпустить сейчас Пабло: его убьют. Надо подождать.

ИНЕСА. Я могу ждать... Я буду ждать... Только не убивайте его. Я не выйду за него. Пусть только будет жив... И отец...

АЛОНСО. Вам долго придется не видаться с ним.

ИНЕСА. Хоть всю жизнь. Только не убивайте. И Пабло не убивайте... И отца...

АЛОНСО. О, нежная моя! Как вы дрожите? Не бойтесь ничего. Пабло будет свободен. Сегодня же... Я обещаю вам.

ИНЕСА. О, дон Алонсо! *(Плачет у него на плече)*.

АЛОНСО. Что-ж вы плачете, дорогая? Успокойтесь. Идем сюда... *(Целует ее в голову)* Я проведу вас в эту комнату. Вы будете в безопасности. Через час Пабло будет с вами. *(Отводит ее в соседнюю комнату. Возвращается)* Как хороша! И как проста! А я хотел обмануть ее!.. Предать друга! Кастаньо! Кастаньо! Куда он пропал? Надо скорей привести Пабло. Кастаньо! А все этот проклятый трон. Здесь воздух и тот отравляет меня. Убегу, но куда? *(Подходит к окну)* Весь город горит. И это сделал я. Зачем? Чтоб все были как я — вне закона. Когда я один был вне закона, когда меня преследовали, я был счастлив. Всюду были враги, но мне было, куда бежать. А теперь некуда — все теперь вне закона. И все теперь под общим законом. Я уж больше не вне закона. Вне закона стало законом. И я раб этого закона. Но я снова могу быть вне всякого закона. Могу! Я буду над законом! Я дам толпе законы, я же буду опять свободен и счастлив. Могу! Я сделаю... И буду бесчестным человеком... Я, который клялся, что не будет герцогов... А разве я сдержал все клятвы, которые давал? Я клялся, что не будет крови и грабежей... Я не хочу думать об этом....

«Каменотес!» Крикнул он мне перед смертью. Я покажу ему, какой я каменотес. Я сделаю то, что хотел сделать он, я возвышу С'юдад, я прославлю его, но сделаю это без законов!

(Смеется) Без законов. Вот что будет без законов: пожар, убийства и кровь. И так всегда. Да, я прославлЮ СЮдад кровью и насилИем....

Ну, и пусть себе беснуются. Мне нет до них дела. Мимо...

Да, теперь легко говорить: мимо. А кто зажег пожар? — Не все ли равно. Кастаньо! Да ну же, Кастаньо!

А между тем, как легко я могу сделать! Я могу спасти народ. Клара говорила мне это. Клара! Надо идти к ней! А Инеса... Как хороша... СчастливыЙ Пабло... Кастаньо! Кастаньо!

(Молча бегаеТ по зале. ОстанаВлиВается)

Я буду герцогом. Я снова буду вне закона, и я введу законы. Я оСчаСтлиВлю народ справедлиВыми законами, и имя мое будут воспеВать в песнях. Довольно глупостей и шуток! Отныне нет во мне больше смеха! — Я — герцог.

(Подходит к окну)

Кричи, кричи, грабь, жги, убивай! Довольно побегал на свободе. Завтра утром я выйду на площадь с хлыстом в руке.

(Отходит от окна. Хочет уйти. ОстанаВлиВается)

Кастаньо! Где он, бездельник? Кастаньо!

КАСТАНЬО (входя) Чего тебе?

АЛОНСО. Где ты пропадал, негодяй? Я звал тебя сто раз. Слушай. Ты отведешь Пабло в балнию. Поставь самых верных часовых. Ты отвечаешь за него головой. Ни под каким видом не пускать к нему Инесы.

КАСТАНЬО. Но...

АЛОНСО. Не рассуждать! Дальше: ты знаешь мою жену?

КАСТАНЬО. Еще бы! Она ждет тебя не дожидется у входа во дворец. Пустишь ее?

АЛОНСО. Дурак! Сегодня ночью, чтоб ее больше не было.

КАСТАНЬО. Не понимаю.

АЛОНСО. Убить ее!

КАСТАНЬО. Алонсо!

АЛОНСО. Что?

КАСТАНЬО. Убить женщину?

АЛОНСО. Я, кажется, ясно сказал тебе? Иди и повинуйся.

КАСТАНЬО. Никогда!

АЛОНСО. Что? Ты клялся мне в верности. Нет законов, кроме законов чести! Где же твоя честь? Иди!

(Кастаньо уходит)

АЛОНСО (один) Глупец! Он еще исполняет свои клятвы. Для меня нет больше законов чести. Закон для зверей. Законы были, законов нет, но законы будут! (Уходит)

(ЗАНАВЕС)

А н т р а к т VI-ой

Левая и правая сцены одновременно

Пьяная ТОЛПА с криками и песнями.

А к т VII-ой

(Боковая комната дворца. Ночь. КЛАРА.

Бьет десять часов).

КЛАРА. Десять часов!.. Вчера в это время.. Все разыгрывается, как я предсказывала. А Алонсо все нет. Где же наш великий консул? Что? он говорит еще кра-

сивые слова? Вчера в десять часов он клялся мне, что не будет вождей, а в одиннадцать стал консулом. В десять он говорил, что не будет убийств, а в одиннадцать гулял по кровавым лужам. Что он теперь думает? Ну да, я не сомневаюсь. Он слишком умен, чтобы кричать о законах чести. Завтра я — герцогиня!

(Смеется)

Я не забыла еще того, кто крикнул мне «потаскушка!» Я помню его...

Они искали меня вчера по всему городу, чтобы убить, а Алонсо спрятал меня здесь, во дворце. Они ненавидят меня, наложницу тирана, а завтра увидят меня герцогиней. И будут молчать... Скоты...

АЛОНСО (в дверях) Клара!

КЛАРА. Мой консул!

АЛОНСО. Нет, я больше не консул. Я — герцог, Клара!

КЛАРА. (Торжественно) А! Я говорила тебе!

АЛОНСО. Зверям нужен укротитель, и я буду им. Ведь если не я, так придет другой, худший, — все равно придет. Так лучше уж я буду справедливым герцогом. Я спасу народ.

КЛАРА (в сторону) Я победила!

АЛОНСО. Я — каменотес, спасу его!

КЛАРА. Неправда! Ты — принц, Алонсо. Помнишь я сразу, с первого взгляда, сказала тебе, что ты — принц!

АЛОНСО. Пусть не говорят мне, что я бесчестный человек. Я — вне закона. Герцог должен быть вне закона. У герцога не должно быть чести. Но я... я сделаю... для блага народа. Я не таков как прежние герцоги.

КЛАРА. Ты прав, мой дорогой. К чему сомненье?

АЛОНСО. Сейчас мой старый друг крикнул мне, что я бесчестный негодяй! Негодай — герцог!

КЛАРА (в сторону) А потаскушка — герцогиня!

АЛОНСО. Но ведь я это для блага народа. Правда? правда?

КЛАРА. Успокойся...

АЛОНСО. Я спокоен, я совершенно спокоен! Я знаю, что нарушил клятву. Но я не мог иначе. Не мог.

КЛАРА. Конечно.

АЛОНСО. Я убил друга, я убил жену, но я не мог иначе...

КЛАРА. Ты убил жену?

АЛОНСО. Да, убил! И не раскаиваюсь. Эта женщина мешала мне. Что делать, если женщина мешает спасению государства? всю жизнь я отделялся от нее шутками, но теперь время шуток прошло. Я больше не смеюсь. Я не буду больше смеяться. Герцог не должен смеяться. О, Клара! Теперь я свободен! Я буду королем! Я больше не каменотес. Я — герцог, я — король! Я породнюсь с державным домом. Я женюсь на Инесе!

КЛАРА. А!

АЛОНСО. Горе тому, кто напомнит мне, что я каменотес!

КЛАРА (в сторону) И горе тому, кто напомнит мне, что я — наложница.

(Спокойно к Алонсо) Мой король! а что же будет со мной?

АЛОНСО. С тобой? Да, верно... Что будет с тобой?... Клара! Я люблю тебя!

КЛАРА. Но кем буду я?

АЛОНСО. Ты? ты?.. что нужно тебе? ведь я люблю тебя! Император любит тебя!

КЛАРА *(смеясь)* Император любит тебя! Меня любили уж несколько будущих императоров... Да, ты прав. Чего ж мне еще нужно?

АЛОНСО. О, Клара! *(хочет обнять ее)*.

КЛАРА. Постой, постой! Ты ведь хотел жениться на мне!

АЛОНСО. Жениться на тебе? Клара... Ведь это... это...

КЛАРА. Это разрушит все твои планы? Да, верно! Мой император! *(Подходит к столу; что-то ищет)*

АЛОНСО. Что тебе до имени? Не все ли равно, как ты будешь зваться? Я люблю тебя. А эта маленькая Инеса... Она будет так... для украшения, императрица! *(Увлекаясь)* Я буду императором! Над всей землей... Я никогда не забуду тебя... Папа коронует меня. Папа!.. там, где Карл Великий... Ха-ха! *(Смеется)*

КЛАРА. Алонсо! Ты смеешься. Император не должен смеяться. Родриго никогда не смеялся. Помнишь кто говорил эти слова, твои слова. Помнишь?

АЛОНСО. Эти слова?..

КЛАРА. Родриго говорил их...

АЛОНСО. Родриго был прав.

КЛАРА. Мой принц! *(протягивает к нему руки)*

АЛОНСО *(обнимает ее)*

КЛАРА. Мой любимый! Помнишь, вчера... в это время меня хотел обнять Родриго.

АЛОНСО. Что ты все вспоминаешь о Родриго?

КЛАРА. Он не захотел жениться на мне. А ведь он мог бы сегодня быть герцогом.

АЛОНСО. Он умер за это.

КЛАРА *(поражая его кинжалом в грудь)* И ты умрешь за это!

АЛОНСО. О! *(падает)*

КЛАРА. Что мой герцог, мой король, мой император? Вы согласитесь теперь сделать меня своей женой? Умри, как собака. Собака и есть. Я думала, ты принц, а ты каменотес!

АЛОНСО. О!

КЛАРА. Ты хотел быть вне закона. Умри же по закону! *(Поражает его вторично)*

(ЗАНАВЕС)

1920 г.

Николай Чуковский

КОЗЛЕНОК

Наконец опустилось солнце,
И оранжевыми стали нивы,
И смотреть на огненные сосны
Нестерпимо человеческому взору.
На крыльцо выходит крестьянка,
Вся объята пламенем буйным,
По ступенькам идет сановито
И торжественно смотрит на небо.
Но, гляди, и сосны потемнели,
И поля над черной рекою
Синим колыхаются дымом,
Только облака еще пылают.
Я стоять не могу, я знаю,
Что настало счастливое время,
И надо идти на свиданье

Засыпают быки на соломе.
И встают бычки молодые,
Бьют себя хвостами по бедрам,
Широко раздувают ноздри
И подходят к сонным коровам.

Я беру тяжелую палку,
Прохожу лесок над оврагом
И иду меж берез высоких
По синим вечерним нивам.

Ой, березыньки, вы, березы!

Крепкий запах стоит над полем,
Проезжают возы с навозом,
Освещают цыгарки лица,
Все мне кланяются поочередно
И безмолвно проходят мимо.

Ой, березыньки, вы, березы!

Вот кирпичные ворота парка,
Я иду по дубовой аллее,
Что зовется «аллеей Признаний».
Если ты присмотришься лучше,
Ты во мраке увидишь пары,
Они прячутся за дубами
И глядят на тебя тревожно.
Но я потупляю взоры
И скромно смотрю на землю.
Никогда не мешай влюбленным,
Пусть целуются под воротами,
За забором, за твоей спиной,
Лучше сам поищи подругу.
Наконец я пришел в селенье.

Как здесь утром бывает шумно!
 Мельница паровая
 Целый день стучит без перерыва
 И погромыхивает молотилка.
 По дороге возы проезжают,
 Полон воздух мучною пылью,
 Ходят люди в белых одеждах
 И усы у них белые тоже.
 Но сейчас все тихо.

Над домами,

Как новое светило неба,
 Крест горит между звезд и веток
 Стороной, обращенной на запад.
 На дворе она меня встречает
 В широкой братниной куртке,
 Стоит и смотрит на дорогу.
 «Здравствуй, — говорит она, — Коля,
 А я вышла ловить козленка,
 Никак его в хлев не загонишь». —
 И глаза к земле опускает.
 И что вышла она навстречу,
 Никогда она мне не скажет,
 Таковы уж девичьи нравы.

Но, действительно, есть козленок.
 Неуклюжий, с длинными ногами,
 Он забился далеко в угол
 И глядит на меня безучастно.

Если ты пойдешь к нему слева —
 Он направо через корыто,
 Если ты подойдешь к нему справа —
 Он налево через крылечко.
 Но теперь врагов у него двое,
 Мы с обеих сторон подходим.
 Вот он тихо идет вдоль стенок,
 Еле ножками перебирает
 И кивает в такт головою.
 Я совсем уж над ним нагнулся,
 Но он вздернул неожиданно задом,
 Обдал пылью меня и сором
 И под самой моей рукою
 Проскользнул и помчался в поле.
 По роще скачет козленок,
 Мнет копытом сухую бруснику,
 Белым пухом мелькает в ложбине,
 По холмам, по кустам, по дорогам,
 Перепрыгивает канавы,
 Переваливается через заборы.
 Он бежит большими кругами,
 Я ему на перерез, и почти что
 Наскакиваю на него с разбега,
 Но он поворачивает направо
 И я пролетаю мимо.

Встает луна из за леса,
 По полям шатаются тени,

И как снегом покрыты деревья
 Ее изумительным светом.
 Все поэты любят ее равно,
 Но по разному ее называют.
 Тот зовет медведицей огромной,
 Что шатается по синим крышам,
 Тот зовет ее пятиалтынным,
 Вдавленным в небесные своды.
 Но мне кажется, луна над нами —
 Мудрый глаз, управляющий миром.
 Если он устает немного
 Опускается большое веко,
 Только серп блестит из под века
 Над ночною нашей землею.
 Но лишь только он замечает
 Пушки, скрытые за холмами, —
 Корабли, заблудившиеся в море,
 Или нас, счастливых влюбленных,
 Бегущих за белым козленком, —
 Подымает он тяжелое веко
 И глядит, глядит неустанно.

Не поймать мне белого козленка,
 И мы с нею садимся рядом.
 Старый дом склонился над нами,
 И осколки выбитых стекол
 Лунным поблескивают светом.
 Дрожат голубые звезды,

И огромные лунные духи
 Машут крыльями над землею,
 Воспевают сотворенье мира.
 И горошиною земля взлетает
 В золотое небесное сито.
 Не минуты проходят, не годы,
 А столетья и тысячелетья.

И вдруг снова, смотрю, козленок.
 Подошел он и мягкой мордой
 Тычет меня в колени.
 «До свиданья» — говорю я тихо,
 И она отвечает: — «До завтра».
 И уходит с белым козленком.

Теплый ветер дует с востока
 И я чувствую над собою
 Колыханье незримых дубов.

Нина Берберова



Земные дороги
Тебя приведут
В высокий и ясный
Небесный уют.

Не верь этой яме,
И доскам не верь:
Иная раскрыта
Прекрасная дверь.

О ней ни художник,
Ни ветхий пророк
Безумною жадой
Разведать не мог.

Я их не мудрее
На Божьей земле,
И тоже тоскую,
И тоже во мгле.

Но вырытой яме,
Косому кресту
Поверить душе моей
Невмоготу.

Нина Берберова

★

Хозяин клонит липовую ветку
В широкошумном солнечном саду
И вешает раскрашенную клетку, —
Я, птица, что-ж? я песню заведу.

Вот жук летит, стрекозы расцветают,
Пчела басит, мохната и кругла,
И ястребы беспечно упадают
На ближний двор, раскинув два крыла.

Поет, поет обманутая птичка
В необозримом вражеском саду.
О рабская, о сладкая привычка
Высвистывать веселую беду!

Нина Берберова

★

Небо розово,
Земля голуба,
В окне морозном —
Крыша, труба.

Я на яву,
Я и во сне
Так живу,
Что не скучно мне.

Нина Берберова

Б Е Р Л И Н

Унылая, ночная мгла.

Два освещенные угла

Друг другу сквозь туман сырой
Бросают свет по мостовой.

Летает одинокий снег.

Стоит продрогший человек

Под фонарем, на том углу,

И прижимается к стеклу.

А там, в просторной глубине,

В тепле, покое и огне,

Раздвинувшись в неверный ряд,

Полураздетыя стоят.

Течет тягучий аромат

В осенний уличный разлад,

Н. Берберова

137

И от лоскутьев кружевных,

От плеч и бедер восковых,

От синних, неподвижных глаз

Так сладко в этот поздний час.

Там, у огромного окна,

Сутулится его спина.

Глаза прикрытые мутны,

В карманах руки сведены, —

А белорозовыя, в тьму

Все улыбаются ему.

Виктор Шкловский

ЧЕТЫРЕ ПИСЬМА

из книги

З о о

или

ПИСЬМА НЕ О ЛЮБВИ

В этой книге человек из России влюбляется в полуиностранку. Она запрещает ему писать о любви. Тогда он начинает писать о русской литературе, о русской революционной культуре, о русских в Берлине. Книга кончается ссорой. Посвящена она Эльзе Трноле и выйдет в издании «Геликон».

Эти письма печатаются с разрешения издательства «Геликон».

★

П И С ь м о

о холоде, предательстве Петра, о Велимире Хлебникове и его гибели, о надписи на его кресте. Здесь же говорится о любви Хлебникова, о жестокости нелюбящих, о звездах, о чаше и о всей человеческой культуре, построенной на пути к любви.

Я не буду писать о любви, я буду писать только о погоде.

Погода сегодня в Берлине хорошая.

Синее небо и солнце выше домов. Солнце смотрит прямо в пансион Марцан в комнату Айхенвальда.

Я живу в другой стороне квартиры.

Но хорошо и свежо.

Снега в Берлине в этом году почти не было.

Сегодня 5 февраля. Все не о любви.

Хожу в осеннем пальто, а если бы настал мороз, то пришлось бы назвать это пальто зимним.

Не люблю мороза и даже холода.

Из-за холода отрекся апостол Петр от Христа. Ночь была свежая, и он подходил к костру, а у костра было общественное мнение, слуги спрашивали Петра о Христе, а Петр отрекался.

Пел петух.

Холода в Палестине небольшие, небось теплее, чем в Берлине.

Если бы та ночь была теплая, Петр остался бы во тьме, петух пел бы даром, как все петухи, а в Евангелии не было бы иронии.

Хорошо, что Христос не был распят в России; климат у нас континентальный, морозы с бураном, толпами при-

шли бы ученики Христа к кострам на перекрестках и стали бы в очередь, чтобы отречься.

Прости меня, Велемир Хлебников, за то, что я греюсь у чужих огней.

Климат, — учитель, у нас континентальный.

Лисицы имеют свои норы, арестанту дают койку, пожар ночует в ножнах, ты же не имел, куда преклонить свою голову.

В утопии, которую ты написал для журнала «Взял», есть среди прочих фантазий одна — каждый человек имеет право на комнату в любом городе.

Правда, в утопии сказано, что человек должен иметь стеклянную комнату, но думаю, что Велемир согласился бы и на простую.

Умер Хлебников, — какой-то пыльный человек в «Литературных Записках» вялым языком сказал что-то о «неудачнике».

На кладбище, на могильном кресте написал художник Митурич «Велемир Хлебников — председатель земного шара».

Вот и нашлось помещение для странника, не стеклянное, правда.

Вряд ли ты захотел бы воскреснуть, чтобы снова скитаться.

Трудно тебе было ходить по стенам, и то служить солдатом, то сторожить ночью склады, то полу пленником в Харькове участвовать в шумном выступлении имажинистов.

Прости нас за себя и за других, которых мы убьем.

За то, что мы греемся у чужих костров.

Государство не отвечает за гибель людей, оно не понимало при Христе по арабийски и никогда не понимает

по человечески. Римские солдаты, которые пробивали руки Христа, виновны не больше, чем гвозди.

А все-таки очень больно.

Прежде думалось, что Хлебников сам не замечает, как он живет, что рукава рубашки разорваны до плеч, решетка кровати не покрыта тюфяком, что рукописи, которыми он набивает наволочку, потеряны. Но перед смертью Хлебников писал о своих рукописях.

Умирал он ужасно. От заражения крови.

Кровать его обставили цветами.

По близости не было доктора, была только женщина-врач, но женщину он не допустил к себе.

Дело было в Куоккала.

Уже осенью, когда ночи темны.

Зимой встречал я Хлебникова в доме одного архитектора.

Дом богатый, мебель из корельской березы, хозяин белый, с черной бородой и умный. У него дочки.

Сюда ходил Хлебников. Хозяин читал его и понимал. Хлебников похож был на птицу, большую, больную и недовольную тем, что на нее смотрят.

Такой птицей сидел он с спущенными крыльями, в старом скюртуке и смотрел на дочь хозяина.

Он приносил ей цветы.

Приносил и читал ей свои вещи.

Отрекался от них всех, кроме «Девятого Бога».

Спрашивал ее, как писать.

Дело было в Куоккала, осенью. Хлебников жил там рядом с Кульбиным и Иваном Пуни.

Я приехал туда, разыскал Хлебникова и сказал ему, что девушка вышла замуж за архитектора, помощника отца.

Так просто.

В такую беду попадают многие. Жизнь прилажена хорошо, как несессер, но мы все не можем найти в нем свое место. Жизнь примеривает нас друг к другу и смеется, когда мы тянемся к тому, что нас не любит.

Все это просто, как почтовые марки.

Волны в заливе были тоже простые, куоккаловские. Они и сейчас такие. Волны были, как ребристое железо. Облака шерстяные. Хлебников мне сказал: «Вы знаете, что нанесли мне рану».

Знал.

«Скажите, что им нужно? Что нужно женщинам от нас? Что они ценят? Я сделал бы все. Может быть, нужна слава».

Море было простое. В дачах спали люди.

Что я мог ответить на это моление о чаше?

Пейте, друзья, пейте, великие и малые, горькую чашу любви.

Здесь никому ничего не надо. Вход только по контрмаркам.

И быть жестоким легко, нужно только не любить. Любовь тоже не понимает, ни по арабийски, ни по русски. Она, как гвозди, которые пробивают.

Оленю полезны в борьбе его рога, соловей поет не даром, но наши книги нам не пригодятся. Обида не излечима.

А нам остаются желтые стены домов, освещенные солнцем, картины, и вся нами, по пути к любви, построенная человеческая культура.

И завет быть легким.

А если очень больно, переведи все в космический масштаб, возьми сердце в зубы, пиши книгу.

Но где та, которая любила меня?

Я вижу ее во сне и беру за руки и называю именем Люси синеглазым капитаном моей жизни и падаю в обмороке к ее ногам и выпадаю из сна.

О разлука, о тело ломимое, кровь проливаемая!

★

П И С Ь М О

о русском Берлине, о неизбежности и предсказанности развязки. В ожидании ее корреспондент пишет сперва о Гамбурге, потом о сереньком в полоску Дрездене и, наконец, о городе готовых домов — Берлине. Дальше речь идет о кольцах, через которые продеты все мысли автора, о ночном пути его под двенадцатью железными мостами и о встрече. И еще о том, что слова бесполезны.

Совершенно спутался, Аля. Видишь ли, в чем дело: я, одновременно с письмом к тебе, пишу книгу. И то, что в книге, и то, что в жизни, спуталось совершенно. Помнишь, я писал тебе про Андрея Белого и про метод? В любви есть свои методы, своя логика ходов, без меня и без нас установленная. Я произнес слово любви и пустил дело в ход. Началась игра. Где любовь, где книга, — я уже не знаю. Игра развивается. На третьем или четвертом печатном листе я получу свои шах и мат. И, кажется, тогда потечет настоящая кровь. Начало уже сыграно. Никто не может изменить развязки.

Трагические концы, минимум разбитое сердце, переказы романа в письмах.

А пока расскажу только себе, о месте, где происходит действие.

Берлин трудно описать.

Если описывать Гамбург, то можно сказать, что-то о чайках над каналами, о магазинах, о домах, наклонившихся над каналами, о всем, что принято рисовать.

Когда въезжаем в свободный порт города Гамбурга, то раздвигаются шлюзы, как занавес.

Театральный эффект. Громадное водяное поле, клапняющиеся подъемные краны, черные черпаки, набирающие из пароходов уголь. Челюсти у них, как у крокодила. Высокие, вышиной в выстрел из «Ногана», решетчатые подъемники портального типа. Пловучие элеваторы, которые могут высосать за день до 35.000 пудов зерна.

Подплыть к такому сосуну и сказать: «Дорогой товарищ, высоси из меня, пожалуйста, 35.000 любовных чертей, которые завелись в душе».

Или попросить самый большой кран, чтобы он поднял меня за шиворот и показал запруженную шлюзами Эльбу, много железа, пароходы, перед которыми автомобили — только блохи. И что бы сказал мне паровой кран:

«Смотри, сентиментальный щенок, на железо, поднятое дыбом. Не хорошо ныть и плакать, а если не можешь жить, то всунь свою голову в железный угольный черпак, чтобы ее откусило».

Правильно.

Гамбург описать можно.

Если описывать Дрезден, то, конечно, работы будет больше.

Но есть выход, к которому часто прибегают в новой русской литературе.

Возьмем какую-нибудь деталь Дрездена, например, то, что автомобили в нем чистенькие и обиты внутри серой материей в полоску.

Дальше все так просто, как для тебя просто откусить человеку голову, а для подъемного крана поднять одну тонну.

Крысам также просто разносить чуму.

Нужно уверять, что Дрезден весь серенький в полоску, и Эльба полоска на сереньком, и дома серенькие, и Сикстинская Мадонна серенькая в полоску. Вряд ли это будет правильно, но зато убедительно и очень хорошего тона.

Серенького в полоску.

Но трудно описать Берлин. Его не ухватишь. Русские живут, как известно, в Берлине вокрук Зоо.

Известность этого факта нерадостна.

Во время войны говорили: как известно, немцы весной обыкновенно наступают. Как будто немцы наступают, как весна.

Русские ходят в Берлине вокруг Гедехтнис Кирхе, как мухи летают вокруг люстры. И как на люстре висит бумажный шарик для мух, так на этой кирхе прикреплен над крестом странный колючий орех.

Улицы, видные с высоты этого ореха, широкие. Дома одинаковы, как чемоданы. По улицам ходят дамы в котиковых пальто и в тяжелых кожаных ботах.

По улицам ходят спекулянты в шерпавых пальто, а русские профессора попарно, заложив руки с зонтиком за спину. Трамваев много, но ездить на них по городу незначем, так как весь город одинаков. Дворцы из магазина готовых дворцов.

Памятники, как сервизы.

Мы никуда не ездим, живем кучей среди немцев, как озеро среди берегов.

Зимы нет.

Снег выпадает и тает.

В сырости и в поражении ржавеет железная Германия и ржавчиной срастаемся, ржавая в ней нежелезные — мы.

На Клейстштрассе против дома, где живет Иван Пуни, стоит дом, где живет Елена Феррари.

У нее лицо фарфоровое, ресницы большие, и оттягивают веки.

Она может хлопать ими, как дверцами несгораемых шкафов.

Между этими двумя знаменитыми домами вылетает унтергруд, из-под земли и с воём влезает на помост.

Поезд бежит из вокзала на Виттенберг-плац, похожего на большую кротовую нору, взывая, как тяжелый снаряд, на под'ем Ноллендорф-плаца.

Дальше поезд проскакивает за красной кирпичой, а кирпичи так похожи в Берлине друг на друга, что мы их различаем только по улицам, на которых они стоят.

Проскакивает поезд за красной кирпичой через пролом в доме, как через триумфальную арку.

Дальше идет форум всех берлинских поездов Глейсдрейк.

Для русских, живущих среди немцев, как среди берегов, Глейсдрейк — пересадка.

Отсюда поезд бежит на Лейпцигер-плац и на другие площади, где нищие продают спички, и спокойно лежат покрытые попонками собаки-поводыри слепых.

Всхлипывают шарманки, они не играют ни романса, ни марша, они просто стонут.

Это механический стон Берлина.

Если не поехать на площади, а выйти из пустых ворот вокзала Глейсдрейка, то не увидишь ни немцев, ни негров, ни шиберов.

Кругом по крышам длинных желтых зданий идут пути, идут по земле, по высоким железным помостам, и пересекают железные помосты, проходя по другим помостам, еще более высоким.

Тысячи огней фонарей, стрелок, железные шары на трех ногах, семафоры, кругом семафоры.

Тоска, и любовь, любовь от разлуки и № 164 завели меня сюда. Я долго ходил по мостикам над путями, которые перекрещиваются здесь, как перекрещиваются нити шали проводимой через кольцо.

Это кольцо — Берлин.

Это кольцо — для моих мыслей твоё имя.

Я возвращался часто ночью от тебя и проходил под двенадцатью железными мостами.

Идешь, поешь. Думаешь, почему к железному сердцу Германии — Глейсдрейк — и к железным воротам Гамбурга, жизнь дает только готовые вещи, дома, как чемоданы.

Трамваи, на которых некуда ехать.

Иду, возвращаясь.

Итти далеко. На углу Потсдамер-штрассе каждую ночь вижу все одну и ту же проститутку в красной шляпе.

Она напевает что-то, увидя меня, потом говорит на непонятном мне языке.

Иду мимо: мне далеко.

Что делать, товарищ в красной шляпе?

На свете много разных зверей, и все они по своему славят и хулят Бога.

Ты ныряешь на дно моря без слова и выносишь со дна моря один песок, текучий, как грязь.

А я имею много слов, имею силу, но та, которой я говорю все слова, — иностранка.

★

ПИСЬМО

о маске, аккумуляторных моторах, длине капота мотора Испана Суиза, вообще о двигателях внутреннего сгорания и о том, что автомобиль Испана Суиза носил бы кольца в ушах, если бы был человеком. Как автомобилист, скажу: письмо наполнено титой яростью.

Сегодня проснулся среди ночи. Разбудила меня непонятность предмета, находящегося в моих руках. Предмет оказался черной бумажной маской, а я сам — посредине комнаты.

Очевидно, мне хорошо было бы поехать в санаторию.

О любви же говорить мне вредно.

Поговорим об автомобилях.

Грустно ездить на такси.

Самое грустное — ехать в электрическом моторе. У него не бьется сердце, он заряжен, наполнен тяжелыми аккумуляторами, но разрядятся пластины, и он станет. Много машин завел я на своем веку, иногда они сами ударили меня обратным ударом, много людей поднял на работу.

Иногда и в Берлине хочется завести мотор, с которым не может справиться шоффер, раза два так делал, но на третий раз ошибся самым обидным образом.

Подшел заводить, а мотор электрический. У него радиатор поддельный, и ручки, конечно, нет. Как завести машину, у которой нет сердца и которая не заводится? А вид у нее фальшивый. Вроде пристяжной маньшкы и манжет устроен спереди капот, будто бы для мотора, а там небось пробки.

Притворяются двигателями внутреннего сгорания, ди-намы же — машины у них.

Бедная русская эмиграция!

У нее не бьется сердце.

В Берлине невежливо говорить на улицах громко по-русски. Ведь сами немцы почти шепчут. Живи, но молчи.

Мертвым аккумуляторным автомобилем без шума и надежды слоняйся по городу. Раскручивай, затаив дыхание, то, что имел, а, раскрутив, умри.

Мы заряжены в России, а здесь только крутимся, крутимся и скоро станем. Свинцовые листы аккумуляторов обратятся в одну только тяжесть.

Кислота станет кисленькой.

Кисленькой тяжестью пахнут русские берлинские газеты.

Кисленькие и тяжелые слова я написал.

Поговорим лучше об автомобильных марках.

Тебе нравится Испана Суиза.

Напрасно. Не выдавай себя.

Ты любишь дорогие вещи и, кажется, найдешь в магазине самое дорогое, если даже спутать ночью все этикетки цен.

Испана Суиза — плохая машина. Шикарная. Честная благородная машина с верным ходом, на которой шоффер сидит боком, шеголяя своим бессилием, это — Мерседес, Бенц, Фиат, Бельвин, Паккар и очень дорогой, но серьезный Роль Рале, обладающий необыкновенно гибким ходом. У всех этих машин конструкция корпуса является строение мотора и передачи и — кроме того — рассчитана — на наименьшее сопротивление воздуха. Гонимые машины обыкновенно имеют длинные носы, высокие спереди. Это объясняется тем, что именно такая форма при большой скорости дает наименьшее сопротив-

ление среды. Ведь ты замечала, Аля, что птица летит вперед не острым хвостом, а широкой грудью.

Длина капота мотора объясняется, конечно, количеством цилиндров двигателя (4, 6, 8, редко 12), и их диаметром. Публика привычна к долгоносим машинам. Испана же Суиза машина с длинным ходом, т. е. у нее большее расстояние между нижней и верхней мертвой точкой. Это машина, очень высоко оборотная, форсированная, — так сказать, нанюхавшаяся кокаином. Ее мотор — высокий и узкий.

Это ее частное дело.

Но капот машины длинный.

Таким образом, Испана Суиза маскируется своим капотом, у нее чуть ли не аршин расстояния между радиатором и мотором. Этот аршин лжи, оставленный для снобов, этот аршин нарушения конструкции меня приводит в ярость.

Если я буду тебя ненавидеть, если я смогу спеть когданибудь:

Пропадайте же дорежки,

По которым я ходил, —

то я отправлю память о тебе не к чертям, а именно в эту пустоту, в Испана Суиза.

Твоя Испана Суиза — дорогая, но ерундовая. У нее карассери для альфонсов, с откидывающимися на бок сиденьями — вместо дверки.

У нее неприличный наклон руля, и были бы кольца в ушах, если бы она была человеком. У твоей Испана Суиза радиатор не на месте, она ходит в прицепных манжетах. Она никогда не будет любить тебя. Все это для

меня интереснее судеб русской эмиграции. Впрочем, у Испаны Суизы есть свой рекорд — на большую дистанцию при гористой местности.

★

ПИСЬМО

*о принципе относительности и немце с кольцами в ушах.
Тут же приводится сказка о мышь, превращенной в девушку.*

Разве может быть экзотичным человек, который носит кольца в ушах?

Правда только на маскарадах.

И брюки щегольские, «но слишком широкие для человека, который себя уважает». А на улице брововую шапку.

А ты тянешься к нему снизу вверх.

Что делать. Аля, через тебя узнаю я принцип относительности.

Впрочем, вот сказка.

Отшельник превратил мышь, которую он полюбил (странная любовь, но чего не сделаешь от одиночества), в девушку.

Девушка отшельника не любила. Он ревновал ее. Она ему говорила: «Так вот, какая твоя любовь» Девушка еще говорила: «Я хочу свободы, прежде всего. И лучше уходи».

Отшельник позвонил ей по телефону и сказал:

«Сегодня хороший день!»

Девушка сказала: «Я еще не оделась».

Отшельник сказал: «Я подожду. Поедем, я буду сопровождать тебя по магазинам».

Покупала девушка.

Потом вывез ее отшельник за город.

Солнце еще было в небе.

Хотя магазинов много.

Он сказал: «Хочешь быть женой солнца?»

В это время на солнце нанесло облако.

Девушка сказала: «Облако могущественней».

Отшельник был сговорчив, особенно с девушкой.

Он сказал: «Хочешь, облако будет твоим мужем?»

В этот момент ветер отогнал облако.

Девушка сказала: «Ветер могущественней».

Отшельник начал сердиться.

Телефон испортил его нервы.

Он закричал: «Я сосватаю тебе ветер»

Девушка обиженно отвечала: «Мне не нужен ветер, мне тепло и не дует. Я закрыта от ветра этой горой. Гора могущественней». Отшельник понял, что женщины в магазинах всегда долго выбирают, и девушка думает, что она в магазине. Он ответил терпеливо, как приказчик:

«Извольте гору».

Лицо девушки в это время просияло. Она стала совсем веселая.

Отшельнику показалось даже, что он счастлив.

Она показала ему пальчиком на низ горы и сказала: «Смотри».

Отшельник ничего не видел.

«Как он красив, как он могущественен, он сильнее горы, вот существо моего быта, как он одет!» «Кто же?» спросил отшельник.

«Мышенек, милый отшельник», сказала девушка, «он прогрыз гору, посмотри на его глаза». «Здорово», сказал отшельник, «этого ты на самом деле полюбишь, ну хорошо, что ты хоть не влюбилась в человека из оперетки».

И он поцеловал мышку за ее розовые ушки и отпустил ее, дав ей мышиный паспорт. С этим паспортом — кстати — прописывают во всех странах.

Проф. В. М. Алексеев
ЦАРЕВНА ЗАОБЛАЧНЫХ ПЛЮЩЕЙ

Перевод с китайского

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

Дух, бесплотное существо; алхимик-подвижник, перерожденный пилюлей бессмертия в духа — вот религиозная китайская феерия. Начиная с отдаленнейших времен теория соединения неба с землей, в виде чудесных существ, приходящих к нам оттуда, с небес, и мощно решающих вопросы нашего бытия и нашего счастья, — эта теория-мистерия занимает китайские умы, минуя тяжелый гнет рационалистического конфуцианства.

Фея живет, как царица где-то в эмпиреях, но смертный, пробравшийся туда чудесными путями, видит только то, чего могут вожелеть его земные очи: дворцы, хоромы, диковинные деревья с диковинными фруктами и т. п. Фея любит мудрую игру шахмат, вино-нектар; любит порхать в вечернем свете, и смертный художник рисует ее наряд каллиграфически сильною, бесконечно выходящей линией.

Фея живет, как царца где-то в эмпиреях, но смертный дает ему детей, и хороших и худых. От соприкосновения с ним, она себя грязнит, но ничего поделать не может; таков рок, воля «Верховного Владыки» (Шан Ди).

Переводимая ниже повесть Пу Сунлина (1622—1715), писавшего под псевдонимом Ляо Чжай, иллюстрирует все

это читателю с красочною убедительностью, о которой не хочется его предварять лишними словами.

Повесть эта переводится на русский язык и, насколько известно сейчас, на западные языки вообще впервые. Переводчик, конечно, для литературного журнала должен был бы дать более литературный, нежели точный перевод, но, как филолог, он от этого воздержался, и, потому, ему пришлось считаться с неизбежным в таких случаях злом — примечаниями. Русский читатель да будет утешен, узнав, что и китайский подлинник, написанный литературным, неслышимым для уха языком точно также снабжен примечаниями.

Картинка, воспроизводимая с литографированного издания сборника Ляо Чжая (Ляо Чжай чжин) 1886 г. дает читателю возможность видеть вещи излагаемые по русски, китайскими.

Если переводчик, по условиям времени и пространства, лишен возможности читать корректуры сам, то за погрешности в номенклатуре и, не дай Бог, в чем еще прочем, он слагает с себя ответственность.

В. А.

ЦАРЕВНА ЗАОБЛАЧНЫХ ПЛЮЩЕЙ

Ань Дае происходил из Лулуна. Он мог говорить сейчас - же, как только родился. Мать дала ему попить собачьей крови, тогда только он перестал.

Затем он вырос и стал тонким, изящным юношей. Второго такого не было, и он, как говорится, «на свою тень только и смотрел»¹⁾. Ко всему этому он был малый смывленный, умел читать и знать важное²⁾, за него прощали своих дочерей все самые видные, старинные семьи.

Однажды его мать видела во сне, как кто-то ей сказал: «Твоему сыну судьба почтить *) царевну». Она поверила в это знамение, но сыну исполнилось уже 15 и даже 16 лет ⁴⁾, а исполнения пророчества не было. Мать Аня начала раскисаться в том, что поверила сну.

Однажды Ань сидел у себя один, как вдруг слышит запах каких-то необыкновенных духов. В тот же миг к нему вбегает красивая служанка и говорит.

«Царевна прибыла».

И сейчас-же настлала на полу длинный ковер, который начинался еще за воротами и шел к самому дивану ⁵⁾.

Студент ⁶⁾ был ошеломлен, еще ничего не понимал, как к нему уже входила девушка, прислонившись к плечу своей служанки. Красота ее наряда, сияние прекрасного лица озарили светом всю комнату.

Тотчас-же при входе служанка бросилась к дивану и постлала на нем вышитые подушки ⁷⁾, взяла опять под руку девушку и помогла ей сесть.

Ань пришел в крайнее замешательство и не знал, что ему теперь делать. Он почтительно склонился перед девушкой и сказал:

— «О фая, небожительница, откуда дают себе труд спуститься ко мне Ваши драгоценные ножки?»

Девушка улыбалась, закрывая рот рукавом своего халата.

— «Это Царевна Заоблачных Плющей — сказала прислуга, — из дворца Августейшей Царицы ⁸⁾. Августейшая царица дарит Вас, сударь, своим вниманием и хочет, чтобы царевна спустилась с высот и вышла за Вас замуж. Для этого она посылает ее лично явиться сюда и осмотреть Ваш дом».

Ань был вне себя от счастья и положительно не знал, как составить свои слова. Девушка тоже опустила голову; оба молчали.

Ань всегда любил играть в шахматы ⁹⁾, и шахматная доска постоянно была у него под рукой. Одна из служанок царевны схватила красный платок и вытерла с доски пыль, потом перенесла ее на диванный столик ¹⁰⁾.

— «Царевна целыми днями предается этому удовольствию. Интересно, кто из Вас выиграет, она или - же, как говорится, наш «розовый князек ¹¹⁾?»

Ань подсел к столику. За ним с улыбкой подсела и царевна. Не сделали и 30-ти ходов, как служанка смешала шашки ¹²⁾.

— «Царский зять проиграл» — сказала она, — и убрала шашки в коробку. — «Царский зять, очевидно, среди жителей этого мира считается великим мастером, так-что царевна может согласиться лишь на шесть шашек».

И поставила Аню шесть черных шашек. Царевна сделала то же у себя. Сидя за столом, она приказывала служанке лечь у кресла и подставить свою спину ей под ноги. Когда же ее левая нога касалась пола, то наступала очередь другой служанке лечь к ней справа, а в это время две девочки становились, по обе руки царевны и служили ей. Когда Ань погружался в раздумье, она сгибала руку и опиралась ею на плечо служанки.

Игра еще не закончилась, как маленькая служаночка сказала с улыбкой.

— «А царский зять проиграл-таки одну шашку!...»

Другая служанка подошла к царевне и доложила:

— «Царевна устала, надо-бы пока-что удалиться домой».

Царевна склонилась к ней и шепнула что-то на ухо. Служанка вышла и сейчас-же вернулась, положив на диван 1.000 серебра ¹³⁾.

— «Мне царевна говорит, — заявила она Аню, — что Ваш дом очень уж жалкий и убогий. Потрудитесь на эти деньги несколько принарядить, пристроить и украсить его. Когда все будет готово, настанет час свидания».

— «Помните, — сказала другая служанка, — что в этом месяце можно попасть под небесную кару, ¹⁴⁾ строить и возводить чего-либо не следует, а в будущем месяце будет удача».

Царевна поднялась с места, студент загородил ей путь, остановил и запер дверь. Тогда служанка достала какую-то вещь, с виду напоминавшую складной мешок, положила на пол и стала надувать. Вдруг оттуда вырвались тучи; в миг, — и все померкло, не стало видно ничего. Ань бросился искать, но царевна исчезла.

Узнав об этом происшествии, мать Аня решила, что это обольстительное, но злое навождение. У студента-же вся душа неслась куда-то ввысь. Он и во сне, и наяву только и думал, что о царевне, и отстать не мог от мечты о ней. Ему некогда было считаться с указанным запретом, и он быстрехонько покончил с постройкой. День свидания был все ближе и ближе. Дома и пристройки ¹⁵⁾ стояли уже новехонькие.

II

Незадолго перед этим рядом с Анем поселился приехавший на экзамены ¹⁶⁾ из Луаньжоу студент, некто Юань Даян. Приехал, и по соседству занес студенту свой именной листок ¹⁷⁾. Ань обычно был не очень общителен; велел сказать, что его нет дома. Потом, укараулив

момент, когда Юань куда-то ушел, он сделал ему ответный визит.

Прошло так с месяц. Как-то случилось, что оба встретились на улице. Перед Анем был юноша лет 20-ти с небольшим. Он был одет в дворцовый атлас, из которого был сделан летний халат. После был шелковый и туфли черного вороньего цвета. Он имел вид человека очень культурного и тонкого.

Ань завел с ним серьезную беседу. Новый знакомец оказался очень симпатичным, искренним. Ань сделал ручное приветствие ¹⁸⁾ и ввел его к себе. Дома он усадил его за шахматы. Выигрывал то один, то другой. Ань велел дать вина и задержал гостя, собиравшегося уже уйти. Болтали, смеялись; обоим было очень весело.

На следующий день, Юань пригласил Аня к себе. Угостил его самыми дорогими и разнообразными яствами, ухаживая за ним с особой любовью и предупредительностью. Прислуживал студентам отрок, лет 12 — 13, который звонко пел, ударяя в такт кастаньетами, прыгал, жонглировал, выделявая разные фокусы ловкости.

Ань сильно захмелел, так-что не мог идти. Юань велел мальчику отнести его на себе домой. Ань выразил опасение, что такому нежному и хрупкому созданию не совладать с ношей, но Юань настаивал. И что-же? — У отрока оказалась огромная сила. Он взвалил Аня к себе на плечо и дотащил до дому.

Студент дался диву и на следующий день подарил отроку в благодарность за услугу серебра, но перед тем, как взять, мальчик долго отказывался.

С этих пор, дружба между студентами стала особо искренней и интимной. Едва проходило три дня, как кто-нибудь из них к другому заходил.

Юань был человек сдержанный, молчаливый, но весь одушевленный лучшими порывами, которые сейчас же проводил в дело. Если он видел, что на базаре кто-либо, обремененный долгами, продает девочку, он сейчас же развязывал кошель и выкупал ее, нисколько не скупясь. За это Ань его стал особенно ценить и уважать.

III

Как-то, через несколько дней после их свидания, Юань пришел к Аню с прощальным визитом, и при расставании подарил другу палочки из слоновой кости, ¹⁹⁾ четки из сандала и другие вещи, числом до десятка, а то и больше. Дал ему также сот пять чистого, белейшего серебра, сказав, что это ему на обустройство. Ань вернул другу серебро, оставив себе только предметы и, в свою очередь, одарил его кусками шелка.

Через месяц с чем-то — случилось следующее. В дом богатого Лэтинского чиновника, только-что ушедшего с огромным состоянием в отставку, забрались ночью грабители. Они схватили хозяина дома, стали его жечь каленым железом и ограбили весь дом начисто.

Слуги в одном из грабителей опознали Юаня. Было возбуждено дело и дан приказ о его преследовании и аресте.

Сосед Аня, некий Ту, давным давно уж не выносивший его и его семьи, видел в каких размерах скопился строительный материал на дворе Аня, затаил про себя подозрение насчет происхождения всего этого и завистливое чувство.

Случилось как-то, что мальчик, слуга Аней, украл костяные палочки и продал кому-то из семьи Ту. От



него тот узнал, что палочки эти достались Аню в подарок от Юаня. Ту побежал доложить об этом главному правителю области. Правитель пришел с солдатами и окружил дом Аня со всех сторон. Как раз в это время студент со слугой куда-то ушел. Арестовали его мать и увели.

Мать была уже дряхлая, сильно в годах. От испуга в ней еле осталось дыхание; она в течение двух — трех дней, не могла ничего ни есть, ни пить. Правитель велел ее освободить.

Студент, узнав о том, что случилось с его матерью, быстро примчался домой, но мать уже серьезно занемогла и через ночь скончалась. Студент положил ее в гроб, и только — что управился, как был тотчас же схвачен полицией и уведен.

Правитель, видя, что перед ним стоит совсем еще молодой человек, очень милый и культурный, подумал, что это, пожалуй, донос и напраслина. Испугался этой мысли и прикрикнул на обвиняемого. Тот во всей точности рассказал ему историю своей дружбы с Юанем. Правитель спросил, как это он так внезапно разбогател.

— «У моей матери, видите ли, — отвечал Ань, — были накоплены слитки серебра, а так как я собирался встретить у себя молодую жену, то и стал воздвигать брачные хоромы».

Правитель поверил ему и выдал ордер на препровождение его к начальству.

IV

Сосед, зная, что за Анем теперь преступления нет, подкупил за большие деньги смотрителей, велел им убить Аня. Путь Аня шел в глубине гор. Служители приволокли Аня к отвесной скале, чтобы его столкнуть с нее.

Придумать Аню было уже нечего, опасность была на носу, приходилось очень круто... Как вдруг из чащи выскочил тигр, загрыз на смерть обоих служителей, схватил зубами студента и унес его.

Принес он его куда-то, где высились двойные башни, где тянулись друг за другом большие дома. Тигр вбежал в один из таких домов и поставил там Аня. И тот видит, к нему выходит Царевна Заоблачных Плющей, опираясь на служанку поддерживающую ее.

Она с грустным-грустным лицом принялась утешать студента:

— «Я, сударь, хотела бы тебя здесь у себя оставить, но нашей матушке, ведь, еще не нагадано последнее земное обиталище²⁰⁾. Следовательно, ты бы лучше явился самолично со своим ордером к начальству и повинился, что пришел один. Ручаюсь, что тебе никакого зла не будет».

С этими словами она сняла со студента пояс и навязала на нем узлов десять.

— «Когда явишься к управителю, — сказала она назидательно, — то ухватись за узел и развязывай. С развязыванием узла развяжется и беда».

Студент так и поступил, как она ему наказала. Явился к чиновнику и предал себя его правосудию. Правителю очень понравилась эта искренность и доверчивость, да кроме того, из бумаги с присланным ордером он узнал, что этот человек потерпел напраслину. Вычеркнул его из списка подсудимых и велел идти домой.

V

На полпути Аню встретился Юань. Сошли с коней, взялись за руки и стали рассказывать о том, что с ними

стряслось. Юань был весь в негодовании, которое так и горело на его лице. Но молчал, ни слова не проронив.

— «Ах, друг, — сказал Ань, — при твоей-то культурности и образованности, ну стоило ли так себя пачкать?»

— «Те, кого я, твой друг, убил, — отвечал Юань, — все были бессовестные люди. Все, что я забрал, было бесчестно добыто. Иначе, пусть даже бы оно валялось на дороге, я и то не подобрал-бы. То, что ты мне выговариваешь, конечно, совершенно верно, чудесно... Ну, а все-таки, людей в роде твоего соседа, разве можно оставить в живых?»

С этими словами он вскочил на коня и исчез.

Дома студент закончил похороны матери, и привел в убогий вид свою комнатку²¹⁾ и перестал принимать гостей.

Вдруг ночью к соседу явились грабители и убили самого Ту, его сыновей и прочих, человек с десять. Оставили в живых только одну служанку. Все, что было ценного, грабитель поделил с мальчиком, который был при нем, а сам перед уходом взял свечу в руки и сказал служанке.

— «На, смотри, и знай, кто я! Убийца это только я, а других это совершенно не касается».

С этими словами он, даже не открыв дверей, полетел по крышам, через стены и был таков.

На утро дали знать в управление. Чиновник решил, что студент должен кое-что знать. И вот, того опять схватили и увели.

Чиновник стал допрашивать Аня с сердитым видом и в резких выражениях. А студент, поднявшись к столу,

ухватился за пояс, и давая показания, один за другим развязывал свои узлы. Правитель ничего дознаться так и не мог, и вторично отпустил его на свободу.

VI

Вернувшись к себе, Ань еще сильнее, как говорится, стал «тупить свой свет»²²); сидел за книгой, никуда не выходя. Ему стряпала кривая старуха, и больше никого и ничего не было.

Когда закончился траур по матери²³), он принялся ежедневно подметать двор, ожидая приятных известий... И вот, однажды чудесные духи наполнили весь двор. Студент взобрался на вышку дома и увидел, что с улицы и до самых комнат все парадно убрано со сверкающей пышностью²⁴). Нерешительно поднял расписной занавес²⁵), глядь — а в комнате уже сидит царица, сняв нарядом какой-то особой, сгущенной красоты.

Бросился к ней, сделал глубокий поклон. Она взяла его за руки.

— «Ах, милый, ты, вот, не поверил судьбе; довел до того, что постройка твоя причинила тебе столько бед! А тут еще наступило это время, как говорится, соломы и бумажника, вместо постели и подушки²⁶). И на три года задержалась наша с тобой «лютя с цитрой»²⁷)! Вышло, значит, что ты поторопился, и наоборот, только замедлил дело. Всегда, всегда, это, как известно, у людей бывает»...

Студент достал деньги, собираясь устроить угощение, но царица его остановила.

— «Этого уже не требуется» — сказала она.

А служанка полезла в шкаф и достала оттуда отменно вкусных вещей, закусок, супов и прочего. И все это было

горячим, свежим, словно только что из котлов. Вино тоже было кристально чистое и вкусно пахло.

Стали пировать. Скоро солнце уже пошло на вечер. Служанки, бывшие под ногами царицы, одна за другой исчезли. Ее ленивые и нежные конечности устали, ноги то подвертывались, то снова выпрямлялись, словно ей не на чем было сидеть. Студент схватил ее в страстные и уже бесцеремонные объятия.

— «Возьми, сударь, руки пока прочь, — сказала она. — Перед тобою теперь два пути. Прошу тебя, выбирай сам». —

Студент принял к ее шее и спрашивал, что это значит.

— «А вот что: если нам с тобою быть в дружбе, за шахматами и вином, то мы можем с тобою быть вместе лет тридцать. А если ты выберешь радости брачного ложа, то нашему согласию предстоит, пожалуй, лет шесть. Что же ты выберешь, а?»

— «Ну, — сказал студент, — пусть сначала будут эти шесть лет, а там посмотрим!»

Царица молчала. И они съюзились в радости.

— «Я, видишь-ли, — сказала царица, — определенно знала, что тебе не уйти от путей грубого мира. Что же, опять, значит, судьба!»

VII

Она велела Аню завести кухарок и прислуг, поселив их всех на южном дворе²⁸), где они стряпали и пряли на продажу для поддержания хозяйства, а в это время на северном дворе не было никакого огня и дыма. Там стояли лишь на досках шахматы, вино, чарки — и больше

ничего. Дверь, ведущая в этот двор, была постоянно закрыта. Когда открывал студент, она распахивалась сама собою. Остальным же было не войти.

Тем не менее, царевна сейчас же знала, кто там на южном дворе прилежен и кто ленив. Когда было нужно, она посылала студента пожурить и наказать, кого следовало. И всякий раз все покорно сносили это, как совершенно правильное взыскание.

Она никогда не говорила лишних слов, никогда не хохотала. Если с нею говорили, она наклоняла голову и легонько посмеивалась.

Она всегда сидела с мужем, плечо к плечу, и любила на него облакачиваться. Студент поднимал ее и сажал на колени. Она была так легка, словно у него в руках был ребенок.

— «Какая — ты легонькая, милая, — говорил студент; — ты, пожалуй, станцуеть и на ладони. Помнишь, как та?» ²⁹⁾.

— «Что-ж тут трудного, — сказала она. Только я видишь, не особенно то обращаю внимание на то, что делают служанки. Ведь «Летающая Ласточка», на самом деле, не кто иной, как служанка моей девятой сестры ³⁰⁾, которую за ее взбалмошность частенько наказывали. А однажды рассердились и погнали ее вниз, к людям. Там она, к тому же еще, не соблюла своей девственности, и вот теперь ее заточили в подземные узы».

В покоях царевны все было закрыто, застлано парчой и коврами, так что зимою никогда не бывало холодно, летом — никогда жарко. Какая — бы суровая ни была зима, царевна неизменно носила легкие шали. Ань заказал ей новое платье и настаивал, чтобы она его одела. Она одевала, но, через некоторое время опять снимала.

— «Ах, знаешь, эта пыльная, грязная вещь — говорила она, — все кости мне раздавит, и буду я с сухоткой.»

VIII

Однажды, когда муж держал ее на коленях, он вдруг почувствовал, что она стала вдвое тяжелее против прежнего. Почувствовал, и выразил свое удивление. Она улыбнулась.

— «Вот здесь, — сказала она, указывая на живот, — живет мирское семя».

Через несколько дней она нахмурила брови, перестала есть.

— «Я подошла теперь к болезни, к подлой опасности... Очень хочется чего-нибудь жареного или копченого».

Студент велел приготовить ей самого вкусного и сладкого, что было, и с этих пор она стала есть и пить, уже не отличаясь от простых смертных.

— «Вот что, слушай, — сказала она однажды мужу, — у меня тело такое слабое, хрупкое, что, пожалуй, не выдержит родов. А вот служанка моя Пань Ин, наоборот, обладает крепким здоровьем; нельзя ли будет ею меня заменить!»

И с этими словами она сняла с себя исподницу, надела ее Ин, и заперла ту в спальне. Через несколько минут послышался крик ребенка. Открыли двери, смотрят — мальчик!

— «Этот мальчик, — сказала весело царевна, — имеет все признаки счастья ³¹⁾; это большой талант!»

И назвала его Дацзи ³²⁾. Спеленала, вручила мужу, веля передать кормилице на южный двор.

С тех пор, как она освободилась, талия у ней опять стала тоненькая, как была раньше, и опять она перестала есть жареное и копченое.

Вдруг, однажды, она стала со студентом прощаться, говоря, что собирается на некоторое время уехать, чтобы проведать родителей ³²⁾. Студент спросил, когда же она вернется? Сказала — через три дня. И вот, надули опять складной мех, как это было уже раз, и она стала невидима.

К сроку она не вернулась. Прошел еще год — никаких известий. Студент, потеряв всякую надежду, опять заперся у себя в доме. Опустил, что называется, «полог» ³⁴⁾ — и в конце концов получил степень уездного кандидата ³⁵⁾.

Жениться он так-таки и не пожелал, но каждую ночь проводил один на северном дворе, купаясь в аромате воспоминаний. И вот, раз ночью, когда он в бессоннице ворочался на постели с боку на бок, вдруг он видит, как в окно стрельнуло пламя свечи. Двери сами собою распахнулись, и толпа служанок ввела царевну под руки в комнату. Студент пришел в восторг... Стал спрашивать, как это она так провинилась перед ним, нарушив обещание.

— «Да, ведь, позволь, — сказала царевна, — я срока не пропускала. У нас на небесах всего прошло лишь два дня с половиной».

Теперь студент, довольный сам собою, стал хвастать и сообщил ей, как он осенью победил ³⁶⁾. Он рассчитывал, что царевна, наверное, будет очень этому рада. Но она, напротив, исполнилась томной грусти.

— «К чему эти эфемерные вещи? Им, ведь, не создать человеку ни блеска, ни срама. Ломают человеку жизнь и только... Ах, три дня, всего три дня, как мы с тобою не

видались, а ты еще на один слой ушел в земные загороди».

После этого студент уже больше не стал искать продвижения в карьере.

Прошло еще несколько месяцев. Она опять выразила желание ехать к родным. Студент принялся горько сетовать и любовно просить.

— «Ну, — сказала она, — на этот раз уйду и обязательно вернусь пораньше, нечего тебе напрятаться ожиданием. Скажу еще, что разлука и свидание с живым человеком земли имеют каждое свою отсчитанную судьбу. Окарнай се, — она станет длиннее; а дай ей течь, как надо, — будет короче».

Ушла, а через месяц уже вернулась. С этих пор раз в полтора года, она уходила и, зачастую, возвращалась лишь через несколько месяцев. Студент привык к этому порядку вещей, считая эти отлучки делом вполне нормальным и несколько не дивился.

IX

Она родила ему еще сына, подняла на руки и сказала:

— «Это гисна, это волк». И велела его сейчас же выкинуть.

Студент не мог этого допустить и остановил ее. Назвали мальчика Кэди ³⁷⁾. Как только мальчику исполнился год, она заторопилась со свадебным гаданьем ³⁸⁾. Свахи ходили пятка к пятке ³⁹⁾, но когда осведомлялись о городском невесте ⁴⁰⁾, то, по ее мнению, все как-то не сходилось.

— «Вот, видишь, — говорила она мужу, — я все хочу нашему волчонку заготовить конуру поглубже, а не удается. Придется, значит, лет на шесть, на семь, его бро-

силь... Судьба, — ничего не поделаешь. А ты вот что, хорошенько запомни, что я тебе скажу. Через четыре года в семье Хоу родится девочка. У нее на левом ребре будет небольшой нарост. Это и будет жена мальчику. Нужно будет их женить. Нечего там равняться, у кого из вас какой дом, у кого какая земля!»

И велела мужу сейчас-же записать это себе в тетрадь.

После этого она отправилась к родным и больше к мужу не вернулась.

Студент рассказал родным и знакомым о том, что от нее услышал, и, действительно, нашлись такие Хоу, у которых родилась девочка, с наростом на ребре. Хоу был человек низкий и порочный, с которым, вообще, никто себя не равнял. Но Ань решительно посватался, и дело было кончено.

Даци семнадцати лет уже получил первую степень. Он был женат на некоей Юнь. Оба супруга отличались послушанием родителю мужа и жили между собою дружно. Отец их очень любил.

Кэци подрастал. Он не любил заниматься над книгой, а все больше украдкой бегал к разным бездельникам играть в азартные игры, и всегда что-нибудь крал для расплаты с долгами. Отец, бывало, рассердится, приберет его, но исправить его так и не мог. Тогда он стал предупреждать его, грозя несчастьем, но также ничего не добился.

Однажды ночью Кэци вышел из дому поворовать и начал уже помаленьку сверлить дырку в заборе, как был застигнут хозяином дома, связан и препровожден к начальнику уезда. Узнав, кто он такой, начальник отпустил Кэци, но при своем визитном листке.

Оба Аня, отец и сын, связали его и стали немилосердно драться, так что он был почти уже без дыхания. Тогда брат стал умолять отца освободить Кэци, и тот, наконец, его отпустил. Отец от гнева и стыда захворал, стал мало есть, и составил завешание о разделе земли между сыновьями. Все лучшие дома и жирные земли отходили к Даци.

Кэци обиделся, рассердился... Встал ночью и с ножом вошел в спальню брата, чтобы его убить. Однако, по ошибке попал ножом в невестку.

А дело было так. После царевны остались шаровары, легкие, мягкие необыкновенно. Юнь их присвоила себе, как ночную одежду. Когда Кэци хватил по ним ножом, то во все стороны взметнулись огненные звезды... Кэци в страшном испуге бросился бежать.

Когда отец об этом узнал, ему стало еще хуже, и через несколько месяцев он умер. Тогда Кэци, услыша о смерти отца, решил вернуться домой. Брат встретил его хорошо, и от этого Кэци разнузданно во всю, так что через год все земли и угодья, которые пришлось на его долю, были растратчены.

Тогда он обратился в уездное правление с жалобой на брата. Однако, правитель, зная доподлинно, что он за человек, обругал его и выгнал вон. С этой поры приятельным отношениям братьев пришел конец.

X

Прошел еще год. Кэци исполнилось 23, а девице Хоу — 15. Брат вспомнил слова матери и хотел поскорее устроить свадьбу. Позвал Кэци к себе, выделил ему прекрасный дом, чтобы жить вместе; затем встретил моло-

дую жену, ввел ее в дом и записал на нее лучшие оставленные отцом земли. Вручая ей все это, он сказал ей так:

— «Вот эти мои скромные несколько десятин земли я ради тебя, невестушка, берег, не щадя жизни. Теперь все это передаю тебе. Мой братец — человек не путевый. Дай ему хоть вершок соломы, он все спустит. А после этих моих слов, ваше дальнейшее благосостояние или, наоборот, нищета, целиком находится в твоих, невестушка, руках. Если ты с'умеешь заставить его исправиться, то нечего бояться холода и голода. Ну, а если не с'умеешь, то я тоже, знаешь, не могу заполнить бездонную яму».

Хоу была из самых простых, маленьких людей, но тем не менее определенно отличалась смышленностью и привлекательностью. Кэци очень ее боялся и любил. Что бы она ни сказала, он никогда не смел идти ей наперекор. Когда он отлучался, она назначала ему срок, в часах и минутах, если срок бывал пропущен, то она бранила и поносила его, а после этого не садилась с ним за стол вместе есть и пить. Кэци, живя в таких условиях, слегка подтянулся.

Через год у него родился сын.

— «Ну, а теперь, — сказала жена, — мне нечего у кого-либо искать⁴¹⁾. Несколько десятин жирной земли при мне. Стало-быть, матери с сыном нечего бояться холода или голода. Пусть даже не будет теперь мужа, и то ладно!»

Как-то случилось, что Кэци, украв дома крупы, пошел играть. Жена, узнав про это, схватила лук со стрелой, стала у ворот и не пускала домой. Кэци в сильном испуге бросился от нее прочь; потом, укараулив момент, когда она ушла в дом, он тоже пробрался туда на цыпочках. Жена схватила нож и вскочила на ноги. Кэци опять

бросился бежать вон. Она — вслед за ним, рубнула ножом, разодрала штаны, рассекла ягодицу. Кровь так и хлынула на чулки и туфли.

В сильнейшем раздражении Кэци бросился с жалобой к брату, но тот не стал с ним и разговаривать. Кэци убежал в стыде и озлоблении. Однако, через почь он опять пришел, стал перед невесткой на колени, жалобно заплакал и стал просить заступиться за него перед женой. Тем не менее, та его попрежнему не желала принимать. Кэци рассвирепел и сказал, что он идет убивать жену. Брат молчал. Кэци вскочил, схватил копье и выбежал. Невестка сильно перепугалась и бросилась было его останавливать, но муж сделал ей глазами знак, и когда брат убежал, сказал ей:

— «Это он так, нарочно, все рисуется. На самом-же деле не посмеет домой то притти.»

Послали человека посмотреть, что Кэци делает. А он, оказывается, уже вошел в дом. Тогда у Даци лицо стало серьезным, и он готов был бежать за братом, как Кэци уже выходил из дому, затаив от страха дыхание.

А было так. Кэци вбежал, когда жена его играла с ребенком. Как только она его увидела, бросила дитя на постель и пошла за кухонным ножом. Кэци струсил, и волоча копье, побрел назад; а жена, выгнав его на улицу, вернулась домой.

Брат уже знал в чем дело, но притворно стал его спрашивать, как и что. Кэци молчал, повернулся в угол и заплакал. Плакал так, что вспухли глаза. Брат пожалел его и сам пошел с ним домой. Тогда жена приняла его, но, как только брат вышел, наказала, поставив на колени. Затем взяла с него тяжкую клятву... В конце концов, дала ему, как милостыню, поесть из разбитой миски.

С этих пор Кэци исправился, стал хорошим. А жена его вела счета и книги. С каждым днем богатели все больше и больше. Кэци, как говорится, подобоострастно смотрел, как всё это делалось, и больше ничего.

Он дожил до семи десятков. Сыновей и внуков было у него множество, а все-ж жена нет-нет да возьмет его за седые усы; да еще заставит на коленках прогуляться.

Автор этой повести сказал-бы так:

Сварливая, ревнивая жена — что чирей на самой кости. Умирай — и никаких... Яд, ведь, что другое?

А возьми мышьяку и приложи к чирью, и какой-бы ни был злой парыв, можно исцелиться. Это вам не какая-нибудь ромашка! И если-бы наша фея не видела насквозь человека с его потрохами, неужели-ж она решилась-бы так и оставить в потомстве яд?

★

ПРИМЕЧАНИЯ К ПОВЕСТИ

1. Старый образ самовлюбленного молодого начетчика.
2. В старом Китае образованному молодому человеку полагалось читать только серьезные вещи: классиков, историю, поэтов. Понятие литературы в старом Китае вплотную совпадало с понятием литературы серьезной.
3. Обычно говорили и говорят о женитьбе «брать жену», но в исторических текстах, на которые здесь намекает Ляо Чжай, это выражение «брать» в речи о царевне считается одиозным. Говорят: «почтить», выказать царевне благоговение.
4. Возраст, в котором старый Китай считал нужным женить и выдавать замуж уже фактически; сговор же бывал и ранее, — даже гадательно, во чреве матери.

5. Диван в южном Китае, и иногда в северном, играет роль софы днем и кровати ночью.

6. Студент учился обыкновенно дома у особого учителя. Изредка они соединялись в группы. Образование состояло из чтения серьезной, уставной литературы и тренировки в писании литературных сочинений.

7. Подушки, или вернее матрацы постилались на диван, и подучалась кровать. Днем эти подушки постилались при приеме гостей.

8. Божества, живущего на далеком Западе, в горах Гунь Лунь («Куэнь Лунь»).

9. Шахматы были двух родов: «слоновые» и «облавные». Первые напоминали наши, вторые — очень сложная игра в войну, с массой фигур.

10. Диванный столик имел вид широкого табурета, всячески изукрашенного резьбой и инкрустациями. Он ставился на широкий диван между сидящими, на него клали угощение.

11. Так именуется в старых китайских текстах зять царя.

12. Китайские шахматы, вернее назвать шашками, ибо по форме это шашки и есть; только на них крупными иероглифами написаны названия: «воевода», «колесница», «слон» и т. д.

13. Тысячу лан, весовых единиц чистого серебра, котировавшихся перед войной около 1 р. 30 к. — 1 р. 40 к.

14. Год астрологического, и очень чтимого среди простолюдов календаря, состоял из дней, в которые можно было делать одно и нельзя было делать другого, чтобы не навлечь на себя небесной кары. Книжки-альманахи, с подобными предсказаниями, были самым дешевым товаром на китайском книжном рынке.

15. Китайский дом состоит из многих строений на подобие нашего крестьянского, но разделен дворами, которые в богатых семьях чисты и опрятны.

16. Экзамены производились в городе, куда съезжались окрестные молодые аспиранты.

17. Китайцы старого порядка писали свою фамилию большими черными иероглифами на красном фоне, и этот листок исполнял функцию нашей визитной карточки. Новые китайцы печатаются вполне по европейски, включая сюда и европейскую транскрипцию иероглифов, которую владелец карточки не всегда умеет читать сам.

18. Руки складывались в кулаки и поднимались в сжатом виде снизу вверх до лба, или при более небрежном приветствии, до груди.

19. Эти палочки берут за обедом, кладут на подобие карандаша, одну между указательным и вторым, а другую — между вторым и третьим пальцами. Сжимая мускульным усилием кусочки пицци, отправляют их в рот.

20. Гадать о том, где следует хоронить умершего, считалось первой обязанностью каждого сына или дочери. Гадание производилось особыми гадалками — геомантами, с нашей точки зрения — шарлатанами.

21. Чтобы усугубить траур в подражание древним героям сыновнего благочестия.

22. Из Лао-Цзы. Сверхчеловек тушит свой светильник и приравнивает себя к окружающей пыли.

23. Через три номинальных года.

24. Как подобает при приеме невесты в дом.

25. Навешиваемый в летнее время вместо двери.

26. Суровый траур сына по родителям.

27. Образ супружеского согласия.

28. Китайцы ориентируются по странам света во всех мелочах жизни. «Правое», «левое» — не в ходу.

29. Красавица «Летающая Ласточка», фаворитка древнего (1 в. до Р. Х.) государя, исполнительница великодушных танцев.

30. Несколько странное для нашего уха обозначение братьев и сестер в порядке их появления на свет, вполне

обычно для патриархального Китая, живущего огромными семьями.

31. Прорицание по очертаниям лица (сян), имеющее в Китае, как и прочие виды гадания, огромную литературу.

32. Большой Талант.

33. Обычай требовал, чтобы молодая, побыв некоторое время в доме мужа, возвращалась домой проводить родных.

34. Т. е., как древний учитель Ма Юн, не желавший никакого соприкосновения с внешним миром.

35. Вторую по счету (цзюй жэнь).

36. На экзаменах конкурентов.

37. Подлежащий выбрасыванию.

38. По гороскопу невесты и жениха.

39. Сплошной очередью.

40. Год, месяц, день, час, обозначаемые особыми символами.

41. Если родился сын, никакого развода быть не может.

низме вдруг выступил... сентиментальной душевной испариной, стал резонерством; сентиментальное все, как известно, имеет изнанку. Изнанка сентиментального человека есть злость; и эта злость обнаружилась в гуманизме Ивана Ивановича, тучного либерального деятеля, когда лопнули трубы; многие были гуманны — до этого крупного факта в их жизни; идеализм устремлений у многих был благодушием от теплой трубы и удобного кресла; и в указание на это условие существования либерала был прав социализм: гуманизм был как часто овечьей личиной, таившей волчьию злость; происхождение многих злостей — незнание и неумение с чем либо справиться, переложение своих недостатков во вне; недостаток сознания крылся под общою формою лозунгов; общие лозунги «*либеральной гуманности*» и борьба с всем «*данним*», индивидуальным, конкретным есть падение высот гуманизма, приподымавшего Чело Века в любом человеке по своему; не было честности в брошенных лозунгах «*общегуманный*», «*сентиментально-гуманный*» и обнаруживших злость и зависимость от состояния труб; они лопнули; и — озлели вдруг «*честные, добрые, либеральные люди*»; и идеально настроенный стал петь о мести.

Такой «*гуманизм*» никуда не годится; признаться скатать: не годились никуда либеральные «*лозунги*» многих присяжных поверенных.

Лопнули трубы!

Иваны Ивановичи вышли на улицу из своей «*хаты с краю*» и — стали в хвосты; перед ними возник неожиданно — имрек, Иван: он — «*сохвостник*», представьте же: он — философ: ядрено ругается, но меж ругательств высказывает философские убеждения; появляются никогда не бывавшие факты — растут, как грибы; и приходится ныне Ивану Ивановичу просто ломать себе голову над вопросом о том, как откликнулся бы Мельгунов на все это; так жаль, что молчал Мельгунов это время (стою за свободу

печати); Ивану Ивановичу, жившему философией Мельгунова года, не мешало бы самому стать философом, чтоб Иваны-сохвостники, не убоившиеся «*метафизики*», не подумали бы, что Иван Иванович глуп.

Так приходится распроститься с дедукцией «*мельгуновского*» лозунга, и остаться с индукцией из меньшего количества фактов, осознанных не «*вообще*», — в данном случае.

10

То же самое переживали: писатели, профессора, публицисты в России; писатель до этого времени обсеменял в неизвестную массу — полезным и добрым; и шествовал... в кресле своем, приглашал за собою; читатель — почитывал, почитал; был — читателем-почитателем он; было ясно, спокойно, решенно на веки-веков.

Где журнал, почитатель-читатель? Закрыты журналы; читатели-почитатели, рассеянные в пространствах — отрезаны (транспорт расстроен: и транспортировать грузы идей невозможно; ходи на ногах, не на кресле, и обходи почитателей не символическим способом); пренеспокойное положение; легко поучать из своей «*хаты с краю*» покорные и неизвестные тысячи; в студии, где собралось 25 беспокойных Иванов, которым ничто не известно, — на «*как известно*» не выедешь; им докажи как — «*как именно*»: необразованные субъекты, неудосужившиеся почитать Мельгунова и Джанниева! Приходится вдруг самому стать учителем жизни: не «*мельгунить*»; и вопросами студии, вопросами жизни, осыпан вчерашний писатель, нашедший из кресла когда-то — «*все, все*»; и теперь потерявший «*все-все*» — вместе с креслом.

11

Особенность современной аудитории русской есть критика догматизма, где все «*предпоследнее*», «*так сказать*»

М. Горький

ЗАМЕТКИ

О ЛЬВЕ ТОЛСТОМ

В жаркий день он обогнал меня на нижней дороге; он ехал верхом в направлении к Ливадии; под ним была маленькая татарская, спокойная лошадка. Серый, лохматый в легонькой, белой, войлочной шляпе грибом, он был похож на гнома.

Придержав лошадь, он заговорил со мною; я пошел рядом, у стремена и, между прочим, сказал что получил письмо от В. Г. Короленко. Толстой сердито тряхнул бородою:

— Он в Бога верует?

— Не знаю.

— Главного не знаете. Он — верит, только стыдится сознаться в этом пред атеистами.

Говорил ворчливо, капризно, сердито прищутив глаза. Было ясно, что я мешаю ему, но когда я хотел уйти, он остановил меня:

— Куда же вы? Я еду тихо.

И снова заворчал:

— Андреев ваш — тоже атеистов стыдится, а тоже в Бога верит, и Бог ему — страшен.

У границы имения великого князя А. М. Романова, стоя тесно друг ко другу, на дороге беседовали трое Романовых: хозяин Ай-Тодора, Георгий, и еще один, — кажется, Петр Николаевич из Дюльбера, — все бравые, крупные люди. Дорога была загорожена дрожками в одну лошадь, поперек ее стоял верховой конь; Льву Николаевичу нельзя было проехать. Он уставился на Романовых строгим, требующим взглядом. Но они, еще раньше, отвернулись от него. Верховой конь помялся на месте и отошел немного в сторону, пропуская лошадь Толстого.

Проехав минуты две молча, он сказал:

— Узнали, дураки.

И еще через минуту:

— Лошадь поняла, что надо уступить дорогу Толстому.

★

«Берегите себя прежде всего — для себя, тогда и людям много останется».

★

«Что значит — знать? Вот, я знаю, что я — Толстой, писатель, у меня — жена, дети, седые волосы, некрасивое лицо, борода, — все это пишут в паспортах. А о душе в паспортах не пишут, о душе я знаю одно: душа хочет близости к Богу. А что такое — Бог? То, частица чего есть моя душа. Вот и все. Кто научился размышлять, тому трудно верить, а жить в Боге можно только верой. Тертуллиан сказал: «Мысль есть зло».

★

Несмотря на однообразие проповеди своей, — безгранично разнообразен этот сказочный человек.

Сегодня, в парке, беседуя с муллой Гаспры, он держал себя как доверчивый простец-мужичок, для которого пришел час подумать о конце дней. Маленький и, как будто, нарочно еще более с'сжившийся, он рядом с крепким, солидным татаринном, казался старичком, душа которого впервые задумалась над смыслом бытия и — боится ее вопросов, возникших в ней. Удивленно поднимал мохнатые брови и, пугливо мигая остренькими глазами, погасил их нестерпимый, пронизательный огонек. Его читающий взгляд недвижно впился в широкое лицо муллы, и зрачки лишились остроты, смущающей людей. Он ставил мулле «детские» вопросы о смысле жизни, душе и Боге, с необыкновенной ловкостью подменяя стихи Корана стихами Евангелия и пророков. В сущности — он играл, делая это с изумительным искусством, доступным только великому артисту и мудрецу.

А несколько дней тому назад, говоря с Танеевым и Сулером о музыке, он восхищался ее красотой точно ребенок и было видно, что ему нравится свое восхищение, — точнее: своя способность восхищаться. Говорил, что о музыке всех лучше и глубже писал Шопенгауэр, рассказывал, попутно, смешной анекдот о Фете и называл музыку «немой молитвой души».

— Как же — немая? — спросил Сулер.

— Потому что — без слов. В звуке больше души, чем в мысли. Мысль — это кошелек, в нем пятаки, а звук ничем не загажен, внутренне чист.

С явным наслаждением он говорил милыми, ребячьими словами, вдруг вспомнив лучшие, нежнейшие из них. И, неожиданно, усмехаясь в бороду, сказал мягко, как ласку:

— Все музыканты — глупые люди, и чем талантливее музыкант, тем ограниченнее. Странно, что почти все они религиозны.

★

Чехову, по телефону.

— Сегодня у меня такой хороший день, так радостно душе, что мне хочется, чтоб и вам было радостно. Особенно — вам! Вы очень хороший, очень!

★

Он не слушает и не верит, когда говорят не то, что нужно ему. В сущности — он не спрашивает, а — допрашивает. Как собиратель редкостей, он берет только то, что не может нарушить гармонию его коллекции.

★

Разбирая почту.

— Шумят, пишут, а — умру и, — через год, — будут спрашивать: Толстой? Ах, это граф, который пробовал тачать салоги и с ним что то случилось, — да этот?

★

Несколько раз я видел на его лице, в его взгляде, хитренькую и довольную усмешку человека, который, неожиданно для себя, нашел нечто спрятанное им. Он прятал что-то и — забыл: где спрятал? Долгие дни жил в тайной тревоге, все думая: куда — же засунул я это, необходимое мне? И — боялся, что люди заметят его тревогу, его утрату, заметят и — сделают ему что-нибудь

неприятное, нехорошее. Вдруг — вспомнил, нашел. Весь исполнился радостью и, уже не заботясь скрыть ее, смотрит на всех хитренько, как бы говоря:

— Ничего вы со мною не сделаете.

Но о том — что нашел и где — молчит.

Удивляться ему — никогда не устаешь, но все-таки трудно видеть его часто, и я бы не мог жить с ним в одном доме, не говоря уже — в одной комнате. Это — как в пустыне, где все сожжено солнцем, а само солнце тоже догорает, угрожая бесконечной, темной ночью.

ИЗ ДНЕВНИКА

Когда я подарил кладбищенскому сторожу Бодрягину давно желанную им гармонику, он — одноглазый, лохматый — крепко прижал правую свою руку к сердцу и, сияя радостью, закрыв свой одинокий, милый, — а порою — жуткий, глаз, сказал:

— Эх-х...

Задохнулся от возбуждения, потряс плешивою головою и одним дыханием произнес:

— Умрете вы, Лексей Максимыч, ну, уж я за Вами поухаживаю.

Он брал с собою гармонику даже тогда, когда рыл могилы и, уставая работать, поигрывал любовно и тихонько польку. Он иногда называл ее с французским «прононсом» — «Трен-блан», а иногда «Дрян-брань». Это была единственная пьеса, которую он умел играть.

Случилось, что он заиграл в то время, когда, неподалеку от него священник служил панихиду. Кончив служить, он подозвал Бодрягина и стал ругать его:

— Усопших оскорбляешь, скот!

Бодрягин жаловался мне:

— Конечно, это я нехорошо сделал, а все-таки: как он может знать — что покойнику обидно?

Он был уверен, что ада — нет; души хороших людей отлетают после смерти тела в «пречистый» рай, а души грешников, оставаясь в теле, живут в могилах, до поры, пока тело не сгниет.

— После того земля выдыхает душу на ветер и ветром разносит ее в бесчувственную пыль.

Когда зарыли в могилу труп любимой мною шестилетней девочки Николаевой, и все разошлись с кладбища, — Костя Бодрягин, подравнивая глиняный холмик могилы ударами лопаты, утешал меня.

— Ты, друг, не горюй! Может на том свете иными словами говорят, лучше нашего-то, веселее. А может и не говорят ничего, а только на виловончелях играют.

Музыку он любил до смешного и опасного самозабвения; услышит вдали звуки военного оркестра, шарманку или рояль и тотчас весь насторожится, вытянув шею в направлении звука, заложив руки за спину, замрет, широко открыв свой темный глаз, как будто слушая глазом. Иногда это случалось с ним на улице, дважды его спшибали лошади и многократно били кнутами извозчики, когда он, очарованный, стоял не слыша криков предостережения, не видя опасности.

Он объяснял:

— Услышу музыку и — словно на дно речное мырну!

Он «путался» с кладбищенской нишей Сорокиной, пьяной бабой, старше его лет на пятнадцать, ему было уже за сорок.

— Зачем она тебе? — спросил я.

— А — кто ее утешит? Некому опричь меня. Я-же люблю утешать самых безутешных. Своего горя у меня нет, вот я чужое и одолеваю.

Мы говорили стоя под березой, в потоках неожиданного хлынувшего июньского ливня.

Костя с наслаждением ежился под ударами дождя о его череп, голый, угловатый и бормотал:

— Мне приятно, когда мое слово слезу сушит...

У него был видимо рак желудка, он выдыхал гнилой запах трупа, не мог есть, страдая рвотой, но работал бодро, ходил по кладбищу весело и умер за картами, играя с другим сторожем в дурачки.

СМЕШНОЕ

...И на войне смешное бывает: вот, примерно, — пошли мы, пятеро в лес, за дровами, а тут ка-ак бабахнет о земь эдакая немецкая тетка. Меня бросило в ямину, засыпало землей, застучало камнями, очнулся, лежу — думаю: ну, шабаш, пропал ты Семен! Оклемался совсем, протер глаза, а — товарищев нету, деревья ободраны и кое на которых сучьях кишки висят. Тут я — хохотать. Уж больно забавно это, — кишки — те на сучках. После — стало мне несколько скушно. Тоже, ведь, люди были товарищи — те, вроде как — я, всетаки. И сразу — ни одного нет, будто и не было. Ну, а сначала, — здорово смеялся я.

★

«Пришли, это, мы в деревеньку, а в ней, всего на все, три хаты, у одной — старуха сидит, недалеко — корова ходя. Говорим: «Бабка, это чья скотина будет; али —

твоя? Она — плакать, она вопить и на колени встает и всяко. «Внуки» — бает — «у меня в погребке сидят и должны теперь схохнуть». «Не вопи» — говорим — «мы тебе по этому делу записку оставим». А был с нами, нашей же роты, парень костромской — вор-вором, он и налил записку: «Эта самая старуха прожила девяносто лет да еще столько-же собирается, ну того ей не удастся». И подписался, сукин сын: — Бог Господь!» Сунули ей записку, а корову забрали с собой и пошли. И так хохотали над этим случаем, что идти было трудно, — оставимся и грохочем, аж слезы текут».

★

«Я вам, товарищ, Горьков, очень смешное расскажу про себя; чего мне невтерпех хотелось, — так это графиню-бы какуюнибудь, чтобы с ней поспать. Долго искал, даже во сне видел: высокая, белая, глаза фактические и — во всем твердость.

Всякие там, помещицы, дворянки, — их у нас, в лагере, сколько хошь, а графинеи нету. Товарищи, конечно, смеются, а я думаю: врете, найду! И — нашел. Привели ее, заарестованную по контрреволюции, конечно, бежит ко мне один прохвост, — Елифаньев, — кричит, — иди скорее, твою привели. Являюсь, а ей, лет пятьдесят, носатая, рябая! Осердился я: — «Что ты такая, так твою раз эдак, а?» А она мне: — «Попшел прочь, дурак, такой меня Бог создал». Чуть не ударил я ее. «Ну, так — говорю — пускай тебя Бог и... а я — не стану». Так и не тронул ее. Смеяться над ней, конечно, много смеялся, а с бабьей стороны — не трогал. И от этого факта — прошло со мною: сплю теперь со всякими

женщинами, а графиню уж не жду. Не надо, значит. Только, иной раз, вздумается: к чему все это клонит, — вся наша суматоха? Ведь — фактически — как ты не живи, что не делай, а — помереть — верно?»

*

В ресторане «Пекарь» барышня с Невского рассказывала мне:

— «Это у вас книжечка того Блока, известного? Я его тоже знала, впрочем — только один раз. Как-то осенью, очень поздно и, знаете, слякоть, туман, уже на Думских часах около полуночи, я страшно устала и собиралась идти домой, — вдруг — на углу Итальянской меня пригласил прилично одетый, красивый такой, очень гордое лицо, я даже подумала: иностранец! Пошли пешком, — тут, недалеко, по Караванной, 10, комнаты для свиданий. Иду я, разговариваю, а он — молчит и мне было неприятно даже, необыкновенно как-то, я не люблю невежливых. Пришли, я попросила чаю; позвонил он, а слуга — не идет, тогда он сам пошел в коридор, а я так, знаете, устала, озябла и заснула, сидя на диване. Потом, вдруг проснулась, вижу: он сидит напротив, держит голову в руках, облокотясь на стол и смотрит на меня так строго — ужасные глаза! Но мне — от стыда — даже не страшно было, только подумала: ах, Боже мой, должно быть, музыкант. Он — кудрявый. Ах, извините, — говорю — я сейчас разденусь.

А он улыбнулся вежливо и отвечает: — Не надо, не беспокойтесь. Пересел на диван ко мне, посадил меня на колени и говорит, глядя волосы: — «Ну, подремлите еще!» И — представьте-же себе! — я опять заснула, — скандал!

Понимаю, конечно, что это не хорошо, но — не могу! Он так нежно покачивает меня и так уютно с ним, открою глаза, улыбнусь, и он улыбнется. Кажется я даже и совсем спала, когда он, встряхнул меня осторожно и сказал: — «Ну, прощайте, мне надо идти». И кладет на стол двадцать пять рублей. Послушайте — говорю — как-же это? Конечно, очень сконфузилась, извиняюсь, — так смешно все это вышло, необыкновенно как-то. А он засмеялся тихонько, пожал мне руку и — даже поцеловал. Ушел, а когда я уходила, слуга говорит: — «Знаешь, кто с тобой был? Блок, поэт, — смотри!» И показал мне портрет в журнале, — вижу: верно, — это он самый. Боже мой — думаю — как глупо вышло!»

И действительно, на ее курносом, задорном лице, в плутоватых глазах бездомной собаченки мелькнуло отражение сердечной печали и обиды.

Отдал барышне все деньги, какие были со мною и с того часа почувствовал Блока очень понятным и близким.

Нравится мне его строгое лицо и голова флорентинца эпохи Возрождения.

*

Ермолай Маков, старик, торговец «древностями», человек длинный, тощий и прямой, как верстовой столб. Ходил он по земле, как солдат на параде, смотрел на все огромными глазами быка, в серовато-синем, мутном блеске их было что-то унылое и тупое. Он казался мне глухим, в этом особенно убеждала меня своенравная и капризная черта его характера: принесет продавать чернильницу подъячего, жалованный ковш целовальника или древнюю монету, упорно торгуется, продаст и вдруг могильным голосом скажет:

- Нет, не хочу.
- Почему?
- Охоты нет.
- Зачем же ты целый час болтал зря?

Он молча сунет вещь в бездонный карман своей поддевки, вздохнет тяжело и уходит, не простоясь, как будто крепко обиженный. Но через день, а иногда — через час, неожиданно является, кладет вещь на стол:

- Бери.
- А что-ж ты прошлый раз не продал?
- Охоты не было.

Он был не жаден на деньги, по многу давал нищим, а к себе относился небрежно: ходил зиму и лето в старенькой, на вате, поддевке, в теплом измятом картузе, в худых сапогах. Жил — бездомно, переходя от поместья в поместье из Нижнего в Муром, из Мурома в Суздаль, Ростов, Ярославль и снова являлся в Нижнем, всегда останавливаясь в грязных «Номерах» Бубнова; их населяли торговцы канарейками, шулера, сыщики и всевозможные искатели счастья, они искали его лежа на продавленных диванах, в облаках табачного дыма. Среди этого человеческого мусора Маков пользовался особым вниманием как «ходовой» человек и хороший рассказчик; рассказывал же он всегда о том, как разрушаются, — «хизнут» — старые «дворянские гнезда». Говорил он об этом с глухой, унылой злобой, особенно густо и настойчиво подчеркивая легкомыслие помещиков.

— Шары гоняют. Очень любят они шары гонять деревянными молотками, — игра такая. И сами как шары эти стали, — совсем бессмысленно катаются туда-сюда по земле.

Однажды, туманной ночью осени, я нашел Макова на пароходе, по дороге в Казань. Едва шевеля колесами, пароход слепло и осторожно сползал, сквозь туман, по течению; в серой воде и сером тумане, расплывались, таяли его огни, глухо и непрерывно ревел гудок; было тоскливо, как в тяжелом сне. Маков сидел на корме, одинокого, точно прятаясь от кого-то. Мы разговорились и вот, что он рассказал:

— Двадцать третий год живу я в неизбывном страхе и нет мне спасения от него. А страх мой, сударь, особый: вселена в плоть мою чужая душа. Было мне, сударь, тридцать годов и водился я с одной бабой, не иначе, как — ведьмой. Муж у нея — приятель мой — был добрый человек, а — больной, умирал. И в ночь, когда помер он, а я — спал, бабенка эта окаянная, изняла из меня мою душу, а его душеньку заключила в мою плоть. Ей было выгодно это, муж-то был ласковее меня к ней, треклятой. Помер он и — сразу стало мне заметно: не тот я человек. Бабу эту, прямо, скажу, не любил я, просто — баловался с нею, а тут вижу: влечется к этой бабе душа моя. Как же это? Неприятна женщина мне, а оторваться от нея — не могу. Все мои отличные качества дымом исчезли, нудит меня неведомая грусть, стал я робок с ней и вижу: серовато все вокруг, как золой опылено, а баба эта — лицо огня. Играет со мною, зализывая меня во грех, по ночам. Тут и понял я: подменила она душу мне, чужой душою живу. А — моя — то, настоящая то моя, Богом данная мне — где-же? Испугался я...

Тревожно гудел гудок, глухой гул его упирался в туман, пароход, точно ущемленный, ворочал кормою, урчала и плескалась вода под нею, темная и жирная, как смола. Старик, прислонясь спиною к борту, передвигал

ноги в пудовых сапогах, нелепо шарил руками вокруг себя и тихонько говорил:

— Испугался я, пошел на чердак, изделал петлю, привязал к стропилу, — углядела меня прачка, зашумела — вынули из петли. И после того очутилось около меня несообразное существо: шестиногий паук, величиной с небольшого козла, бородат, рогат, с женскими титьками, о трех глазах, два ока — в голове, а третье — меж грудями, в низ, в землю глядит, на мои следы. И куда не иду, он, невступно, за мной перебирается, мохнатый, на шести ногах, вроде-бы тени лунной, и никому его не видать, кроме меня, — вот он здесь, а ты его не видишь, вот он!

Протянув руку влево от себя, Маков погладил что-то в воздухе, на высоте вершков десяти от палубы потом, вытирая руку о колено, сказал:

— Мокрый.

— Что же ты, так двадцать лет и живешь с пауком? — спросил я.

— Двадцать три. Ты думаешь — безумен я? Вот ведь, стража моя, вот он прихилился, паук-от...

— А с докторами не говорил ты о нем?

— Полно-ка, сударь, что тут доктор может? Ведь это не нарыв, ножиком не отрежешь, микстуркой не вытравившь, мазями не затрешь. Доктор его не видит, паука-то.

— Говорит с тобой паук?

Маков удивленно взглянул на меня и спросил:

— Смеешься, что-ли? Как-же паук говорить может? Он мне для страха дан, чтоб я собой не располагал, не погубил-бы чужую душу. Ведь душа-то во мне чужая, вроде-бы — краденая. Лет десяток назад тому, задумал

я утопиться, — бросился с баржи в воду, а он, паук, вцепился лапами в борт, да и в меня, я и повис за бортом. Ну, притворился я будто нечаянно за борт упал. После матросы говорят: поддевка удержала меня, зацепилась за что-то. А, — вот она, поддевка-то, какая поддела меня...

Старик снова погладил, потрогал рукою влажный воздух.

Я молчал, не зная что сказать человеку, который живет бок о бок с таким странным созданием воображения своего, живет, а — не совсем безумен.

— Давно я хотел потолковать с тобой про этот случай, — говорил он тихо и просительно. — Ты говоришь обо всем смело, верю я тебе. Скажи мне, сделай милость, как, по твоему: от Бога паук этот охрана мне, али от Дьявола?

— Не знаю.

— Подумал-бы ты... Я полагаю — от Бога, это он охраняет, бережет чужую душу во мне. Ангела приставить не захотел, не достоин я ангела. А, вот, паук, — это умнее. Страшный, главное. Долго не мог я привыкнуть к нему.

Сняв картуз, Маков перекрестился и сказал тихонько, воодушевленно:

— Велик и благодетелен Бог наш, Господин и Отец разума, пастырь душ наших.

...Через несколько месяцев, лунной ночью, я встретил Макова на одной из глухих улиц Нижнего-Новгорода, он шел по тротуару, прижимаясь к заборам, как бы уступая дорогу кому-то.

— Что — жив паук?

Старик усмехнулся, наклонясь провел рукою по воздуху и ласково сказал:

— А — вот он....

Спустя три года, я узнал, что в 905 г. Макова ограбили и убили где-то около Балахны.

★

Сегодня наблюдал, как маленькая дама в кремовых чулках, блондинка, с недоконченным лицом девочки, стоя на Троицком мосту, держась за перила руками в сереньких перчатках и как-бы готовясь прыгнуть в Неву, показывала луне острый, алый язычок свой. Старая, хитрая лиса небес прокрадывалась в небо сквозь тучу грязного дыма, была она очень велика и краснолица, точно пьяная. Дама дразнила ее совершенно серьезно и даже мстительно, — так показалось мне.

Дама воскресила в памяти моей некоторые «странности», они издавна и всегда смущали меня. Наблюдая, как ведет себя человек наедине сам с собою, я вижу его «безумным», — не находя другого слова.

Впервые я заметил это еще будучи подростком: клоун Рондаль, англичанин, проходя пустынным и темным корридорм цирка мимо зеркала, снял цилиндр и почтительно поклонился своему отражению. В корридоре не было ни души, я сидел в баке для воды над головою Рондаля, он не мог видеть меня, да и я не слышал его шагов, я случайно высунул голову из бака как раз в тот момент, когда клоун раскланивался сам с собою. Его поступок поверг меня в темное, неприятное изумление. Потом я сообразил: клоун, да еще англичанин, человек, ремесло или искусство которого эсцентризм.

Но я видел, как А. Чехов, сидя в саду у себя, ловил шляпой солнечный луч и пытался — совершенно без-

успешно — надеть его на голову вместе со шляпой. И я видел, что неудача раздражает ловца солнечных лучей, лицо его становилось все более сердитым. Он кончил тем, что, уныло хлопнув шляпой по колену, резким жестом нахлобучил ее себе на голову, раздраженно отпихнул ногою собаку «Тузика» прищурив глаза, искоса взглянул в небо и пошел к дому. А увидав меня на крыльце, сказал ухмыляясь:

— Здравствуйте. Вы читали у Бальмонта: «Солнце пахнет травами?» Глупо. В России солнце пахнет казанским мылом, а здесь — татарским потом...

Он же долго и старательно пытался засунуть толстый красный карандаш в горлышко крошечной аптекарской склянки. Это было явное стремление нарушить некоторый закон физики. Чехов отдавался этому стремлению солидно, с упрямой настойчивостью экспериментатора.

Л. Н. Толстой тихонько спрашивал ящерицу:

— Хорошо тебе, а?

Она грелась на камне в кустах по дороге в Дюльбер, а он стоял пред нею, засунув за ремень пояса пальцы рук. И осторожно оглянувшись вокруг, большой человек мира сего, сознался ящерице:

— А мне — не хорошо.

Профессор М. М. Тихвинский, химик, сидя у меня в столовой, спрашивал свое отражение в медном подносе:

— Что, брат, живешь?

Отражение не ответило. Он вздохнул глубоко и начал тщательно, ладонью, стирать его, хмурясь, неприятно шевеля носом похожим на зародыш хобота.

Мне рассказывали, что однажды кто-то застал Н. С. Лескова за такой работой: сидя за столом, высоко поднимая пушинку ваты, он бросал ее в фарфоровую полоска-

тельницу и «преклоня ухо» над нею слушал: даст-ли вата звук, падая на фарфор?

Отец Ф. Владимирский, поставив пред собою сапог, внушительно говорил ему:

— Ну, — иди!

Спрашивал:

— Не можешь?

И с достоинством, убежденно заключал:

— То-то! Без меня — куда не пойдешь?

— Что вы делаете, отец Федор? осведомился я, войдя в комнату.

Внимательно посмотрев на меня, он объяснил:

— А, вот — сапог! Стоптался. Ныне и обувь плохо стали тачать....

Я неоднократно наблюдал, как люди смеются и плачут наедине сами с собою. Один литератор, совершенно трезвый, да и вообще мало пьющий, плакал, насвистывая мотив шарманки:

«Выхожу один я на дорогу».

Свистел он плохо, потому что всхлипывал, как женщина, и у него дрожали губы. Из его глаз медленно капались капельки слез, прячась в темных волосах бороды и усов. Плакал он в номере гостиницы, стоя спиной к окну и широко разводил руками, делая плавательные движения, но — не ради гимнастики, размахи рук были медленны, бессильны, не ритмичны.

Но — это не очень странно: плач, смех — выражения понятных настроений, это не смущает. Не смущают и одинокие ночные молитвы людей в полях, в лесу, в степи и на море. Совершенно определенное впечатление безумных вызывают онанисты, это тоже естественно,

почти всегда противно, но порою — очень смешно. И — жутко тоже.

Курсистка медичка, очень неприятная барышня, самоуверенная и хвастунья, начитавшаяся Нитцше до очумелости, грубо и наивно рисовалась атеизмом, но — онанировала перед снимком с картины Крамского «Христос в пустыне».

— О, иди! — тихонько и томно стонала она. — Милый, несчастный — иди-же, иди!

Потом она вышла замуж за богатого купца, родила ему двух мальчиков и уехала от него с цирковым борцом.

Мой сосед по комнате в «Князьем дворе», помещик из Воронежа, ночью, совершенно трезвый, полураздетый, ошибкой вошел ко мне; я лежал на постели, погасив огонь, комната была полна лунным светом и сквозь дыру в занавесе я видел сухое лицо, улыбку на нем и слышал тихий диалог человека с самим собою:

— Кто это?

— Я.

— Это не ваш номер.

— Ах, извините!

— Пожалуйста.

Он замолчал, осмотрел комнату, поправил усы, глядя в зеркало и тихонько запел:

— Не туда попал, пал, пал! Как же это я — а?-а?

После этого ему следовало уйти, но он взял со стола книгу, поставил ее крышей — переплетом вверх — и, глядя на улицу, полным голосом сказал, кого то упрекая:

— Светло, как днем, а день был темный, скверный, — эх! Устроено...

Но — ушел он «на ципочках», балансируя руками, и притворил дверь за собою с великой осторожностью, бесшумно.

Когда ребенок пытается снять пальцами рисунок со страницы книги, — в этом нет ничего удивительного, однако, странно видеть если этим занимается ученый человек, профессор, оглядываясь и прислушиваясь: не идет ли кто?

Он, видимо, был уверен, что напечатанный рисунок можно снять с бумаги и спрятать его в карман жилета. Раза два он находил, что это удалось ему — брал что-то со страницы книги и, двумя пальцами, как монету, пытался сунуть в карман, но, посмотрев на пальцы, хмурился, рассматривал рисунок на свет и снова начинал усердно сковыривать напечатанное, это всетаки не удалось ему; отшвырнув книгу, он поспешно ушел, сердито топая.

Я очень тщательно просмотрел всю книгу: техническое сочинение на немецком языке, иллюстрированное снимками различных электродвигателей и частей их, в книге не было ни одного наклеенного рисунка, а известно, что напечатанное нельзя снять с бумаги пальцами и положить в карман. Вероятно, и профессор знал это, хотя он не техник, а гуманист.

Женщины не редко беседуют сами с собою, раскладывая пашансы и «делая туалет», но я минут пять следил, как интеллигентная женщина, кушая в одиночестве шоколадные конфеты, говорила каждой из них, схватив ее щипчиками.

— А я тебя с'ем!

С'ест и спросит: — кого? —

— Что, — с'ела?

Потом — снова:

— А я тебя с'ем!

— Что с'ела?

Занималась она этим, сидя в кресле у окна, было часов пять летнего вечера, с улицы, в комнату набивался пыльный шум жизни большого города. Лицо женщины было серьезно, серовато синие глаза ее сосредоточенно смотрели в коробку на коленях ее.

В фойе театра красивая дама брюнетка, запоздав в зал и поправляя перед зеркалом прическу, строго и довольно громко спросила кого-то:

— И — надо умереть?

В фойе никого уже не было, только я, тоже запоздавший войти в зал, но она не видела меня, да и увидав, надеюсь, не поставила бы предо мной этот, несколько неуместный вопрос.

Много наблюдал я таких «странностей».

★

К тому же:

А. А. Блок, стоя на лестнице во «Всемирной Литературе», писал что-то карандашом на полях книги и вдруг, прижавшись к перилам, почтительно уступил дорогу кому-то незримому для меня. Я стоял наверху, на площадке и, когда Блок, провожая улыбающимся взглядом того, кто прошел вверх по лестнице, встретился с моими, должно быть, удивленными глазами, он уронил карандаш, согнулся, поднимая его, и спросил:

— Я опоздал?

★

Начальник Нижегородского охранного отделения Грешнер был поэт, его стихи печатались в консервативных журналах и, кажется, в «Ниве» или «Родине».

Помню несколько строк:

Вылезает тоска из за печи,
Изо всех вылезает дверей,
Но хотя она душу калечит
С нею, всетаки, жить веселей.
Без тоски мне совсем одиноко,
Как земле без людей и зверей...

В альбом одной дамы он написал эротическое стихотворение:

Перед парадной дверью дома
Стоит мальчишка лет семи.
Что в нем так странно мне знакомо?
Да — это я-же, чорт возьми!

Дальше начинались уподобления и аллегории неудобосказуемые.

Грешнера застрелил девятнадцатилетний юноша Александр Никифоров, сын известного в свое время «толстовца» и переводчика Льва Никифорова, человека очень драматической судьбы: у него было четыре сына и все погибли один за другим. Старший, социал-демократ, измученный тюрьмами и ссылкой, умер от болезни сердца, один сжег себя, облив керосином, один отравился, а младшего, Сашу, повесили за убийство Грешнера. Он убил его днем, на улице, почти у двери охранного отделения; Грешнер шел под руку с дамой. Саша догнал его, крикнул:

— Эй, жандарм!

И когда Грешнер обернулся на крик, Никифоров выстрелил в лицо и в грудь ему. Сашу тотчас поймали и осудили на смерть, но никто из уголовных Нижегородской тюрьмы не согласился взять на себя гнусное дело палача. Тогда полицейский пристав Пуаре, бывший повар губернатора Баранова, хвастун и пьяница — он называл себя родным братом известного карикатуриста Каран д'Аш'а, — склонил за двадцать пять рублей птицелова Гришку Меркулова повесить Сашу.

Гришка был тоже пьяный человек, лет тридцати пяти, длинный, тощий, жилистый, на его лошадиной челюсти росли кустики темной шерсти, из под колючих бровей мечтательно смотрели полусонные глаза. Повесив Никифорова, он купил красный шарф, обмотал им свою длинную шею с огромным кадыком, перестал пить водку и начал как-то особенно солидно и гулко покашливать. Приятели спрашивают его:

— Ты что, Гришка, важничаешь?

Он объяснил:

— Нанят я для тайного дела в пользу государства.

Но когда он проговорился кому-то, что повесил человека, приятели отшатнулись от него и даже побили Гришку. Тогда он обратился к приставу охранного отделения Кевдину с просьбою разрешить ему носить красный кафтан и штаны с красными лампасами.

— «Чтобы штатские люди понимали кто я и боялись трогать меня погаными руками, как я искоренитель злодеев».

Кевдин сосватал его еще на какие-то убийства, Гришка ездил в Москву, там кого-то вешал и окончательно убедился в своей значительности. Но возвратясь в Нижний, он явился к доктору Смирнову, окулисту и «черно-

сотенцу» и пожаловался, что у него, Гришки, на груди, под кожей вздулся «воздушный пузырь» и тянет его вверх.

— Так сильно тянет, что я едва держусь на земле и должен хвататься за чтонибудь, чтобы не подпрыгивать, на смех людям. Случилось это после того, как я подвесил какого-то злодея, в груди у меня екнуло и начало вздуваться. А теперь так стало, что я даже спать не могу, тянет меня, по ночам к потолку — что хошь делай. Всю одежду, какая есть, я наваливаю на себя, даже кир-лички кладу в рукава и карманы, чтобы тяжелее было — не помогает. Стол накладывал на грудь и живот, за ноги привязывал себя к кровати, — все равно, тянет вверх. Покорнейше прошу взрезать мне кожу и выпустить воздух этот, а то я скоро совсем лишусь хода по земле.

Доктор посоветовал ему идти в психиатрическую больницу, но Гришка сердито отказался.

— Это у меня грудное, а не головное...

Вскоре он, упав с крыши, переломил себе позвоночник, разбил голову и, умирая, спрашивал доктора Нифонта Долгополова:

— Хоронить меня будут — с музыкой?

А за несколько минут до смерти пробормотал, вздохнув:

— Ну, вот, возношусь...

★

Раев, директор «раевских курсов», сын какого-то архиерея или даже митрополита, человек неискренно ласковый, женолюбивый и «сладостного срама неследователь», рассказывал со слов Гурия, епископа Самарского:

«В момент причастия Святых тайн, дьявол подстрекнул К. П. Победоносцева выпустить кишечный газ».

— Не потому, владыко, что я не мог-бы удержаться, а из непобедимого желания знать: допустит-ли Господь эдакое?

И назойливо спрашивал Гурия:

— А у вас, владыко, не бывает соблазна сделать подобное в алтаре? И у других владык не случается к пакостям тяготения, не слышали?

★

— Мама, из чего сделана земля?

— Спи, спи.

— Ма-ама, скажи: из чего земля?

— Из глупостей. Спи.

Пауза, потом — снова вопрос:

— Мам. Я — глупый?

— Да. Очень. Милый, но очень глупый.

Философ, сквозь сон, бормочет:

— Когда я вырасту, я сделаю свою землю, небольшую, очень милую...

И — уснул.

★

В курорте Сестрорецк был банщик Степан Прохоров, благообразный, крепкий старик, лет шестидесяти. Странно смотрели на людей его выпуклые, фарфоровые глаза, — блестело в них что-то слишком светлое и жесткое, но улыбались они ласково и, можно сказать, даже милостиво. Казалось, что во всех людях он видит нечто достойное сожаления. Его отношение к людям внушало мысль, что он считает себя мудрейшим среди них. Двигался он осторожно, говорил тихо, как будто все вокруг него спали, а он не хотел будить людей. Работал солидно,

неутомимо и охотно брал на себя работу других. Когда тот или иной служащий курзала просил его сделать что-нибудь, Прохоров, вообще немногословный, говорил то-ропливо и утешительно:

— Ну, ну, — сделаю я, брат, сделаю, не беспокойся!

И делал чужое дело благожелательно, без хвастовства, точно милостину подавая лентяям.

А держался он в стороне от людей, одиноко, и я почти не видал, чтобы в свободный час старик дружески беседовал с кем либо из сослуживцев. Люди же относились к нему неопределенно, но, видимо, считали его глуповатым. Когда я спрашивал о Прохорове:

— Что это за человек? — мне отвечали:

— Так себе человек, обыкновенный.

И только лакей, подумав, сказал:

— Старик — гордый. Чистюля.

Я пригласил Прохорова вечером пить чай, в мою комнату, огромную, как сарай, с двумя венецианскими окнами в парк, с паровым отоплением; каждый вечер в девять часов трубы отопления шипели, бормотали и, казалось, кто-то глухим шепотом спрашивает меня:

— Хотите рыбы?

Старик пришел одетый щеголем: в новой, розового ситца, рубашке, в сером пиджаке, в новых валенках; он аккуратно расчесал широкую, сивую бороду и смазал серые волосы на голове каким-то жирным клеем едко-горького запаха. Степенно попивая чай с красным вином и малиновым вареньем, он вполголоса, очень связно и легко рассказал мне:

— Правильно изволили приметить, — я человек добрый. Однако-ж — родился я и половину жизни прожил как все, без внимания к людям, добрым же стал после

того, когда потерял веру в господина Бога. А это произошло со мною от непрерывных удач в жизни. Удача преследовала меня со дня рождения; отец мой, слесарь во Мценске, так и говорил: «Степанка родился на счастье», — потому что в год рождения моего ему удалось разжиться, открыл свою мастерскую. И в играх я был удачлив и учился играючи; не испытал никаких болезней и неприятностей. Кончил училище, — сразу попал в богатое поместье, в контору, к хорошим людям; хозяевами был любим, барыня говорила мне: «Ты, Степан, имеешь способности, береги себя». И это верно: способностей у меня было настолько много, что я сам себе удивлялся: откуда они? Даже лошадей лечил, не имея никакого понятия, чем они хворают. Любую собаку выучивал ходить на задних лапах и не боем, а только лаской учил. На женщин тоже имел удачу: какая нравится, та и явится, без запинки. В двадцать шесть лет был я старшим конторщиком, и, без ошибки говорю, мог бы стать управляющим. Г. Маркевич, писатель книг, вроде вас, восхищался: «Прохоров настоящий русский человек, как Пурсам». Кто таков Пурсам — не знаю, но г. Маркевич был к людям строг и его похвала — не шутка. Очень я гордился собою, и все шло хорошо. Были у меня деньжонки прикоплены, собирался жениться и уже присмотрел приятно подходящую мне барышню, но вдруг, не заметно для себя почувствовал опасность жизни. Загорелся у меня любопытнейший вопрос: почему мне во всем удача? Именно — мне? Вспыхнул вопрос этот и даже спать не могу. Бывало устанешь за день, как лошадь на пашне, а — ляжешь спать и думаешь, открыв глаза: почему мне удача? Конечно — способности у меня, богомолен я, не глуп, скромн, трезв. Однако-же: вижу людей многим

низме вдруг выступил... сентиментальной душевной испариной, стал резонерством; сентиментальное все, как известно, имеет изнанку. Изнанка сентиментального человека есть злость; и эта злость обнаружилась в гуманизме Ивана Ивановича, тучного либерального деятеля, когда лопнули трубы; многие были гуманны — до этого крупного факта в их жизни; идеализм устремлений у многих был благодушием от теплой трубы и удобного кресла; и в указание на это условие существования либерала был прав социализм: гуманизм был как часто овечьей личиной, таившей волчьию злость; происхождение многих злостей — незнание и неумение с чем либо справиться, переложение своих недостатков во вне; недостаток сознания крылся под общою формою лозунгов; общие лозунги «*либеральной гуманности*» и борьба с всем «*данним*», индивидуальным, конкретным есть падение высот гуманизма, приподымавшего Чело Века в любом человеке по своему; не было честности в брошенных лозунгах «*общегуманный*», «*сентиментально-гуманный*» и обнаруживших злость и зависимость от состояния труб; они лопнули; и — озлели вдруг «*честные, добрые, либеральные люди*»; и идеально настроенный стал петь о мести.

Такой «*гуманизм*» никуда не годится; признаться скатать: не годились никуда либеральные «*лозунги*» многих присяжных поверенных.

Лопнули трубы!

Иваны Ивановичи вышли на улицу из своей «*хаты с краю*» и — стали в хвосты; перед ними возник неожиданно — имрек, Иван: он — «*сохвостник*», представьте же: он — философ: ядрено ругается, но меж ругательств высказывает философские убеждения; появляются никогда не бывавшие факты — растут, как грибы; и приходится ныне Ивану Ивановичу просто ломать себе голову над вопросом о том, как откликнулся бы Мельгунов на все это; так жаль, что молчал Мельгунов это время (стою за свободу

печати); Ивану Ивановичу, жившему философией Мельгунова года, не мешало бы самому стать философом, чтоб Иваны-сохвостники, не убоившиеся «*метафизики*», не подумали бы, что Иван Иванович глуп.

Так приходится распроститься с дедукцией «*мельгуновского*» лозунга, и остаться с индукцией из меньшего количества фактов, осознанных не «*вообще*», — в данном случае.

10

То же самое переживали: писатели, профессора, публицисты в России; писатель до этого времени обсеменял в неизвестную массу — полезным и добрым; и шествовал... в кресле своем, приглашал за собою; читатель — почитывал, почитал; был — читателем-почитателем он; было ясно, спокойно, решенно на веки-веков.

Где журнал, почитатель-читатель? Закрыты журналы; читатели-почитатели, рассеянные в пространствах — отрезаны (транспорт расстроен: и транспортировать грузы идей невозможно; ходи на ногах, не на кресле, и обходи почитателей не символическим способом); пренеспокойное положение; легко поучать из своей «*хаты с краю*» покорные и неизвестные тысячи; в студии, где собралось 25 беспокойных Иванов, которым ничто не известно, — на «*как известно*» не выедешь; им докажи как — «*как именно*»: необразованные субъекты, неудосужившиеся почитать Мельгунова и Джанниева! Приходится вдруг самому стать учителем жизни: не «*мельгунить*»; и вопросами студии, вопросами жизни, осыпан вчерашний писатель, нашедший из кресла когда-то — «*все, все*»; и теперь потерявший «*все-все*» — вместе с креслом.

11

Особенность современной аудитории русской есть критика догматизма, где все «*предпоследнее*», «*так сказать*»

лучше меня, но им не везет fortuna. Это — вполне ясно. Думал, знаете, думал: как-же ты, Господи, допускаешь такое? Живу я точно ягода в сахарном варенье, а, однако, кто-же меня съест? И все у меня на уме, однако, это. Чувствую, что в удачной жизни моей скрыта какая-то хитрость, как будто заманивают меня приятностями, к чему манят? Мысленно спрашиваю: куда, Господи, ведешь? Молчит господин Бог... Молчит.

— Тогда решил я: дай-ка попробую бесчестно жить, что будет? И взял из кассы денег четыреста двадцать рублей, в том расчете, что за кражу свыше трех сот в Окружном суде судят. Хорошо. Взял. Конечно — хватились, управляющий Филипп Карлович, добрейший человек спрашивает: где? Не знаю. А сделано было так, что кроме меня, подумать не на кого. Вижу: Филипп Карлович весьма смущен и тоскует. Ну, думаю, зачем же мучить хорошего человека? Говорю ему: деньги украл я. Не верит, шутишь, кричит. Однако — поверил, доложил барыне, та даже испугалась: что с тобой, Степан? Судите, говорю. Рассердилась она, покраснела, рвет пальцами оборку кофты: «Судить, говорит, я не стану, но ты так нахально держишься, что, сам согласишься». Я согласился и ушел от них, уехал в Москву, а деньги возвратил почтой, от чужего имени, не от своего...

Я спросил старика:

— Зачем-же вы это сделали? Пострадать захотелось?

Удивленно подняв густые, колючие брови, он усмехнулся в бороду и вытряс из нея усмешку, ударами чисто вымытой ладони по курчавым волосам бороды.

— Ну, нет, конечно, — зачем-же мне страдать? Я — любитель спокойной жизни. Нет, — просто любопытство одолело меня: почему мне удача? А, может, осторож-

ность заставила: испытать хотел — насколько прочны удачи мои? Вообще же — молодость, хе-х. Играет человек сам собой. Хотя, однако, тут не чистая игра, т. е. не одна чистая игра. Необыкновенно жил: в холе и ласке, подобно комнатной собачке. Люди вокруг морщатся, охают, а я — осужден господином Богом на спокойную жизнь до конца дней, как видно. Всем людям — разные испытания, а мне — ничего, как будто я не достоин обыкновенного, человеческого. Вот и все, полагаю....

— Н-ну-с, лежу в Москве, в гостиннице, в номере, думаю: другого-бы за рубль под суд отдали, а мне и за четыреста рублей — ничего. Даже смешно стало: вот она, неудача. Нет, думаю, погоди, Степан! Присматриваюсь к людям; гостинница грязенькая, народ в ней темный, картежники, актеры, мятые бабенки. А один выдавал себя за повара, однако, оказался, по ремеслу, ворм. Завел я с ним знакомство: как живете, спрашиваю? «Да, так» — говорит — «когда — густо, когда — пусто, когда — нет ничего». Разговорились. «Есть, — говорит, — у меня в виду одно дельце, но — требуется хороший инструмент, а инструмент дорогой, денег-же у меня нету». Ага, думаю, вот оно! Спрашиваю его: разрушения чужой жизни не будет? Он даже обиделся: «Что вы», шипит, «мне своя башка очень дорогая!» Н-ну-с, дал я ему денег на инструменты и чтобы, в награду мне, взял он меня с собой на грабеж. Поломался он, поартачился, однако — взял. Занятие его не понравилось мне, как будто ходили мы в гости, а хозяев не застали дома. Отперла нам дверь черномазенькая девица, как видно — знакомая его, он ее сейчас-же ловко связал по рукам, по ногам и начал ковырять какой-то шкаф, ковыряет, а сам тихонько посвистывает. Простота. Как пришли, так и

ушли, не испытав ни малого беспокойства. Человек этот сейчас-же скрылся из Москвы, а я живу один, дурак дураком. Так? думаю. Опять удача? И смешно мне, и злюсь на все. В озлоблении на себя и на господина Бога, который, ведь, должен был видеть все, что я делаю. Пошел я в театр, сижу на балконе, а, через человека от меня, сидит эта черномазенькая девица, смотрит на сцену и слезы платочкомтирает. В перерыве комедии подошел я к ней: кажется знакомы, говорю. Ну, она, однако, не отвечает. Напомнил я ей кое что, — «Ах, говорит, типе, пожалуйста». Спрашиваю: от какой печали слезы льете? «Принца» — говорит, — «жалко!» — это на сцене принц какой-то извивался. После театра пошла она со мной в трактир, а из трактира увел я ее к себе в номер, и стали мы жить вместе, вроде любовников. Она, принимая меня за настоящего вора, спрашивает: «Дел нету»? Дел у меня нет, говорю. «Хорошо, я тебя познакомлю с компанией». Познакомила. Оказалось, что хотя и воры, однако, ребята хорошие. Особенно — один, Котя Башмаков, удивительное создание обстоятельств природы, словно ребенок, такая ясная, веселая душа. Очень я подружился с ним. И сознаюсь ему: мне собственно, ничего не надо, а только из любопытства вором стал. А он говорит: «Я тоже от живости души, очень, говорит, много хорошего на земле и приятно жить. Мне, говорит, иной раз хочется на улице крикнуть: братцы, ловите меня, я есть вор!» Забавная личность, но, в скорости, спрыгнув на ходу поезда, сломал он себе руку, а потом приключилась ему чахотка, уехал в степь, кумыс пить. Валандался я с этой компанией, — трое было их, — четырнадцать месяцев, воровали мы по квартирам и в поездах, и ожидал я, что, вот, завтра случится необыкновенное, страшное,

однако, все сходило с рук вполне благополучно. Голова компании Михайло Петрович Борохов, очень почтенный человек и приметный умница однажды говорит: — «Это нам с той поры фортуна повезла, как пристал к нам Степан». Опаматовали меня его слова, воротился я от рассеянной жизни, к себе самому, задумался: что-же теперь? Человека убить мне, что-ли? И мыслишка эта воткнулась в сердце занозой, воткнулась, сидит, нарывает. Ночью сяду на койке, суну руки в колени и думаю: как же это так, Господи Бог? Стало быть вам все равно, как я вижу? Ведь, вот, собираюсь я человека убить, и подобного мне, и очень просто могу убить. Как-же это? Молчит господин Бог...

Старик глубоко вздохнул и стал намазывать ложкой варенье на хлеб.

— Гордый вы человек, — сказал я.

Снова приподняв тяжелые, мохнатые брови, он пристально посмотрел на меня фарфоровыми глазами, теперь они показались мне особенно пусты и жестко светлы.

— Нет, зачем-же! — ответил он, заботливо расправляя бороду, чтоб не испачкать ее вареньем. — Человеку гордиться не чем, как я полагаю.

И, аккуратно, отправляя в свой волосатый рот маленькие кусочки хлеба, он продолжал все также, в полголоса, говоря как бы о человеке чужом, мало приятном ему:

— Так — то-с, молчит господин Бог. А тут сразу и подсунулся мне соблазнительный случай: залезли мы ночью на дачу, действуем, — вдруг откуда-то, в темноте, сонный голосок: «Дядя, это ты?» Товарищ мой выныгнул на балкон, а я присмотрел, — вижу: дверь, а за нею кто-то возится. Приоткрыл дверь, а там, в уголку, на кровати лежит мальченко лет двенадцати и головку ру-

ками скребет, длинно-волосый такой. И снова спрашивает: «Дядя?» Смотрю я, на него, а у меня руки, ноги дрожат, сердце замирает; вот, думаю, случай, ну-ко, Степан, ну-ко! Да во время спохватился: нет, думаю, на это я не пойду, нет! Может ты меня, господин Бог, всеми удачами к этому греху — к убийству невинного — и заманивал? К этой яме и вел, спокойной-то тропой? Нет, не-ет... И так эта догадка осердила меня, что даже не помню, каким ходом я ушел и очутился в лесу.

Сизу под деревом, рядом со мною товарищ папироску курит, ругается тихонько. Дождик кропит нас, по лесу — звонкий шум, а перед глазами у меня, в темноте, мальченко этот полусонный, беззащитный, вполне в моих руках. Минутка и — нет мальчика! Хе-х, думаю...

— Это совсем опарашило меня, с этим я уж никак не мог согласиться и даже сам себя беззащитным мальчиком чувствую. Вы подумайте-ко пристально: вот вы сидите и не можете знать, что я через минуту начну делать и не знаю этого про вас. Вдруг, — ведь разное приходит в голову, — вдруг — вы меня, а то — я вас...а? Очень соблазняет эта взаимная беззащитность. И — вообще — кто руководит нами? То-то-с...

— Утром пришел я в город и прямо к судебному следователю, господину Святухину: извольте меня арестовать, ваше благородие, как я есть вор. Оказался он очень хорошим барином, ласковый, худощавый такой, только — глуповат конечно. «Почему же» — спрашивает — «сознаетесь вы, с товарищами поссорились, добычу не поделили?» У меня, — говорю — товарищей не было, работал один. И, сглупив, рассказал ему подробно, вот как вам говорю всю историю моего недоразумения и как господин Бог злобно играл со мной.

Перебив его речь, я спросил:

— Но, почему-же, Степан Ильич, Бог, а не Дьявол? Старик уверенно и спокойно объяснил:

— Дьявола — нету, Дьявол — это выдумка хитрого разума, это люди для оправдания гнусности своей выдумали, а также и в пользу Бога, чтобы ему ущерба не нанести. Есть только Бог и человек, — больше ничего. И все подобное Дьяволу, примерно: Иуда, Каин, царь Иван Грозный это тоже людские выдумки, это придумано для того ради, чтобы грехи и пакости множеств нагрузить на одно лицо. Уж — поверьте... Хе-х, запутались мы, жулики, и все выдумываем что-нибудь хуже нас — Дьявола и прочее. Плохи, дескать, да — не очень, есть и похуже...

— Так, значит, следовательно. Картинки у него на стенах повешены и кругом домашний уют образованного человека. Лицо — доброе. Однако — доброе лицо ничего не значит, под этой вывеской, частенько, очень дрянным товаром торгуют. Говорю я ему, а над головой у меня кто-то на рояли барабанит и так неприятно было слышать это легкомыслие. Хе-х, думаю, господин Бог, как это у Вас все нехорошо запутано! Говорил я долго, следовательно слушал меня как старушка попа в церкви, однако — ничего не понял. «Вас, — говорит, — конечно, надобно судить, но я ручаюсь, что оправдают вас, если вы все, мне сказанное и судьям скажете. И впереди — говорит — у вас не тюрьма, а, по моему, монастырь!» Обидно стало мне. Ничего, говорю, вы не поняли и больше разговаривать не желаю. Ну, отправил он меня в полицию, а там пристали ко мне сыщики: мы, говорят, знаем, что кражи, в которых ты сознался, не одним тобою сделаны, скажи нам где товарищи? Затем — иди к нам

на службу. И, конечно, отказал им в этом, а они меня — бить. Голодом морили. Тут я, действительно, протерпел несколько. Потом — суд. Суд очень не понравился мне, говорить я с ним не пожелал. Рассердились судьи, закатали меня в тюрьму. Сижу в тюрьме, вокруг меня люди подобные червям и зверям; выбрали они меня старостой. Хе-х, думаю, плохо все это, господин Бог, очень плохо! Думаю и вижу: как ты не живи, человек, никто, кроме тебя, жизнью не руководит! Ну, о тюрьме, как о бородавке, ничего хорошего не скажешь. Вышел из тюрьмы, поглядел туда, сюда, пошатался по земле, стал работать на чугунном заводе, — бросил. Жарко. К тому же чугун, железо и всякий металл не люблю я — от него исходит вся тяжесть жизни, тяжесть, грязь и всякая ржавчина. Без металлов человек был-бы проще, жил легче. Совался я в разные дела, даже сортиры чистил, — признаться, тянуло меня на самую грязную работу. Потом — надумал: дай-ко пойду в баньщики! И вот уж семнадцать лет мою людей, да стараюсь ничем не тревожить их. В тревогах наших толку мало, нет в них толку, если серьезно поглядеть! Живу без Бога. Людей жалко, по причине оброшенности их и жить мне — скушновато...

А н д р е й Б е л ы й

О „РОССИИ“ В РОССИИ И О „РОССИИ“ В БЕРЛИНЕ

1

Писать о «России» в России и о «России» в Берлине мне трудно. Я год говорил о России, писал о России: культура в России теперешней — есть; отвечали: «Оставьте: какая культура в России! России же нет: большевистская выдумка — «есть».

Создалось впечатление: я — нервно-больной, как и все, приезжающие из России; а тот оптимизм, что с собою привозят «российские» русские в русский Берлин, — экзальтация, нервы, иль — хуже: чудовищное извращение, подобное мазохизму; били-били-били; и — выбили независимость, и «прибили» болезнь.

Я видел по тону, которым слова мои принимались, — догадку; догадка вставала у *добрых* людей; другие, не добрые, блюстители бодрости русского духа на западе, выражались решительно; это — прием! Разложение эмиграции: и внесение яда в среду ее... Нет России вне Праги, Берлина, Парижа, Белграда, Софии... Россия — в России? Вздор: нет ее: там лишь рабы; на верхах — нет «России» в России. Слова о культуре России — прием, агитация, более гибельная, чем проповедь коммунизма.

Так мне отвечали одни. В другом лагере, мне отвечали другими словами: говорили, что я зачеркнул свои собственные воззрения на культуру России, мной высказанные на лекции «Культура современной России», которую близкие к смене вех восприняли в их смысле; и так испугали, что с этой поры я стараюсь не высказывать своих домыслов о России — в «России», сидящей в Берлине.

Оба лагеря в очень нежном согласии; отрицают Россию в России они; недоверие к ней выражается — здесь; выражается — там: неверие — в мысль народа и в силу творчества снизу; одни выражают себя приблизительно так: «Вот все честное, все продуктивное — выслано, в тюрьмах, и те, что живут не в тюрьме, не в Берлине, не в Праге суть стадо баранов, гонимое гуртовщиками. В представлении других возникает Россия не сущая, а декретированная *Ресефсером*; культура России — культура правительства, сотворяющего из первозданного хаоса: вселенную ценностей.

Тщетно пытаешься объяснить: есть Россия; она — вырастает; и — мыслит; отсутствие ежемесячно подаваемой нудной журнальной трухи оживило сознание; мыслят теперь по Ивановски, Сидоровски, — не по Горнфельду и Кранихфельду; теперь функционируют мысли Иванова; он — не Иванов стотысячный, а Иванов такой *то*: или он не читает Потебню; или, он читает Потебню, а не Горнфельда: первоисточники остались; посредников — нет.

И пытаешься вновь объяснить, что проэкты «*Тео*» (в нем работал и я) — не культура России теперешней; эти проэкты театра ХХХ века уснули спокойнейшим сном: под сукном; будучи в 1919 году в Карачеве удостоверился я, что о «*Тео*» ничего не известно в Карачеве; но собрана библиотека там; книги можно брать на-дом; и книги читают: усердно; и Фойгта («История раннего итальянского

Возрождения) и Моммсена; факт остается: в *Карачеве Моммсен читается*.

Увы, понял ненужность теперешних выступлений в Берлине. Работа культурная здесь представляется в данных условиях вряд ли возможной мне; факт восприятия это — не более. Знаю: в Берлине так много учащихся; молодежь современной России (интеллигентская и рабочая) мне понятна, известна; я был с ней в контакте; никто мне не ставил вопросов о степени коммунистичности или белогвардейства в моих убеждениях; и не казался чужим и оторванным я; здесь, в Берлине, я чувствую часто чужим себя, непонятым, ненужным; и молодежи — не знаю; настроение русской публики кажется мне «*курфюрстендаммным*» каким то; а лекции кажутся отнимающими драгоценное «*кафе-ландграфное*», «*прагердильное*» время; аудитория моя мне казалась пришедшей ошибочно; она шла на Тэффи, или — на Аверченко: я же шел — на обычную встречу. О, сколько раз встреча с публикой современной России переходила в знакомство, в работу, в кружки; лучше бы было, еслиб с публикой берлинских моих лекций, договорившись заранее в том, что прочтение лекции — вздор, приступили бы прямо к совместному кафейному посидению мы, к «созерцанию» фокстрота, которому обучиться здесь надо («не проживешь без фокстрота»).

Моральное соучастие публики в теме доклада меняет доклад; он — горячая вспышка горячего материала; а материал — отсырел: он — коптит, не горит; вспышки пламени, — их ощущал я сколько раз в холодной России; в отопленной аудитории Ложенхауза я ощущал только копоть: горячего материала и не было.

Так отпала охота к общению с аудиторией; к организации материала сознания в мысли и в выводы.

Не в выводах дело, а — в фактах; десятилетия — выводили; и выводили интеллигенцию из чувства действительности; вместо твердого здания жизни России выстраивали — «леса», или — конструкции ложных прогнозов по всем правилам журналистики: по цитатам, по пунктам, по цифрам, ведя наши мысли до высшего пункта — войны, чтоб низвергнуться пунктами этими с высшего пункта войны за гуманность в пучину — «проливов».

Общественно-политическая литература России истекшего века — прогноз, убивающий факты; факт — то, что дано, что — должно быть; смешали Россию с «должнобытием»; но действительность повалила «должнобытие»; «должнобытийственные» витии теперь восклицают: «Россия — в «должно быть»; она — за границей»!

Должнобытие — должнобытие; «должно быть», прогноз — осуществляется: в зарубежном сознании; и — «Русская Мысль» облачается из Софии в обложку московского цвета; и марки берлинских издательств — звонят нам кремлевскими колоколами; и — галопируют «Медные Всадники»: на заглавном листе.

В России обрушенных выводов, рухнувшего «должно быть» — отсутствие выводов; мало прогнозов; но — вынырнул факт: да, огромные горизонты совсем не предвиденных фактов; их надо описывать; надо учиться описывать; ведь умелое описание — переход к объяснению; и для умелого объяснения надо уметь от поспешного объяснения отказаться; но «должнобытие» журнализма, страдающего немощию прогнозов, и недержанием вывода, размахнулось на обнажение факта в России (незарубежной): и — факта России до... «должнобытия» фактической мысли, не строящей выводов, но озабоченной организацией фактов в индукцию *целого*.

Схемы прогнозов трещат по всем швам, распираясь фактами самосознания масс, — фактом роста России,

освобождаемой от догматических вех и лесов; «должнобытие» остается: магически заговаривать факты: и — да: говорят, говорят, — прогнозируют до... «правосознания» Ильина, до «антихристового товарища» Н. А. Бердяева.

Треснули ныне «леса», потому что постройка под ними ведь оказалась не кубом абстракций, а неучитанным многогранником, неотливаемым в благополучие *a priori*.

Что делать с «лесами»? С почтенною «Русскою Мыслью», обслуживавшей арбатско-пречистенские районы Москвы, и с живыми мощами «Богатства» российского, с «Божьим Миром», творимым марксистами, с «Русскими Ведомостями» из Чернышевского Переуллка, — с «ведомостями», не давшими во-время «ведомости» состояния сознания народа в эпоху войны (тем доведшие его до несчастий).

Что делать с лесами?

Казалось бы, — надо убрать их; и выстроить новые, сообразуясь с контурами России; и поучиться России; но нет: и возводят вторично леса: из Берлина, Парижа (откуда еще)?

Тут — отличие в тоне отношении к России — в России и здесь. Споры нет ведь: и «русские» русские строят прогнозы; и — делают выводы; но прогнозы и выводы русских в России — прогнозы и выводы дня, недели; не легкомыслие вовсе диктует текучую представимость мысли, а умудренная опытом осторожность в суждениях, опрокинутый раз навсегда догматизм; непреложность прогноза сменилась отношением к нему, как к рабочей гипотезе, годной до нового факта, ее опрокидывающей; так «должно быть», сменилось моральной фанта-

зией; единообразность в суждении (все читатели ведомости, имя рек, — полагают по этому поводу так-то, по этому поводу — так-то) — сменилась восприятием мелодии времени, допускающей не одно объяснение текста; само объяснение сменилось описанием восприятия факта; и — зарисовкою материала сознания; и объяснения, будучи не похожи в словах, объединены восприятием *темы* России, звучащей, как музыка.

Много раз наблюдал, как «российские» русские, за границей наслушавшись разных прогнозов, при всем их партийном несходстве таинственно обнаруживают основное, не покрываемое абстрактными объяснениями сходство, прислушиваясь к *«мелодии»* современной, российской России; и признаются они: то, что *«слышат»* они — не понять только логикой:

Умом России не понять:

В Россию можно только верить.

И вера жива в современной России, диктуя ту гибкость, которая не боится танцующей смены выводов, кажущейся отсюда безмыслием вовсе; и — да: представляемость лозунга, — кончилась; обнаружился: кризис мысли недавних журналов; и — обнаружилось: рождение новой мысли текучей и образно вспыхнувшей.

К этой мысли а priori не придешь: ее — надо выстрадать.

Да: изменились устремления мысли России; оне — до конца не осознаны, но они — расползаются: захватывают огромные площади, площади масс.

Дайте прежнему интеллигенту две книги: и «Заратустру», и «Бокля»; рука бы его протянулась к Боклю; теперь же рука протянулась бы к *«Заратустре»*; теперешнему русскому в *«непонятном»* понятно — утонченное; утонченность вкусовая народа — утонченнее читателей толстых *«Богатств»*; это факт, мной проверенный; дайте пролетарским поэтам орудия техники стиля, — возникнут

тончайшие ритмы стиха, как у Казина. Не к Якубовичу-Мельшину тянет его.

Можно ль было лет десять назад читать лекцию: «Метаморфоза растений у Гете»? Нельзя: ведь никто бы не пошел. В 21 году я присутствовал на лекции на тему *«естествознание Гете»*. Не думаю, чтобы такая возникла бы на Курфюрстендаме: не думаю; и — *«сумлеваюся штоп»*.

Невозможно отчетливо выразить в тезисе восприятие разницы в русском вчерашнего дня и в сегодняшнем русском. Все кажется что *«вчерашний»* фланирует на Тауэнциентштрассе, читает издания Ольги Дьяковой, пугаясь афористической мысли; его речь изобилует вовсе не русскими выражениями: *«констатирует»*; *«представляет из себя»* и боится ударного, крепкого слова она; его поэт — Черный.

А русский в России — *«рабфачит»*, употребляя обилие сокращений, но меж *«рабфаками»* метко стреляет неологизмами он; не удивляется «дикости» стиля литературы новейшей, не *«констатирует»*, и *«представляет собою»* ценителя образных афоризмов; да, — вот еще: естественно тяготеет он к философии; перипатетик, — он философствует на ходу, но *«не походя»*; «Так говорит Заратустра», хотя и невятно, но все же ему говорит; не говорит Бокль никак, хотя — внятн. Я бы в случайной импрессии так выразил стиль встречаемого русского на Невском Проспекте (с тем русским мы встретились); и так бы выразил я впечатление от курфюрстендамного русского; встречу мы оттолкнулись: (не по дороге мне с ним); я — грешу афоризмами, неологизмами; и — люблю философствовать.

Русский москвич, петербуржец таит под молчанием энтузиазм; под коростом догмата публициста берлинского — скорбь.

Пишут об ужасах современной России; есть ужасы, — да: утекает сырье, нет пособий учебных, нет школы (развалена); или друг друга; быть может, едят еще где-нибудь.

Вывод?

России грозит вырождение.

Нет.

Почему? Потому, что все то, о чем пишут, все — правильно: и — неправильно все таки: очень много замолчено; обо многом не пишут... N.N. заикается; у него — бородавка на носе; картина — одна; у N.N. великоленные, осмысленные глаза: N.N. — умница; и — картина другая; где целое рассекается на части, там целого нет в правде частностей; и там в правде — неправда; такая же неправда погребена в сменовеховской правде; и — в правде «Руля». Здесь и там — верный выбор штрихов; и прибавить к ним нечего; и неправда сложенья штрихов, или неправда ранкурса; светлые стороны (сколько, о сколько их!) спрятаны в тень; или темные стороны спрятаны; так создается правдивая ложь и она — хуже лжи открытой.

Да, светлые стороны современной России — в тени; они скрыты, во первых, — намеренно; и во вторых, — по незнанию (правда о пальмах Экватора — миф эскимоса); в третьих: о светлом труднее писать; это знают художники: Гоголь ведь тома второго поэмы своей нам не дал (его съел); первый том его — «Мертвые души» России; «живые» же — не поддались описанию; «мертвое» — легче описывать: стало, неподвижно оно; все «живое» — в движении; и не легко поддается учету. Россия «смердящая» оглашена на весь мир, а Россия «живая» — почти не известна; и те, кто ее осязал, забывают о ней (психология заурядного человека: запомнить обиды страдания, перенесенные ужасы; и — позабыть о добре, тебе сделанном).

Хочется обратиться к писателям, к публицистам, решительно утверждающим падение современной России с вопросом: «Да, да: вы страдали, почти что не умерли. Но — почему вы не умерли? Только ли случай? Не умерли в трудный момент, потому что откуда-то (вспомните) протянулась рука: рука помощи; кто-то последним куском поделился; и — не рассчитывал на отдачу; вам помогали, поддерживали такие же, как и вы бедняки; пошлите же в складках воспоминания о ваших страданиях; вы найдете там воспоминания о поддержке и о сияющей, бескорыстной любви; в складках памяти засияет пролет неprisущего неба любви; и — зари новой жизни».

Немногие помнят зарю; тени — помнятся.

Стало быть: есть какая то светлая линия в жизни России, есть люди, которые в голоде, в холоде не потеряли друг друга; и братство возникло, которого не было; не было прежде ведь повода для проявления братства: все жили «своими дождями»; и — под свободой совести разумели естественно «наплеватель на других»; и — «моя хата с краю»; воистину: под свободой совести часто таилась — свобода от совести: совесть — со-вестие, или принятие вестей друг о друге; она — круговая порука душевных движений, беспроволочный телеграф организованных душ. Где он был? В пятаке, подаваемом нищему с самодовольной нотацией («Почему, брат, — не трудишься? Я вот — тружусь: и имею свободный пятак!»)?

Было время в России, когда все стояли на улицах, — нищими; кто-то всегда подавал, посещал, накрывал наготу и делился порою последним куском; если бы не было добрых людей, — я бы умер; и если бы не видел, сошел бы с ума; так скажите: откуда во мне высекался «восторг» из страдания и к кому «благодарность» во мне за тяжелые годы нужды? Очень часто к случайно пришедшим, чужим, не обязанным за меня хлопотать и меня выручать;

когда вырвался я из тяжелой России в благословенные палестины культуры, здесь именно я и наткнулся на жесткость по отношению к себе со стороны прежде «близких»; разбился о черствость, о мертвость сердец — здесь, не в черствой, не в мертвой России, меня пронизавшей энтузиазмом; и — жизненным пафосом.

Переоценкою отношений к «далеким» и «близким» стоит мне Россия последнего времени: сдвигом сознания.

6

Прохождение через строй трудных лет в современной России естественно заряжает энтузиазмом и верою в человека, в огонь Прометея, зажженный в груди (вы не думайте, что я слепой, что не видел я «зверя», взревшего под человеческой оболочкою: видел я «зверя»); и не естественно, если звериной отметкою мести и крови за кровь эти годы отметятся в человеческих душах; да много звериного всплыло наружу; но, именно, всплыло — откуда-то; где то все это доселе таилось; под оболочкой — чего? Я не раз наблюдал в прежних годах животное выдыханье из форточек обывательской «хаты с краю», окрашенной в цвет заявления: «Здесь живет либерально настроенный человек, голосующий за свободу совести».

В прежних формах тайного зверя в себе было столько же нравственных вшей, сколько их оказалось потом на физическом плане: вши выползли из подсознаний душевного мира, покрыли одежду; о них закричали.

7

Противоречия, очень кричащие, всплыли наружу теперь в современной России; и — вот одно: здесь отчетливо поднялось из «субъекта» безличного — «имрек» (Иван, Петр, Семен); и не в смысле известного «нэпа» — в действительном смысле сознание сдвинулось в сторону конкретного,

частного; отодвинулось — от абстрактного, общего; вместо всякого «вообще» — очень меткий прицел афоризма по поводу «данного случая»; вместо понятия отвлеченного — заярчила метафора; вместо тягостной «констатации» — вынурнули: афоризмы и притчи; и из «субъекта» родился Иван; да не просто Иван, а — такой то Иван: не субъект с «констатацией», — живописующий ядрено и сочно молодчик; и возникает проблема, что лучше: образование с «констатацией», или — необразованная образность.

В том и дело, что образованность с «констатацией» — не образованность собственно; она образованность из журнальных статей; да, да: из вторых она рук, где и Кант познается через статьи Кареева; я никогда не забуду: я был первокурсником; часто бывал у профессора Стороженко; Н. И. Стороженко, узнав о моем устремлении к Канту, воскликнул: «Вы — ничего не поймете; понять ничего невозможно у Канта: прочтите статью Кареева в номере таком то, журнала такого то; там все о Канте рассказано...» Стороженко себя причислял к образованным русским: проваливал произведения Чехова; и тридцать лет — «констатировал»; «констатация» такая — куда привела она? И «констатация» такая годами наводняла Москву громким хором бездарных доцентов, губивших литературу российскую; сам Стороженко раз сделал открытие: провозгласил, что огромный талант, долженствующий обессмертить Россию — родился: Потапенко! Вспоминая различные домыслы Стороженко, сидевшего года на кафедре по истории литературы, — я должен заметить, что очень редко встречал я такую безвкусицу в мнениях, какой шеголял популярный профессор.

Признаюсь: грущу я — погибли иные из ценностей прошлого; рад: вместе с ними погибла унылая «стороженковщина». Нет уж, — Бог с ней, с такой «констатацией», с «образованьем» таким!

Само слово «образование» приобрело иной смысл; «образованный» недавнего прошлого: есть прошедший гимназию, где его забивала грация «сит»-ов и «ил»-ок (латинских); без всякого представления о науке оканчивал он юридический факультет, где питали его всевозможными «casus»-ами; так становился присяжным поверенным он, заручившись «хатою с краю» («свободою совести» для себя); он почитывал «Русскую Мысль» из района Пречистенки; и обслуженный блюдами «прогнозов» и «лозунгов», очень-очень довольный собою — по жизни летел «констатацией» курьерского поезда, пересекая Россию в удобном купе, созерцая ее из окошка, сквозя паровозную копоть, высказывая о ней свое веское, сигарное мнение и ядреное, русское слово его — «констатация». Образование отрывало от образности: метафоры не усваивали желудочки мозга; не откликался никак — «реагировал» лишь; вместо личностей, ликов, он видел кадрили статистических цифр; вместо мира — табличный квадрат; цивилизацию он понимал — не культуру, то есть, безукоризненную манжетку и чистый сапог.

Что такое культура для этого человека? Вычищенные сапоги, рассуждение о Канте и Конте по уважаемому Карсеву, о литературе — по уважаемому Стороженке; культура в исправности, если в исправности канализационные трубы. А философствовать он не любил: «Это, знаете, — всякие там туманы».

И философии жизненной не было: публицистика заменила ее; была каста философов-спецов; они рассуждали о том, что форма формы — не форма, а — норма; а форма формы формы есть то же, что форма формы *).

*) Не фантазирую я: русские поклонники философа Ласка действительно рассуждали об этом в 1910 году.

В софистике утончалась философистика; философистикой занимались в малой дозе; в большой — публицистикой.

Жизненной философии не было. Вдруг она появилась, когда зашатались устои: из трещин рассеившихся стен старой жизни.

Все вдруг изменилось: не чищены сапоги, номер толстого журнала не вышел, нет жвачки для мысли: и стало быть — реже отрывка сознания Мельгуновыми; «всем известно, что...», «Мельгунов — констатирует»; из «констатаций» таких состояла ведь «оригинальная» интеллигентная мысль очень многих присяжных поверенных; вот лопнули трубы; вот — поезда не везут: нет и общего взгляда, вагонного взгляда «от финских хладных скал до пламенной Коллиды»; не знаешь, что происходит в соседней губернии.

Я — оговариваюсь; меня могут превратно понять; не стою я за то, чтобы лопались трубы; побольше бы труб; и побольше — манишек; и — ваксы сапожной; и — прочих комфорта; но от комфорта зависеть, и только молиться комфорту, не овладев им, — нельзя; овладенье комфортом, владенье комфортом, — в овладении теоретическим принципом знания построенья вещей: в теоретическом знании, ставшем конкретным; конкретного знания не было у насадителей «принципов» жизни; и больше от этого знания было у скромных интеллигентных работников, строивших самое существование России в ужасных условиях: земский статистик, агроном и врач — вот кто был всех нужней: вот кто истинно прилагал принцип к жизни, а публицист и присяжный поверенный, пишущие в журналах, произносящие «лозунги» и «гуманных», и «либеральных» идей не по Петрарке, не по Эразму, — Бог с ними; под «гуманизмом» ей-ей разумели они не огонь Возрождения; организм Возрождения, утучненный давно отложением «либерального» жира, обуржуазился; порыв духа борцов за права Человека в утучненном орга-

низме вдруг выступил... сентиментальной душевной испариной, стал резонерством; сентиментальное все, как известно, имеет изнанку. Изнанка сентиментального человека есть злость; и эта злость обнаружилась в гуманизме Ивана Ивановича, тучного либерального деятеля, когда лопнули трубы; многие были гуманны — до этого крупного факта в их жизни; идеализм устремлений у многих был благодушием от теплой трубы и удобного кресла; и в указание на это условие существования либерала был прав социализм: гуманизм был как часто овечьей личиной, таившей волчьию злость; происхождение многих злостей — незнание и неумение с чем либо справиться, переложение своих недостатков во вне; недостаток сознания крылся под общию формою лозунгов; общие лозунги «*либеральной гуманности*» и борьба с всем «*данным*», индивидуальным, конкретным есть падение высот гуманизма, приподымавшего Чело Века в любом человеке по своему; не было честности в брошенных лозунгах «*общегуманный*», «*сентиментально-гуманный*» и обнаруживших злость и зависимость от состояния труб; они лопнули; и — озлели вдруг «*честные, добрые, либеральные люди*»; и идеально настроенный стал петь о мести.

Такой «*гуманизм*» никуда не годится; признаться скзать: не годились никуда либеральные «*лозунги*» многих присяжных поверенных.

Лопнули трубы!

Иваны Ивановичи вышли на улицу из своей «*хаты с краю*» и — стали в хвосты; перед ними возник неожиданно — имрек, Иван: он — «*сохвостник*», представьте же: он — философ: ядрено ругается, но меж ругательств высказывает философские убеждения; появляются никогда не бывавшие факты — растут, как грибы; и приходится ныне Ивану Ивановичу просто ломать себе голову над вопросом о том, как откликнулся бы Мельгунов на все это; так жаль, что молчал Мельгунов это время (стою за свободу

печати); Ивану Ивановичу, жившему философией Мельгунова года, не мешало бы самому стать философом, чтоб Иваны-сохвостники, не убоившиеся «*метафизики*», не подумали бы, что Иван Иванович глуп.

Так приходится распроститься с дедукцией «*мельгуновского*» лозунга, и остаться с индукцией из меньшего количества фактов, осознанных не «*вообще*», — в данном случае.

10

То же самое переживали: писатели, профессора, публицисты в России; писатель до этого времени обсеменял в неизвестную массу — полезным и добрым; и шествовал... в кресле своем, приглашал за собою; читатель — почитывал, почитал; был — читателем-почитателем он; было ясно, спокойно, решенно на веки-веков.

Где журнал, почитатель-читатель? Закрыты журналы; читатели-почитатели, рассеянные в пространствах — отрезаны (транспорт расстроен: и транспортировать грузы идей невозможно; ходи на ногах, не на кресле, и обходи почитателей не символическим способом); пренеспокойное положение; легко поучать из своей «*хаты с краю*» покорные и неизвестные тысячи; в студии, где собралось 25 беспокойных Иванов, которым ничто не известно, — на «*как известно*» не выедешь; им докажи как — «*как именно*»: необразованные субъекты, неудосужившиеся почитать Мельгунова и Джанниева! Приходится вдруг самому стать учителем жизни: не «*мельгунить*»; и вопросами студии, вопросами жизни, осыпан вчерашний писатель, нашедший из кресла когда-то — «*все, все*»; и теперь потерявший «*все-все*» — вместе с креслом.

11

Особенность современной аудитории русской есть критика догматизма, где все «*предпоследнее*», «*так сказать*»

и «вообще говоря» перед сознанием, вперенным в «последнее», в «не так сказать» смерть, — просто рухнуло; «вообще говоря» — пасовало конфузливо перед единственным «данным случаем»; данный случай, совсем исключительный случай, редчайший в обычное время, стал общим явлением; «общее» показало себя производным «от частного»; обнаружились все условности «общих мест»; обнаружился «субъективизм» объективнейших положений; они разрежали пространства от книжки журнала — такого-то; мнение Чернышевского переулк в Москве называло себя вообще русским мнением.

Писатель поставлен в тупик: оказался писателем «Мира Божьего»... в стакане воды; и читатель сдавал свои мысли в аренду ему; отнял этот читатель: и — даже — *horribile dictu* — впервые «возмыслил» он.

Сколько, якобы «очень культурное», — лопнуло в этом процессе с водопроводной трубой; цена нашей якобы самости, а по правде сказать, мельгунизма, теперь оказалась в культуре сознания нашего равноценным «трубе» (с ней — все лопнуло: лопнул досуг); в лютом холоде наших квартир очень многое в мысли из кресла теперь оказалось лишь паровым отоплением; личности наши в культурных процессах, текущих в них, оказались безличными трубами, проводящими пар чужой топки; да, нас отопляли журналы; и — не топили мы сами; что отопляли — прекрасно; что мы не топили — не важно. Водопроводы полопались; несыкала вода; водопровода же сами построить, увы, не смогли; не сумели и вырыть колодца; и Иваны же — рыли; «субъекты», впервые: хватились воды, своей собственной; или — культуры сознания.

Она оказалась культурой культур; ею движима нынешняя культура России; все прочее, что называли культурой мы, — водопроводные трубы: цивилизация. Цивилизация есть культурный продукт: процесс индивидуального осознания жизни.

Тут сколько лопнули!

А другие обединились в кооперацию, вырабатывающую эту самую культуру культур; почитывающий, почитающий стал с писателем в уровень; многим писателям, быть может, тут впервые предстала возможность из *списывателя* стать *читателем* душ, перед ним возникающих в исключительной обстановке.

Итог?

То, что выплыло в кризисе, стало впервые действительным, действительным «Я», а не «я так сказать», не «субъектом»; субъект этот, бывший доселе «объектом» статистики (потребителем перца и соли «по статистическим данным»), — «субъект» стал: Я — собственно, Имя Рек, Индивидуум.

В индивидууме человек — Чело Века.

12

Самосознание личности родилось в России — в тяжкие годы; рождение — катастрофический акт; оно — гибель утробного мира; иные мертворожденными ведь выходили на свет, а иные впервые рождались для свободы не от человеков (моя хата с краю), а для человеков, для осознания, что человечество — не вереница полей единицы: сложение отношений между Иваном (таким то) с Петром; образование — неотвлечение в единицу статистики от образа вещи, а образ, который всегда есть сложение понятий в сомыслие смысла, или «чувствий» — в «сочувствие», действий — в со-действие; целое, организация коллектива — всегда индивидуум; *организация* есть рождение *организма* из мертвой механики; все ограниченное — индивидуально, конкретно; все механическое — всеобще-мертво и абстрактно; мертвы — «констатации»; живо — ядреное, крепкое, притче-подобное слово.

«Образование» современной России — образование самосознания.

И нет спора: в России писать тяжело (нет бумаги, чернил, типографий); и — все таки: разве не было научных открытий в России (Рождественского, академика Марра, других); и разве в «российской» России — не восходили таланты? Скажу откровенно: таланты и продолжались, и рождались лишь — там: там — творил Сологуб, рос Замятин, рождались Серапионовы братья, явились: Всеволод Иванов, Пильняк; Ходасевич сказался большущим поэтом, сказалась Марина Цветаева; творчески жили: и Гумилев, и Ахматова; достижения Клюева, Маяковского, Пастернака, Есенина, Шкловской и многих других — не Берлин: здесь явились «талантики»: Горький и Ремизов; расцветала фаланга рабочих поэтов: Александровский, В. Казин, Н. Т. Полетаев; и — прочие; русская стихотворная строчка достигла культуры высокой; писались изысканные работы о форме; не только не отставали мы в утончении художественной культуры: мы шли вперед, мимо «логиков» и «прогнозов», насильственно опускающихся ко дну океанов.

Скажите: Вахтангов творил — из Берлина, из Праги? И Станиславский — «бежал за границу» для творчества? Что родила эмиграция? Несколько интересных потенций Дроздова, или Г. Алексеева; два три имени, обещающих, глядь; и — обчелся.

Огромная «констатация» in abstracto и минимальная реализация in concreto — вот деятельность зарубежной России; реализация и никаких «констатаций» — Россия «российская». Констатировать с «вообще говоря», с «так сказать», с «всем известно» и строить «леса» без внутри возводимого здания новой России — легко; очень трудно конкретно работать в России; и — вот же: работают.

Этим — все сказано.

Останавливаю себя: обобщаю уже; пахнет выводом слово мое; обобщать — не хотел; но — хотел бы описывать факты.

Не знаю — их столько; хотя бы — факт жизни моей; в 19 году жил я в комнатке в два — три шага; заставляли пространство постель, столик, комодик да этажерочка; рукописи, бумаги, наброски и схемы, и книги я сваливал на этажерочку грудями (не было места их все разложить по порядку); переселился сюда я к печурке, которая награждала 3 раза в неделю ужасным угаром (я падал как за-мертво); и все таки — холодно было; замазал я форточку; и проветрял свою комнату, открывая дверь в смежные комнаты. Утром бежал в чужих валенках в мерзлый музей собирать материал по истории революционных коллекций: числился в это время «эпизодически» сотрудником Отдела Охраны Памятников; в Музее сидел в теплой шубе и в шапке (в перчатках); и согрелая оледенелые до колен ноги, плясал я, выписывая из «Moniteur» разрушая глаза себе шрифтом (убийственно-мелким); когда уезжал в Петербург, груды выписок я оставил на этажерочке (запереть их не мог: ключа не было); вернулся, и — растащили часть выписок (вероятно, завертывали ими селетки).

В то время читал я курс лекций о самосознании — в помещении частной квартиры.

Москва была вечером — темная, мертвая (грабили); увязали в сугробах, скользили в оледенелостях; после рабочего дня, из хвостов, через тьму и сугробы тащились во мраке усталые слушатели: в комнату с температурой ниже нуля, в освещенную тускло суровую комнату; в шубах сидели и потопатывали ногами (от холоду).

Жил я близ Пресни, в горбатеньком переулке, куда ветер гнал снег от Кудринской Площади; чтоб пробраться в «Москву», надо было войти в снежный пояс; и до колена

провязнуть в снегах; я выпрашивал валенки у кухарки, у Вари (своих не имел); с ее теплой ноги надевал: шел на лекцию, спотыкаясь и падая.

Приходил: аудитория (человек 35) обдавала духовым теплом; я читал — 3 часа, позабыв все на свете: аудитория в ледяном помещении грелась духом; и — грела меня; отогревался от выписок, от Музея, угара и кашля: за всю неделю; и — все таки: курсы прекратили мы; наступили морозы; на лекциях — мозг замерзал.

Аудиторию этих лекций запомнил: мы не случайно с ней встретились; чувствовалось: между нами возникло огромное дело: *культура* возникла; самосознание наше ковалось; со всеми слушателями ныне связан я; лектор и слушатели стали: братьями, сестрами.

В это время господствовал тиф; очень многие — голодали, дрожали в нетопленных помещениях; днем — служили (советская служба), стояли в хвостах; и там, именно, вероятно, вынашивался конкретный вопрос о сознании, смысле; вопрос — гнал на лекции.

А в начале 20 года читал я свой курс «Культура мысли» (во «Дворце Искусств»): та же картина; вернувшись со службы остатками карандашей я раскрашивал схемы, а за стеной у меня громко бредил тифозный; пайка еще не было; мой паек — та духовная радость, которая поддерживала меня: солидарность с аудиторией. И заглавие курса «Культура мысли», конечно, же не случайно; в самосознании слушателей я подслушал ее: зашевелилась впервые, быть может, культура мысли в России: не «так сказать», «вообще говоря» мелгуновская мысль: мысль имрека, Ивана, Петра — зарождалась впервые; мне выпало счастье — быть иногда акушеркой рождаемой мысли.

Что может сравниться с духовною радостью? Голод и холод, угары, бессмысленность службы — ничто.

Философствовал — каждый: над ядом... судьбы; каждый был, хоть на миг, философствующим Сократом: над

ядом; и «чаша с ядом» — кончина Сократа для греков, его современников; и она же — восстание культуры Сократа в веках; вот такое рождение мысли над ядом в России — рождение России; и — возрождение в культуру грядущего; каждый, кто был эти годы немного живым, ощущал удивительное раздвоение сознания при ощущении распада былых материальных удобств; приходилось ему восклицать после стойки в хвостах, после бегства по скользким, не сколотым троттуарам: «Так жить не могу: лучше — смерть». А в другие моменты признание другое естественно вырывалось из сердца: «Да, жить — хорошо!» — «Что хорошего?» — могли бы ответить — «Жить — в голоде, в холоде и под угрозой: повинностей, тифа и вшей».

Тем не менее: воспоминанием о моментах высокой моральной фантазии отдельных сознаний, о свете любви, бескорыстия, братства живут эти годы во мне; ведь вот: — «Жить — не могу: хорошо!»

Парадокс этой фразы есть часто весьма парадокс современной России; я устанавливаю, не раз'ясняя его; он, опять таки, — факт восприятия.

Члены совета одного философского общества (уважаемый критик, почтеннейший теоретик искусства, философ, писатель) устраивали в Петербурге собрания — для членов совета (еженедельно); неделя была переполнена: курсы, кружки, семинарии; по воскресеньям собрания в переполненном зале с упорными прениями, по понедельникам же — коллоквиум для себя; или — ставилась тема (культурная), или кто-нибудь из четырех избирался, как жертва; и на устои его мирозрения делались нападения; разгорался серьезнейший спор: так трепали друг друга, что пух летел; заседания публичные, очень живые, и длящиеся часами, казались скучными перед острейшими, напря-

женнейшими беседами этих четырех уж почтенных энтузиастов; один член совета являлся на эти собрания из Царского, а другой, истощенный докладами, заседаниями и стоянием в хвостах пересиливал одолевавшую слабость; он — молодец на беседах; здесь то именно высекались в сознании темы еще не написанных книг.

16

И вот — тоже факт.

Уже в 8 часов запираются двери в Берлине; и — ни к кому не пойдешь; после дня трудового естественно отдохнуть в разговоре; и отогреться в духовном общении, чтоб запастись электричеством мысли; ведь электричество это рождается между людьми; ведь из кончика пальца не высосешь многого; человеческое общение — лаборатория вопросов культуры.

Естественно, что идешь к представителям русской культуры, к писателям-братьям, к художникам, критикам, собирающимся в какойнибудь «Diele»; ходил в одно «Diele»; там просиживал ряд вечеров; и... и... и... — не припомню я ни одного разговора, которым бы можно мне отогреться; о чем говорилось? О гонорарах, о вкусе мороженого, о текущих малюсеньких дрязгах, о сплетнях; и более — ни о чем; да Сократа над чашей тут не было; обыватель над «шэрри-коблером» посиживал тут и скучал над собой и другими; тут действовал «доппельт-коньяк»; и — обсуждалось: этот вот выпивает до 18 рюмок; тот столько-то трубок выкуривает. С отчаяния отдавался я пиву, чтобы почувствовать что-нибудь, чтоб не воскликнуть в отчаянии.

— «Господа! Да нельзя же: совместное чавканье для сокрытия совместной зевоты. Ну, разойдемся: ну, будем зевать в одиночку; и в одиночку отчавкаем... Человек — не «суб'ект» прагердильных продуктов. От хлеба я сыт и

от пива я пьян, но я... голоден, голоден: дайте мне хлеба духовного! Холодно мне в этом «тепленьком» месте культуры «берлинской России».

Охваченный горестным пылом, вставал из-за русского столика я и бежал к своим немцам: к совсем незнакомым знакомцам из милой пивной, чтобы приветливо улыбнуться такой непосредственной Fräulein Mariechen мне здесь подающей, поговорить с постоянным сидельцем пивной о философии Шопенгауэра; право: у Fräulein Mariechen в пивной я себя ощущал не в прострации; и за столиком русско-берлинской богемы я ощущал — не одиночество даже, не «ноль»: минус ноль, отрицательную величину, иль — внедрение в душу каких то дряннейших субстанций, не только мне не дающих морального импульса к творчеству, но отнимающих у меня очень малые силы, какие в себе ощущаю еще; эти силы — Россия «российская», мне не дававшая перьев, бумаг, возможности тихо работать, но заряжавшая силами.

В «Diele» теперь не хожу: купил чайник, спиртовку; мне чайник, вскипая, бормочет невнятное что-то, но — милое что-то; и из мелодии чайника вынимаю я мысли; вот эти вот строки, воспоминания о российской России навеены: бормотанием чайника.

17

Я приехал в Берлин, переполненный планами; за последние годы жизни в России привык к коллективной работе кружков, к углублению в проблемы культуры, сознания, смысла, в проблемы литературного стиля и ритма; в Берлине, естественно, предполагал я, что — будет работа студийного рода; предупреждали меня: философия что-то не в моде здесь; все таки: я отважился — читать лекции.

Баловала Россия — не по заслугам: вниманием к темам моим; полупустая и неизвестная аудитория встретила: здесь, в Берлине. Обычно, в России через пятнадцать минут разбираешься совершенно конкретно в составе аудитории; по глазам, по малейшим немимическим жестам я знал, кто — со мною, кто — против; кто следует за течением мысли и кто — отстает; приходилось порою на лекции обращаться к отдельным сознаниям, с ними работать, оспаривать; тема всегда преломлялась в составе пришедших; и тут же, естественно, возвращалась обратно, покрытая примечаниями, недоумением, согласием; было всегда притечение к теме — из публики, видоизменяющее мгновенно план целого; лекции превращались в импровизацию; слушатель превращался в со-лектора, контрапункт проведения темы по душам — всегда возникал; иногда себя чувствовал вовсе не лектором я: дирижером сознаний пришедших, организатором хаоса звуков душевных в сложнейший оркестр; коллективное творчество здесь возникало, врываясь в голую схему доклада, цвела ее красками; и обычно, к концу моей лекции аудитория, передо мною сидящая, делалась мне персонально известна; передаю я конкретное восприятие индивидуальных сознаний, передававшихся порознь душе моей; точно меня осеняла мгновенная интуиция: этой вот девушке, тихо застывшей, сказать надо то-то, а этому красноармейцу — вот это: и ткани доклада естественно расплелись этими (синими) нитями слов для товарища-красноармейца и этими (фиолетовыми) для внимающей девушки: лекция — разговором была (от души и к душе), организацией хаоса душ и Индивидуум коллектива. И вместе с тем: чувствовалось, что *сентенцией, популяризацией* публика оскорбилась бы; часто, отвлекшись, забыв всех и все, выговаривал для себя самого, одного, то заветное, что пережилось ночами в уже замерзающей комнате; может быть, что-то невнятное я бормотал; но невнятное именно

делалось *внятным, понятным*: сердца — принимали, сердца переживших то именно, что я выражал. Мои лекции были мне индивидуальной беседой; и *массы* не видел я: индивидуумов, собеседников молчаливых, перед собою — я видел.

Русские лекции — не популярный доклад, а работа, тяжелая, действие вместе: со-действие.

Эту работу в Берлине проделывать невозможно; ничто не течет к тебе; схема доклада не превращается в контрапункт проведения темы по душам; с чем шел, с тем ушел; и со-действия нет; потому что сидящие перед тобою сливаются в впечатление твоим в одну общую массу, не распадающуюся в индивидуум; *«субъект»* голоса — я; аудитория — *«субъект»* уха; не распадается этот субъект на Ивана, Петра; не к Ивану и не к Петру обращаешься, а к *милостивому государю*; и — *«милостивый государь»* невнимателен (он — спешит, может быть, в Prager Diele); и — ты невнимателен; зовок скуки под формою слова; и под формою уха — лишь ощущение перепонки, в которую сострясается воздух. Я лекции бросил.

Посиживал, вероятно, на них образованный Мельгуновым: «О, догматов, догматов, лозунгов, выводов, больше прогнозов и *«вообще»*. Констатируйте, что *«из себя»* представляет — то, это.... Но «констатации» — нет уже: есть описание факта, конкретного данного случая; есть — изучение материалов сознания; и первая статья изучения этого: зарисовка; зарисовать что-нибудь не легко; надо много учиться натуре; «натуры» же в выводах, лозунгах, *«констатациях»* о современной России и нет; нетерпелив *«констатант»*; перепрыгивая через факты, он обобщает, не признавая, что *«общее»* его — в частном случае; и — под углом частной схемы; нет *«общего общего»*, есть лишь

«общее частного», общее — ноль, приставляемый к единице: один — это десять, — два сто; единица же, частное общего, или все-общее (в схеме числа) — образ: Иван в данном случае.

Эту малую истину твердо, конкретно мы знаем теперь: мы ее пострадали; узнали, что мысль не есть «изм», — образование сознания — она; и сознания данного; и мы узнали, что «милостивый государь», или «субъект» есть себя сознающее «я»; у преддверия древнего знания встречали слова: «О, познай себя». Самопознание — отрез от всех «измов» (определений словарных); самопознание — медленная зарисовка «сырья», или сознание и кропотливейшее обложение словами предмета познания, как глиною; здесь в Берлине не делают слепка с натуры; предмет заменен — геометрической схемой: «прогнозом» и «выводом»; зарубежные русские русского самопознания не имеют; под «констатацией», под сплошным «вообще» не имеют они ничего — «в данном случае»; в «данном случае» — бурчанье Бурцевых, подозревающих, — подозревающих что, или кого? Я слышал не раз: «С той поры, как погибла Россия, со времен подлой измены союзникам!» Кому? Пуанкаре? Чепуха начинается: кубический шар, или — квадратная точка.

Из под «общего» лозунга в «данном случае» выглядит — «квадратная точка».

Д-р Ганс Лейзеганг
прив.-доц. Лейпцигского Университета*)

АНТРОПОСОФИЯ

Перевод с рукописи

I

ДОКТОР РУДОЛЬФ ШТЕЙНЕР И ВОЗНИКНОВЕНИЕ АНТРОПОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА

Изложить историю возникновения и сущность антропософии возможно лишь в тесной связи с историей жизни и деятельности доктора Рудольфа Штейнера. Он создал антропософию, и к нему восходит все антропософское движение, получившее широкое распространение в Германии в дни революции. Благодаря отличной организации, в его руках сходятся все нити этого движения, проникшего, благодаря его приверженцам, во все области современной культурной жизни.

Он родился 27 февраля 1861 года в небольшом городе Кралецке на австро-венгерской границе в семье железно-

*) Благодаря счастливому стечению обстоятельств, автор этой статьи имел возможность использовать материалы, не гданные гласности и доступные только членам антропософского общества, да и то не всем. Значительные выдержки из этих так наз. «циклов» обнародовываются здесь впервые.
Редакция.

дорожного служащего. По окончании реального училища в 1879 году он поступил в высшую техническую школу в Вене для изучения естественных наук, а через три года началась его литературная и журнальная деятельность. Он издает для «Немецкой национальной литературы» («Deutsche Nationalliteratur») Кюршнера работы Гете по естествознанию и пишет, как добавление к ним небольшую статью об «Основных чертах теории познания в миросозерцании Гете» («Grundlinien einer Erkenntnis der Goetheschen Weltanschauung», 1886 г.). Наряду с этим он печатает рецензии о романах, стихотворениях и популярно-философских изданиях самого различного содержания, пишет о Гете, о характере современной духовной жизни, о театральной жизни Вены, о постановке образования в Австрии, папстве и либерализме, и многое другое; составляет очерк о ледниковом и поледниковом периодах, о базальте и геологических формациях. 50 лет отроду он, на основании диссертации: «Основной вопрос теории познания» («Die Grundfrage der Erkenntnistheorie») 1891 г. получает степень доктора при университете в Ростоке. Его литературная деятельность все расширяется. Он сотрудничает в Веймарском издании произведений Гете. В его многочисленных журнальных статьях наравне с Гете центральное место занимает теперь и Нитцше. В 1894 г. выходит его важнейшая философская работа: «Философия свободы (Die Philosophie der Freiheit), основы современного миросозерцания, — результаты наблюдений по естественно-историческому методу». Исходя из идей Гете, он приходит в натурфилософии к монизму, входившему тогда в моду, а в этике к индивидуализму, находящемуся под непосредственным влиянием Макса Штирнера и Нитцше. Для характеристики общего направления этой книги, достаточно привести из нее следующие выдержки (стр. 167): «Этические законы, которые метафизик рассматривает как проявление высшей силы, являются для последователя

монизма созданиями человеческого мышления», — Штейнер же в то время определенно называет свою философию монизмом. Мировая этика не является для него точным отражением ни чисто механического мирового строя, ни божественного провидения, а совершенно свободным созданием человека. Человек должен проводить в жизни не волю Божию, а свою собственную; он осуществляет решения и желания не другого существа, а лишь свои. За деяниями людей монизм не усматривает определенной воли высшей мировой власти; люди преследуют только свои личные человеческие цели. Что подразумевал Штейнер под этим этическим индивидуализмом, явствует из его собственных слов в открытом письме анархисту Маккай в 1898 году, в котором он пишет, ссылаясь на свою «Философию свободы»: «Я всегда избегал применять к моему миросозерцанию слова «индивидуальный или теоретический анархизм». Такие обозначения по моему не имеют большого значения. Если же мне пришлось бы ответить на вопрос, применимо ли ко мне в том смысле, в котором такие вопросы могут решаться, выражение «анархист-индивидуалист», то я безусловно должен бы ответить утвердительно.*» Во время работы над архивом Гете появляются его статьи о Нитцше (1895 г.), о миросозерцании Гете (1897 г.), издания сочинений Шопенгауэра и Жана-Поля (Рихтера) и многочисленные мелкие статьи. 1 Июля 1897 года он принимают на себя совместно с Отто Эрихом Гартлебом редакцию еженедельника «Das Magazin für Litteratur», в котором на протяжении всего времени до 1899 года он напечатал целый ряд статей, называя себя в них то «Стражем Нитцше» («Wächter Nietzsches»**), то приверженцем Геккеля***). На исходе прошлого столетия он пишет книгу: «Welt- und Lebensanschauungen im neun-

*) Magazin für Litteratur, 67 (1898), 915.

**) Там-же, 67 (1898), 915.

***) Там-же, 66 (1897), 1427.

zehnten Jahrhundert», посвященную «сердечно уважаемому Эрнсту Геккелю». В предисловии к ней он говорит: «Мои воззрения вполне совпадают с выводами, к которым пришел величайший современный естествоиспытатель — Эрнст Геккель». Вскоре после этого мы видим Штейнера в рядах теософов. Для человека, стоящего в стороне, совершенно невозможно проследить все, что произошло в самом Штейнере и вокруг него, и в результате чего он, мистик, теоретический анархист, презирающий религию, провозглашающий евангелие Дарвина, страж Нитцше, поклонник Геккеля, мог занять руководящее положение в кругу людей, мировоззрение которых строго дуалистично, людей, почитающих так наз. карму, а не волю, стремящуюся к анархии, противопоставляющих теории Дарвина происхождение всех существ из духовного начала и относящихся ко всем религиям с уважением и полным пониманием их общечеловеческой и божественной сущности. К этому нужно добавить, что незадолго до этого Штейнер сатирически высмеивал теософов. В 1897 году он напечатал в своем журнале особую статью под заглавием: «Теософы», в которой он, между прочим, говорит (столб. 1066): «О, это очень забавно, разговаривая с теософом о ценности западно-европейских знаний, наблюдать, как он выражает на лице сознание собственного превосходства». «Это все одна внешность; разсудочные ученые бродят вокруг да около вещей и рассматривают их лишь с поверхности; мы же живем в самих вещах как таковых; мы живем в самом Боге; мы переживаем Божество в себе». «Вот приблизительно то, что нам приходится выслушивать. Если же вы хотя-бы одним словом обнаружите ваше разногласие по вопросу о малоценности западной науки, вас, наверное, охарактеризуют, как человека рассудочного, ограниченного. Но не следует в этом сразу признаваться. Я советую каждому, приходящему в соприкосновение с теософами, вначале представляться верующим единомышленником и постараться услышать кое-что из откровений, но-



Гетсанум, сгоревший 31 декабря 1922

сителем которых являются такой истинно просвещенный восточной мудростью человек. Дело в том, что вы услышите одни лишь слова, заимствованные из восточных писаний, без всякого содержания. *Внутренние же их переживания — ничто иное, как лицемерие*». Несмотря на это открыто и печатно высказанное заявление, которое никогда не было опровержено, доктор Штейнер сделался теософом. Его приверженцы оспаривают наличие внутреннего переворота, уверяя, что его теософское учение является прямым результатом его философского мировоззрения. Внешняя сторона дела излагается в ежемесячном журнале по антропософии «Die Drei» (том I, стр. 501) следующим образом: в 1900 году д-р Штейнер получил через графа и графиню Брокдорф от теософского общества, уже значительно распространившегося, к концу прошлого столетия, во всех странах и имеющего свой центр в Адьяре близ Мадраса в Индии, приглашение прочесть в теософской библиотеке в Берлине ряд докладов, вышедших в печати в 1901 году, в форме книги, озаглавленной «Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens» *.

*) Предвидя недоумение, которое естественно должно было возникнуть у его читателей, пораженных переходом д-ра Штейнера от естественно-научного мирозерцания к мистике, д-р Штейнер говорит в предисловии к этой книге, вышедшей, с разрешения автора, в анонимном русском переводе под названием: «Мистика на заре духовной жизни нового времени и ее отношение к современным мировоззрениям» — (изд. «Духовное знание», Москва, 1917) следующее: «Кто вступит в мир моих идей, не освободившись от предвзятости, тот найдет в нем противоречие на противоречии... «Я не удивлюсь, если меня осудят с одной стороны, как «мистика», с другой — как «материалиста». Если я найду, что иезуитский патер Мюллер разрешит трудную химическую задачу и открыто примкну к нему в этом пункте, то, конечно, никто не сможет осудить меня, как сторонника иезуитизма...»

Редакция надеется, что д-р Рудольф Штейнер отнюдь не склонен смешивать понятие «предвзятость» с понятием «критика».

Редакция.

Сведения об этих докладах быстро дошли до Англии, так как немецкие теософы в то время примыкали к лондонским; книга была немедленно переведена на английский язык и произвела большое впечатление в кругах английских теософов, как и следующая его книга: «Христианство как мистический факт» («Das Christentum als mystische Tatsache»), также возникшая из докладов, читанных им в следующем году в теософской библиотеке. Поэтому, когда в 1902 году была основана немецкая секция теософского общества, Штейнер был избран генеральным секретарем ее. Он предъявил условие, чтобы ему была предоставлена полная свобода действий в руководстве движением на всей территории немецкого языка, на что англичане согласились без всяких оговорок. И вот начинается и длится годами серьезная воспитательно-образовательная работа д-ра Штейнера, которая ведется им посредством книг, журнала «Luzifer Gnosis», ряда публичных и частных докладов и, главным образом, посредством личных советательных бесед. Возникло движение, проникшее далеко за пределы организации теософского общества, что повлекло за собой многочисленные приглашения Штейнера во все страны Европы; его деятельность докладчика распространилась от Палермо до Бергена, от Лондона и Парижа до Гельсингфорса.

Среди статей этого периода, в течение которого д-р Штейнер постепенно преобразовал теософию Блавацкой и Безант в то учение, которое он затем назвал антропософией, наибольшее значение имеют: «Теософия» («Theosophie») 1904 г. Как достигается познание высших миров» («Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten») 1909 г., «Очерк тайной науки» («Die Geheimwissenschaft im Umriss») 1910 г. Наряду с общедоступными в книжной торговле сочинениями Штейнера, из записей докладов, читанных им только членам общества при закрытых дверях, возникли так называемые «Циклы»;

эти «Циклы» даются лишь членам общества, причем строго воспрещается их опубликовывать, перепечатывать и вообще предавать гласности. Особое место занимают также четыре, написанных д-ром Штейнером мистерии: «Врата посвящения» («Die Pforte der Einweihung») — мистерия розенкрейцеров; «Душевный искуc» («Die Prüfung der Seele») — сценическая картина жизни; «Влоститель порога» («Hüter der Schwelle») — душевные переживания в сценических картинах; «Пробуждение душ» («Der Seelen Erwachen») — душевные и духовные переживания в сценических картинах, 1912 — 13 г. г.

Теософское общество, в котором д-р Штейнер играл теперь руководящую роль, имело за собой богатую внутренними потрясениями историю, но самое тяжелое ему пришлось пережить, когда д-р Штейнер был главным секретарем немецкой секции. Во главе всего теософского движения стояла тогда Анна Безант, находившаяся под сильным влиянием своего секретаря Ч. В. Лидбитера (Leadbeater), бывшего английского священника, который в 1884 году сделался теософом, но затем был исключен из общества за безнравственное учение и вновь допущен в 1905 году. Исследуя «эфирные рекорды», он пришел к выводу, что Иисус и Христос являются двумя различными личностями, и утверждал, что явится великий мировой учитель, который воплотится в индусском мальчике по имени Кришнамурти. Он вычислил предшествовавшие воплощения мальчика за 21.000 лет до Рождества Христа. Доклады Анны Безант в Лондоне на эту тему толковались в таком смысле, что сам Христос, воплощаясь, воспользовался телом Кришнамурти. Штейнер и его приверженцы не согласились с этим толкованием и основали свое антропософское общество, незадолго до того, как вследствие своей оппозиции Лидбистер был исключен из теософского общества. В новое общество Штейнер привлекает большинство членов старого теософского обще-

ства, издательство и все существенное по организации. В 1913 г. процесс отделения закончен, антропософия стала совершенно самостоятельной и вскоре пошла своей особой дорогой. О взаимоотношении антропософов и теософов в то время свидетельствуют следующие слова Штейнера:

«Если принять во внимание нелепое злословие, которое распространяли в особенности теософский кумир А. Безант и другие ослепленные этим идолопоклонством лица по адресу антропософского общества и его руководителя, а также некоторые факты, имевшие место в теософском обществе, говорящие о «благороднейшем проявлении человеколюбия», то нельзя будет усмотреть в отделении антропософского общества от теософского нечто дурное*).

II

АНТРОПОСОФСКОЕ УЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

По своему содержанию учения теософии и антропософии отличаются друг от друга существенно лишь в следующем: в антропософии индийские мотивы, особенно выдвигавшиеся Блавацкой и Безант, отступают на задний план; их место занимает интенсивный интерес к христианству и Библии. Затем д-р Штейнер старался во всех своих произведениях, предназначенных для широкого распространения, так связать восточную мудрость с западной философией и естествознанием, что кажется, будто его «наука о духе» («Geisteswissenschaft») вытекает непосредственно из современной науки. В отношении политики он стремился, главным образом, пресечь английское влияние, под которым находилось теософское общество, и заменить его духовным течением, которое должно рас-

*) Из цикла: Евангелие от Марка 1912, стр. 4.

пространиться из центра Европы, как на запад так и на восток.

Антропософское общество является лишь внешним кругом утонченно задуманной тайной организации. В составленном самим д-ром Штейнером «проекте основных положений Антропософского общества» («Entwurf der Grundsätze einer Antroposophischen Gesellschaft») говорится следующее: «Основание общества произошло следующим образом: комитет членов учредителей, состоящий из трех лиц, доктора Карла Унгера, Марии фон Сиверс (ныне жены Штейнера) и Михаила Бауера, принял на себя руководство Антропософским обществом. Чтобы сделаться членом общества нужно сделать заявление непосредственно президиуму или одному из его доверенных лиц. Принятие в число членов происходит пока исключительно через Центральный комитет, состоящий из вышеуказанных трех учредителей. Пополнение президиума и комитета происходит путем кооптации самим же комитетом, (т. е. проводится только тремя выше названными лицами). Предложения по этому вопросу могут делаться на годичном собрании членов общества*).

Вся власть организации находится, следовательно, в руках трех лиц, за которыми стоит д-р Штейнер. Они являются последней инстанцией, решающей вопрос о принятии новых членов и о составе президиума. Члены президиума не могут быть ни сменяемы, ни вновь избираемы. В их число могут попадать лишь лица, удобные трем учредителям. Окончательное вступление в члены общества происходит по прохождении подготовительного курса, который необходим, чтобы: «быть в состоянии следить за трудными докладами, читаемыми только для членов», и чтобы убедиться, что новые члены «не умалят своей критикой действие этих докладов». Уже здесь мно-

*) «Die Drei», I, стр. 506.

гое является членам общества в совершенно другом освещении, чем в книгах и докладах д-ра Штейнера, предназначенных для гласности. В самом Антропософском обществе существует более тесный круг лиц, называвшийся прежде «Эзотерической школой», о чем не знает и не должно знать большинство членов общества. Члены этого кружка называются не «милые (теософские) друзья», а «милые сестры и братья». Доклады, читаемые в этом кружке по силе и чудесности откровений превосходят «циклы» общества настолько же, насколько «циклы» превосходят публичные доклады. К этому присоединяется «тайное обучение»; сочлены получают от д-ра Штейнера «размышления» («Meditationen»), которым они должны предаваться дважды в день и посредством которых он оказывает на них влияние в желательном для него направлении. Без ведома прочих членов «Эзотерической школы» небольшое число лиц из их среды принадлежит к еще более узкому кружку посвященных «Mystica aeterna». Но это еще не высшая ступень: избранная часть членов «Mystica aeterna» опять таки без ведома прочих членов входит в состав другого оккультного общества. Посвященные высших ступеней обязываются хранить строгое молчание в отношении стоящих на более низкой ступени.

«Ты можешь быть интимным другом посвященного, но ты далек от его сущности до тех пор, пока сам не сделаешься посвященным. Тебе могут принадлежать в полной мере сердце и любовь посвященного; но свою тайну доверит он тебе лишь тогда, когда ты созреешь до нее. Ты можешь ему льстить, ты можешь его пытаться, — ничто не сможет заставить его выдать тебе то, о чем, как он знает, тебе не должно быть известно, так как степень твоего развития не дает еще возможности твоей душе правильно воспринять тайну»*).

*) Д-р Штейнер: «Какъ достигается познание высших миров». Берлин 1918. Стр. 3 и сл.

Таким образом, вы не должны думать, что знаете сущность и цели антропософского движения, если вы прослушали несколько докладов д-ра Штейнера и прочли несколько антропософских работ, предназначенных для гласности, и даже если вы сделали членом антропософского общества.

Учение, которое д-р Штейнер проповедует перед публикой, и о котором читает доклады в широких кругах своих последователей, представляет в своем целом самую обширную и своеобразную систему оккультных наук, какая до сих пор создавалась. В ней использованы греческая, особенно пифагорейская и неоплатоновская мистика, индийская теософия, еврейская каббалистика, христианская гностика, манихейство, средневековая астрология и врачевание, тайное учение розенкрейцеров и масонов, теософские и оккультные элементы в философии Фихте и Шеллинга, все мистическое у Гете и многое другое; все это сведено к своеобразному единству. Вывести антропософию прямо из указанных античных и средневековых источников едва ли возможно; мотивы, господствующие в учении д-ра Штейнера, не почерпнуты непосредственно из этих источников, а взяты из оккультных сочинений весьма сомнительного научного характера, в которых уже наблюдается непоправимая путаница в понимании методов и хода мыслей первоначальных творцов этих идей. Хотя антропософы и утверждают яростно, что их мировоззрение не имеет ничего общего с мистикой и что оно построено на точном методе естествознания и математики, примененном д-ром Штейнером к духовной области, однако вся его система носит характер мистической спекуляции. В то время, как рационально мыслящий человек и исследователь ощущает глубокую пропасть между субъектом и объектом, между «я» и внешним миром, что так ясно выражено Кантом в противопоставлении функций разума в нас и вещи в себе вне нас, для

мистиков внешнее и внутреннее, мир и «я», макрокосм и микрокосм — все сливается в единство. Мистическое познание заключается в проекции микрокосма в макрокосм, во внедрении, поглощении всего мира в собственном «я». Подобное познается через подобное, может быть познано через него, раз в человеческом организме повторяется весь космос. Во всех мистических системах проводится это соответствие человеческой души миру. Гностик расчленяет человеческий организм на дух, душу и плоть; в соответствии с этим он делит человечество на духовных, душевных и телесных людей; он различает в космосе мировой дух, мировую душу и мировое тело. Так отражает Платон единичную, состоящую из разума, мужества и вождения душу в государстве, которое состоит из трех сословий: разумных философов, мужественных воинов и работников, служащих вождению. Это взаимоотношение микрокосма и макрокосма делает возможным мистический метод познания, заключающийся в том, что человек, чтобы познать мировые взаимоотношения, должен погрузиться прежде всего в самого себя, так как мир отражен в его собственном организме. Благодаря погружению в микрокосм, макрокосм раскрывается сам собою. Также и в антропософии из микрокосма, из «антропоса» т. е., человека ведет начало всякое познание; изучение собственной сущности раскрывает сущность мира. Человек, вступивший на путь познания, предначертанный в книге Штейнера, быстро убеждается, что он обладает искусно сложенным организмом. В его физическом теле живут эфирное и астральное тела, взаимно пронизывающие друг друга. Физическое тело человек имеет общее с минералами, эфирное — с растениями, а астральное — с животными. Из мира животных человек вырастает чрез свое «я», которое складывается тройственно из души-чувства, души-разума и души-сознания. Сознательной дисциплинировкой духа и упражнениями человек может поднять весь

свой организм на более высокую ступень развития; он может укреплением (Erkftung) мышления одухотворить себя и развить все дремлющие в нем духовные органы. Сперва он преобразовывает этим астральное тело в духа-сам (Geistselbst) или Манас; затем тот-же процесс совершается с эфирным телом, которое превращается в духа жизни или Будхи (Budhi), и, наконец, физическое тело развивается в духо-человека (Geistmensch), или Атма. Таким образом, человек заключает в себе семь сущностей, частью лежащих друг в друге, частью одна за другой развивающихся: *физическое тело, эфирное тело, астральное тело, «я», дух-сам, жизненный дух, духо-человек*. Этот, из семи частей составленный человек по мистическому методу пронцируется в космос, в мир, в человечество. Космос также проходит семь фаз развития или семь мировых дней, раз'единенных семью мировыми ночами: сатурново бытие, в течение которого произошло образование физических тел; солнечное бытие, когда образовались эфирные тела; лунное бытие, сл^ужившее созданию астральных тел, и земное бытие, к которому относится человек в своем «я». Бытия Юпитера, Венеры и Вулкана предстоят еще в будущем мировом развитии. Земля также, как и космос, должна пройти семь эпох; каждой стадии существования земли соответствует жизнь определенной человеческой расы, завершающей в ней круг своего бытия. Так, земля видала одну за другой полярную, гиперборейскую, лемурийскую и атлантическую расы. Эти расы жили на южном и северном полюсах, между Индией и Австралией и там, где теперь лежит Атлантический океан, во всяком случае в таких частях земли, которые теперь покрыты либо вечными льдами либо морями, что, к сожалению, лишает нас возможности производить там раскопки. Пятая раса — арийская — наше современное человечество. И она также погибнет и уступит место шестой и седьмой, которые

последуют за ней. Каждая из семи человеческих рас имеет еще семь подразделений и т. д. Весь космос одновременно является царством духов. Он также распадается на семь ступеней и обнимает духовные прототипы минералов, растений, зверей, людей и, кроме того, собственно духов, делящихся на добрых и злых. Здесь же живут духовные сущности людей до их воплощения. Здесь они облачаются сперва в астральное, затем в эфирное тела, чтобы в конце концов войти в человеческое тело, наследуемое ребенком от родителей. В начале физическое тело ребенка окутано эфирными и астральными телами, как покровом. Когда ему семь лет, во время смены зубов, эфирное тело переходит в физическое, в четырнадцать лет — время половой зрелости — туда же отпускается астральное тело. После смерти душа сохраняет эфирное тело в течение трех дней, во время которых она переживает еще раз все свое земное существование. Вот что говорит д-р Штейнер сам:

«Если мы рассмотрим прежде всего астральное тело, то мы увидим, что человек после смерти расширяется (*sich hinauslebt*), действительно буквально «расширяет себя вовне» тем, что он, так сказать, делается все больше и больше, достигая сферы всех планет. Человек становится, благодаря расширению своей духовно-душевной сущности во время периода Камалоки (*Kamaloka-Zeit*) столь большим существом (различные существа при этом проникают друг в друга), что достигает круга, описываемого луной вокруг земли. Затем он достигает сферы Меркурия (в понимании оккультизма), дальше сфер Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна. Человек расширяется все больше и больше. С сущностью, с которой он прошел через врата смерти, он живет в истинном смысле так, что становится жителем Меркурия, Венеры Марса и т. д., и он известным образом должен обладать способностью при-

способления к существованию в этих планетарных мирах»^{*)}.

Выводы оккультных исследований д-ра Штейнера относятся однако не только к миру звезд и духов, но прежде всего к *истории человечества*, протекающей на нашей земле, где мы сами находимся. Арийская раса должна пройти через семь культур. Древнейшая из них — праиндийская культура, во время которой руководили человечеством высшие духовные существа Архан (Archai). Когда они отошли от человечества, началась вторая — персидская культура, в течении которой руководителями людей являлись архангелы, духи, стоящие ступенью ниже. При наступлении третьей культуры — ассиро-халдейской — архангелы передают людей водительство ангелов. Когда эти последние отстранились, началась четвертая греко-римская культура, и все добрые духи оставили людей. Человек предоставлен самому себе, и он пробуждается к самосознанию. В течение греко-римской культуры, длившейся приблизительно от 800 года до Р. Хр. до 1500 года по Р. Х., происходит событие, имеющее решающее значение для дальнейшего развития. Это — мистерия на Голгофе. Христос является у Штейнера космической духовной силой. О нем говорится уже в античных мистериях; он солнце, которого сияние посвященный видит в полночь. Исторический Иисус исключается. Иисус у Матвея и у Луки суть два различных существа, как явствует якобы из двух различных генеалогий, один — реинкарнация Заратустры, второй — перевоплощение Кришны. Оба они соединяются к двенадцати годам в одной личности — Иисуса. При крещении в Иордане человек — Иисус сливается с правителем солнца — Христом. При пленении Иисуса это соединение прекращается, что выражено у Марка 14,52 в образе убегающего обнаженного

^{*)} Из цикла: «Жизнь между смертью и новым рождением», Берлин, 1911/12. Второй доклад, стр. 6 и сл.

юноши. Через мистерию на Голгофе Солнечный Христос переходит в землю; он становится ее центральным духом, ведет развитие земной культуры, находившейся при его пришествии в четвертой стадии, через пятую и шестую, к совершенству в седьмой стадии. Это ничто иное, как известное учение гностиков, отцов церкви и Августина о семи эпохах мира, которое здесь возобновляется и приспособляется к историческому развитию. В пятой культуре Христос должен соединиться с землей эфирно, в шестой — астрально, так же, как в четвертой он явился в *телесном образе*. Мы живем в пятой культуре, и Штейнер указывает, как начиная с XV века делается заметным постепенное приближение эфирного Христа. Он говорит в цикле: «Духовнонаучное толкование социальных и педагогических вопросов», II часть (июль 1919), стр. 180:

«До XV века во всем вещественном, — безразлично, бралось ли оно непосредственно из природы или варилось, — пребывали силы, влиявшие на духовную сущность. Когда человек ел, он получал из пищи еще некоторые душевные силы. Но возможность доставлять людям душевные силы посредством простой еды совершенно утеряна с середины XV века. С этого времени мы вошли в стадию развития земли, когда мы ничего не можем больше получить ни от самой земли, ни из того, что она дает для удовлетворения потребностей нашего тела. С тех пор одни только физические процессы совершаются в нашем обмене веществ, тогда как раньше, во время пищеварения, обмен веществ был духовнее, как то имеет место еще сегодня (простите за это слово!), например, у коровы или у змеи. Вас поразит то, что я говорю. Но в отношении внешнего обмена веществ корова, когда переваривает пищу, как и змея, более духовное существо, чем человек. Когда вы видите стоящую или лежащую корову, после того, как она наелась, или видите змею во время пищеварения, то в астральном организме этой коровы или этой змеи еще

живо что-то, что жило когда-то также и в человеке, когда он стоял ближе к животному, но теперь больше у него не наблюдается. Мы в этом направлении настолько раз'единены с природой, что она уже не действует так, как прежде».

Потеря нами коровьего отношения к природе является у Штейнера причиной возможности вновь установить отношение к духовному миру. Он говорит в другом месте*):

«Как верно то, — мы часто говорили об этом, — что во время мистерии на Голгофе Христос физически жил среди людей в определенном месте, так же истинно то, что в XX веке эфирный Христос будет жить среди людей по всей земле. Человечество, чтобы не погрешить против спасения земли, не должно пройти без внимания мимо этого события; оно должно приложить все свое старание, чтобы известное число людей (читай: члены антропософского общества и акционеры «Грядущего дня») было подготовлено действительно увидеть Христа, который придет и которого нужно увидеть... И время это так близко, мои дорогие друзья, когда нечто совершится, — но теперь духовно — что будет иметь для человечества значение, подобное тому, которое имело событие на Голгофе в физической плоскости».

Такова вера антропософов и «неохристианской общины», учрежденной бывшим протестантским пастором Риттельмейером на антропософской основе, или вернее — это не их вера, а уверенность и истина, до которых «научно» дошел д-р Штейнер, доказав их изучением высших миров. Д-р Штейнер в общем обрисовал путь, ведущий к такому познанию, в своей книге: «Как достигается познание высших миров?» Эта книга была напечатана сперва частично для широкой публики в «Luzifer Gnosis»; в ней говорится об особом тайном обучении лишь намеками,

*) В цикле: «Космическая и человеческая метаморфоза» 1917, стр. 12 и сл

которые не могут быть непосредственно понятны постоянным. Как д-р Штейнер внушает своим приверженцам веру в истину своего учения и воспитывает их в духе безусловного послушания, стало мне ясным лишь тогда, когда я получил возможность познакомиться с циклами, недоступными широким кругам. Их нужно изучить, чтобы составить себе верное представление о «духовно-научных» методах тайного обучения. В упомянутой книге начинающему ученику тайной науки указывается, прежде всего, «путь почитания и подчинения истине и познанию». Это почитание и преданность требуются не только в отношении таких отвлеченных понятий, как истина и познание, а также в отношении известных личностей, что явствует из следующих слов (стр. 4):

«Только обладающий должным настроением может сделаться учеником тайной науки. Опытный в этой области человек знает, какие предрасположения и склонности наблюдаются уже в детстве у будущих учеников тайной науки. Есть дети, которые с священной робостью смотрят на почитаемых ими людей. Благоговение, испытываемое ими, не дает возникнуть в глубине их сердца ни критической, ни оппозиционной мысли». И дальше говорится: «Всякая критика, всякое осуждение умаляют душевные силы, необходимые для достижения высшего познания; так же, как полная преданность и почитание развивают их». Требование отказа от всякой критики существенно суживает духовный горизонт начинающего последователя антропософии. Он должен решиться воспринимать все, не задумываясь над воспринятым иначе, как с одобрением всего. Из циклов ясно видно, как происходит дальнейшее душевное воздействие. Д-р Штейнер говорит:

«Из многообразных необходимых требований, предъявляемых духовно-научным путем, нам всегда уже указывалось одно: тот, кто вступает на этот путь, должен прежде всего тщательно воспринять то, что уже теперь в состоя-

нии дать наша наука в отношении духовных тайн и фактов духовного мира. Мы затрагиваем здесь особо важный вопрос нашей духовно-научной жизни. На основании серьезных соображений первым долгом пространно сообщается о том, что уже исследовано из фактов духовного мира, раньше чем вникнуть в то, что может быть названо «методами обучения душ» («Methoden der Seelenschulung»)*). Но сообщение «фактов» из духовного мира относится уже к методам «обучения душ», о чем Штейнер не говорит. Эти сообщения так построены, что посредством постоянного повторения одних и тех же мотивов они действуют как внушение и как бредовые идеи, незаметно, но неискоренимо запечатлеваются в сознании антропософа, которому воспрещена всякая критика. В другом месте говорится:

«Особенно ясным становится, что в нашей душе происходит очень многое, когда мы допускаем воздействие на душу в определенной ритмической размеренности таких впечатлений, которыми предполагается известная свобода и эмансипация мышления от физического мира. Все благо — можно было бы сказать, если допустимо прибегнуть к этому сентиментальному слову — все благо духовного развития человека зависит от того, как человек относится к духовному; он не должен воспринимать духовное в том смысле, как это принято в наше время, и что характеризуется словами: «О, я это уже знаю, я этим уже занимался»; — он должен воспринимать «духовное» в жизненном смысле, что всегда связано с *повторением*, я бы сказал с повторным воздействием в одном и том же месте**). Способы выражения д-ра Штейнера показывают здесь, как он осведомлен в этой области и как он опытен

*) Из цикла: «Экскурсы в область Евангелия от Марка», 1910/11, стр. 8 и сл.

**) Из цикла: «Kosmische und menschliche Metamorphosen», 1917, II-ое изд., стр. 7 и сл.

в вопросах сознательного внушения. Если при этом принять во внимание, что эти циклы служат для «размышлений» («Meditationen») и что антропософ ежедневно в определенный час садится на том же самом месте и читает все то же, то легко можно составить себе представление о прогрессирующем сужении сознания. Успех усиливается тем, что нежелательные для этой психотехники влияния на антропосов со стороны семьи и духовно нормальных близких, сознательно устраняются. Одним из мотивов, которые с «ритмической равномерностью» вкладываются в сознание ученика «науки духа», является следующий:

«Не надо придавать цены всему тому, что нас обыкновенно связывает с другими. Отца, мать, братьев, сестер, нашу собственную жизнь нужно оценивать ниже, чем то, что говорит от человеческой души человеческой душе»^{*)}.

Особо важное значение придается снам. В момент засыпания и пробуждения человек находится в непосредственном общении с сверхчувственным миром. Антропософы не только в течение дня, но преимущественно в течение ночи втягиваются в мир идей науки духа. Штейнер подробно описывает в своих докладах, что происходит с душой человека во время сна:

«Необходимо уйти от тела с намерением изучить жизнь человека; тогда только получится то, о чем я сейчас буду говорить. При ясновидении это не всегда обязательно. Каким иным представляется нам тогда человеческий образ! Мы знаем: то, на что мы смотрим, то, что мы видим, это ты; да, это ты, — ты, который раньше чувствовал себя изнутри в руке твоей, в крови твоей, ты стоишь вовне. Из того, что стоит перед нами, мы собственно видим вначале только — так сказать — внешний облик, но видоизмененный. Глаза — то, что было глазами

^{*)} Из цикла: «Theosophische Moral», 1912, III-е изд., стр. 44.

— светятся, как бы два солнца, но два внутренних, в блеске света вибрирующих солнца, распространяющих лучистый свет; такими представляются нам глаза измененного человеческого образа. Уши начинают известным образом звучать. То, что в физическом мире мы видим, как уши, теперь не видимо, но мы слышим некоторое звучание. Вся рука светится, изливает род лучей, которые больше чувствуются, чем видимы. Одним словом, человеческий образ представляется, как нечто светящееся, звучащее магнетически-электрическое, распространяющее лучи. Эти выражения, конечно, неуклюжи, так как они взяты из обихода физической жизни^{*)}.

Я кончаю на этом и предоставляю читателю судить об этих результатах познания. Хочу только еще заметить относительно *метода познания*, что мы имеем здесь пред собой тот же круг, в котором вращаются все оккультисты. Сначала настойчивое внушение «фактов» духовного мира, затем вступление на путь познания. Мы спрашиваем: откуда факты? ответ: они найдены на пути познания. — Откуда путь познания? Он вытекает из фактов духовного мира. Таким образом, путь познания ведет обратно туда, откуда исходил. Это означает, что ученик тайной науки видит то, что он должен видеть по воле своего учителя и на основании метода.

III

СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АНТРОПОСОФСКОЙ ПРОПАГАНДЫ

Как ни удивительно то, что д-р Штейнер нашел для своих, правда фантастических, но отнюдь не новых идей, и для проведения опытов над людьми, многочисленную

^{*)} Из цикла: «Inneres Wesen des Menschen und Leben zwischen Tod und neuer Geburt», 1914, I-е изд., стр. 96.

публику как в Германии, так и в других странах, — все же нельзя отрицать факта, что он приобрел много тысяч лрых поклонников, которые тем преданнее ему, чем меньше они обладают собственным, основанным на самостоятельном изучении, взглядом на идейный мир оккультизма и суждением об опасности применяемых им методов. Притягательная сила была увеличена широким размахом основанных д-ром Штейнером предприятий и его политикой во время войны и особенно во время революции.

Уже с 1907 года д-р Штейнер наряду с публичными чтениями и докладами занимался постановкой мистерий. Мистерии посвящения, а также мистерии, предназначенные для более широких кругов, стоят в тесной связи с учением Штейнера о пришествии эфирного Христа и наступлении новой мировой эпохи. Как мистерия на Голгофе давалась посвященным в античной мистерии, так и пришествие эфирного Христа должно быть изображено в мистерии, так как раньше, говорит он: «не представлялось возможным примирить старый принцип посвящения с глубокой сущностью христианства. Мы имеем теперь эту возможность, и реализация ее не должна быть упущена, если мир и человечество не должны опуститься в своем развитии»^{*)}. Сперва были представлены в Мюнхене дополнения к «Элевзинским мистериям» Шуре и его же «Дети Люцифера», затем четыре мистерии — драмы самого д-ра Штейнера. Для этих мистерий должно было быть выстроено в Мюнхене особое здание, «Johannesbau», позднее «Goetheanum». Разрешение на постройку не было получено, так как этому особенно воспротивились мюнхенские художники. После этого один швейцарский антропософ купил холм с участком земли близ Дорнаха, где в ночь с 20-го на 21-ое июня 1913 года, со всякими оккультными церемониями, при свете пылающих факелов и про-

^{*)} Из цикла: «Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteries von Golgotha», 1917, VII-й доклад, стр. 17.

ливном дожде был заложен фундамент антропософского храма, названного д-ром Штейнером громкими наименованиями: «Место новой духовной науки, Теософский Вифлеем, Пуп мира и, наконец, «Goetheanum», вольная высшая школа для науки о духе». Штейнер предсказал, что здание это просуществует 70 лет, а затем уступит место другому. В ночь под новый 1923 год оно сгорело до бетонного основания. Результаты судебного расследования причин пожара еще не известны.

Одновременно с мистериями и постройкой «Goetheanum», получила свое начало «евритмия» (Eurythmie) — искусство выражать слова ритмическими движениями человеческого тела. И здесь также д-р Штейнер примыкает к античным мистериям, обязательно сопровождавшимся танцами и игрой. Во время евритмических представлений г-жа Штейнер читает очень громко, мужским голосом, с жестким несносным для неантропософов ритмом, стихи, содержание которых воспроизводится движениями детей и молодых девушек в одеждах в виде покрывал при сменяющемся освещении в цветах радуги. Неизвестные широкому кругу оккультные основы евритмии излагаются д-ром Штейнером так:

«Когда нибудь — это известно непосредственно через то, что высказывает наше горло — наступит в развитии человечества момент, когда горло совершенно преобразуется; теперь человек произносит горлом лишь слова, тогда же он будет рождать им человека. Это будущий орган рождения, производительный орган. Как теперь человек горлом произносит слово, так впоследствии горло, как семенной орган, разовьется до возможности производить человека, целого человека, когда последний превратится в духа»^{*)}. Все это построение основано на начале Еван-

^{*)} Из цикла: «Die Welt der Sinne und die Welt des Geistes», 1911-12, II-й доклад, стр. 11.

гелия от Иоанна: «и Слово стало плотью». Д-р Штейнер учит:

«Слово должно вновь обрести силу; слово, ныне отвлеченное, слово изначальное, должно получить творческую силу*). В евритмии слово получает снова творческую силу, слово г-жи Штейнер становится плотью в движениях танцующих.

В годы войны и революции д-р Штейнер развивал дальше свою антропософскую систему, но наряду со статьями чисто теософского характера, предназначенными для его последователей, он стал писать и по вопросам дня. В статьях этого рода содержатся лишь намеки на собственно антропософское, главный же материал автор черпает из своих до-теософских работ свободомыслящего направления. Он издает вновь свою «Философию свободы», вычеркивая или изменяя в ней места, слишком резко противоречащие «науке духа»; он старается установить связь с современной научной философией в своих работах: «Vom Menschenrätsel», 1916; «Von Seelenrätseln», 1917; «Die Rätsel der Philosophie» 1918. Когда разразилась революция, он издал книгу: «Die Kernpunkte der sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft», в которой он вербует сторонников для своей идеи трехчленности (Dreigliederung) социального организма. Это старый мотив платоновской философии, который здесь связывается с современными социалистическими и демократическими идеями, подобно тому, как это на иной лад сделал Наторп в своем «Социальном идеализме». Своим воззванием «An das deutsche Volk und an die Kulturwelt» Штейнер обращается со своей пропагандой той же идеи к широким кругам общественности. Теперь в Германии и в Швейцарии учреждается

*) Из цикла: «Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteries von Golgotha», 1917, IV-й доклад, стр. 21.

союз для проведения тройственности в социальном организме (Bund für Dreigliederung des sozialen Organismus), который окружил антропософское общество более широким кольцом экзотерического характера. Возникли: союз антропософской пропаганды в высшей школе, объединение врачей антропософов и другие организации, совокупность которых производит впечатление большого обилия всякого рода союзов. Но количество членов в этих объединениях сильно ограничивается тем, что во всех них большинство членов составляют все одни и те же лица. Были основаны в Швейцарии акционерные общества: «Грядущий день» («Der kommende Tag») с отделениями в Германии и, «Будущее» («Die Futurum A.-G.»). Возникли клинико-терапевтический институт и архивы «Гетеанизма». В Штутгарте основывается при папиросной фабрике Вальдорф-Астория «Freie Waldorfschule», где теперь обучается около 600 детей в духе антропософской педагогики. В больших городах тысячи людей присутствуют на чтениях антропософских высших курсов. Сам д-р Штейнер предпринимает ряд путешествий для докладов в Германии и за пределами ее. Более широкую пропаганду ведут издания: «Dreigliederung des sozialen Organismus», «Die Drei», «Das Goetheanum».

Вскоре, однако, началось все усиливающееся движение против антропософии. Антропософы, принадлежавшие раньше к кружку д-ра Штейнера, но разочаровавшиеся в нем, сделали ряд разоблачений относительно сущности антропософии и ее основателя. Генерал Глейх, пришедший в соприкосновение с этим движением благодаря сыну, сделавшемуся антропософом, выступил с предостережением в брошюре: «Rudolf Steiner als Prophet, ein Mahnwort an das deutsche Volk». Обычно столь либеральная Швейцария отказала д-ру Штейнеру в приеме его в швейцарское гражданство, так как была возмущена всем тем, что происходило в Дорнахе и вокруг него. Рабочие организации

уклонились, хотя антропософы всячески ухаживали за пролетариатом. Католическая церковь, интересы которой особенно защищает священник Кулли в Дорнахе, в своей книге «Тайны дорнахского храма» придает особое значение доказательству легко проводимому, что антропософия ничто иное, как продолжение и развитие теософии; а последняя энциклопикой папы уже давно объявлена ересью. Этим решается вопрос для католической церкви. Труднее положение протестантизма, в особенности потому, что пастор Риттельмейер, пользовавшийся большим уважением среди либерального духовенства, выступил на защиту д-ра Штейнера и видит в антропософии спасение христианской религии. На этой почве среди протестантского духовенства возникла значительная литература, страдающая, однако, тем недостатком, что не знает истинного содержания антропософии, так как она может пользоваться лишь доступными гласности сочинениями д-ра Штейнера. Как немецкое философское общество, так и союз монахов занимают открыто и радикально оппозиционное положение в отношении антропософии.

С некоторого времени замечается обратное движение и внутри основанных д-ром Штейнером организаций. Это сказалось раньше всего на почве хозяйственных вопросов. Предприятия не приносили желательного дохода, так как соединение оккультизма с хозяйством не имело ожидаемого успеха. Акционерное общество «Futurum» откололось от антропософии и сделалось самостоятельным. «Грядущий день» прибег к «ограничению программы». Пропаганда идеи тройственности социального организма, в виду этого «временно» приостановлена. Ежемесячник «Die Drei» прекратился; еженедельник «Die Dreigliederung» изменил свое название и называется теперь: «Антропософией». Место «Союза для проведения тройственности» занял «Союз свободной духовной жизни». Однако, пожар Гётеанума, застрахованного в три миллиона швейцарских франков, но

стоившего семь миллионов, вновь возбудили в антропософах, жаждущих его восстановления, готовность к добровольным жертвованиям, так что в руки д-ра Штейнера снова стекаются значительные суммы.

Проф. Ф. А. Браун

ПЕРВОБЫТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ ЕВРОПЫ

Когда нам говорят о прошлом нашего народа или человечества вообще, то мы реагируем различно. Для большинства картины этого прошлого имеют лишь интерес занимательного исторического анекдота, быстро улетающего из памяти. Для других они служат поводом к мечтаниям о том, как в былое время люди были лучше, чем мы, и жилось им легче, чем ныне. Мечты Руссо — кто их не помнит? Мы слишком охотно забываем об исторической фальши, лежащей в их основе.

Но есть и третья, более вдумчивая группа людей, пытающихся понять наш мир из его прошлого, ищущих в этом прошлом объяснения тому своеобразному, подчас дикому сплетению сил и стремлений, которым определяется течение современной жизни. Для них-то, главным образом, и пишется эта статья.

Она заведет нас очень далеко в глубь веков, — туда, где на сумеречном фоне доисторических времен, едва заметно для глаза, загораются первые огоньки человеческой жизни, то здесь, то там, как будто без связи друг с другом.

Наука пробирается к ним ощупью, часто теряя нить. Идет она по трем путям, ведущим вглубь: антропология силится выяснить физический облик первобытного человека по немногим дошедшим до нас остаткам его костяка

и уловить в них признаки расовых типов; доисторическая археология тщательно собирает следы человеческой деятельности — орудия работы и предметы производства, остатки жилья — и старается воссоздать из них картину быта, хозяйственного обихода, духовной жизни в формах религиозного культа, сказывающегося в погребальных обрядах, и в примитивных попытках художественного творчества. Наконец, лингвистика и, в частности, палеонтология языка, начинает проникать в древнейшие слои человеческой речи, в их звуковой состав, морфологический строй и словотворческие процессы. И все добываемое охватывается хронологическими и топологическими рамками, устанавливаемыми геологией, а затем и исторической географией древнейшей Европы.

Материал, как видно, разнообразен и разнохарактерен; объединить его в цельную картину тем более трудно, что в нем, как будто, и немало противоречий. Каждая из названных нами научных дисциплин воспринимает на своей пластинке лишь лучи одного цвета, как при трехцветном воспроизведении картины: отчетливый результат может получиться лишь тогда, когда все пластинки вполне точно дополняют друг друга. Но этого, в данном случае, пока нет; и в контурах и в тонах есть расхождения, вследствие чего картина получается в рисунке неясная, в тонах мутная, и много еще придется потрудиться над нею. Однако, кос-
как-
линии уже теперь выступают отчетливо, и возможны догадки о дальнейшем. И если мы и не в состоянии пока дать законченную картину, все же интересно и поучительно видеть, как она создается. Вот в этот творческий научный процесс мы и хотели бы ввести читателя, насколько это возможно в краткой журнальной статье.

*

I

Мы должны начать издалека, чтобы получить исходный пункт, откуда вести изложение. Он лежит в ответе на трехчленный вопрос: как, когда и где возник человек?

Такова обычная формулировка, — впрочем, научно неточная; нет определенной линии, отделяющей человека от животного царства; он связан с последним непрерывной цепью постепенной эволюции, и «возникновение человека» обнимает бесконечно много переходных ступеней в процессе очеловечения животного. Не все эти переходные ступени на лицо, вследствие чего между высшими видами животных — человекоподобными обезьянами — и человеком, как мы понимаем этот термин, в цепи наблюдаемых фактов существуют пока пробелы, которые, быть может, будут современем заполнены новыми находками. Но и по заполнении их, ответ на вопрос будет зависеть от того, какой признак человеческого существа мы признаем за решающий, т. е. за тот, с появления которого начинается уже подлинный «человек». Признак должен быть выбран органический или функциональный, не духовный, так как последняя категория явлений не может дать сколько нибудь определенной линии-границы и не дала бы ее даже, если бы мы имели возможность производить над первобытными «людьми» точные наблюдения и опыты. Тщательные и систематические, недавно обнаруженные наблюдения над некоторыми породами высших обезьян, в частности на Тенерифе и в Берлинском зоологическом саду (W. Köhler, 1921), доказали наличие в них гораздо большей степени интеллигентности и способности к логическим умозаключениям, чем предполагали раньше. В этих обезьянах так много «человеческого», или, вернее, человек унаследовал от своих до-человеческих предков так много уже «человеческого», что границу провести становится невозможным.

Итак, искать признаков «человечности» надо в области внешних черт, и выбор их всегда будет произвольным и условным; вот почему попытки их определения так сильно расходятся между собой. Вдаваться в разбор их мы здесь не станем, так как это отвлекло бы нас слишком далеко от нашей непосредственной задачи. Для выполнения последней безразлично, будет-ли признан поворотным пунктом к развитию «человечности» переход к хождению на задних лапах — черта, общая, впрочем, человеку и гиббону, который все-же остается обезьяной*), или исключение телесности, при помощи развития искусственных орудий, в противоположность животному, эволюция которого движется по линии возможно большего развития заключающихся в его организации физических задатков и возможно совершенного приспособления тела к внешним условиям жизни (Alsberg, Das Menschheitsrätsel, 1922); или, наконец, свяжем ли мы начало человечности с добычей огня, — мысль старая, лежащая уже в основе мифа о Прометее. Важен для нас лишь общий вывод, получающийся из рассмотрения всех этих определений, а именно, что в вопросе о том, как и в силу чего «животное» обратилось в «человека» нам придется считаться с многообразными явлениями по всей линии развития, продвигающегося не скачками, а медленно, бесконечно малыми переходами. Удержим в памяти этот вывод: он нам пригодится впоследствии, когда перед нами встанет вопрос о возникновении и первоначальных этапах развития чело-

*) С гиббоном сближается человек еще некоторыми другими чертами, вследствие чего последняя по времени работа по этому вопросу (E. Werth, 1918) связывает именно с ним родословную человека в том смысле, что и гиббон и человек восходят к одному общему более древнему предку (Pliopithecus третичного периода) тогда, как прочие человекоподобные обезьяны (горилла, шимпанзе, оранг-утан) ведут начало от другого (Dryopithecus).

веческой речи. Ведь и возникновение речи надо искать по этой линии постепенного «очеловечения».

Что касается второго из намеченных нами вопросов, а именно когда произошел или, вернее, происходил этот длительный процесс, то мы должны мыслить его в рамках длительного же периода истории земли. Спор тут может идти лишь о двух последних эпохах ее, третичной и четвертичной, которая начинается с ледникового периода и продолжается еще и поныне. Спор давний и ожесточенный. Несомненен факт, что в третичных отложениях земной коры до настоящего времени не найдено ни одного следа человеческих костей, не найдено и бесспорных артефактов, т. е. изделий рук человеческих, каменных орудий, искусственно приспособленных им к работе. Находим мы здесь только так наз. эолиты, т. е. небольшие кремни, напоминающие своей формой позднейшие, искусственно отделанные орудия. Вокруг этих-то эолитов и происходит спор: одни ученые — в особенности французы и бельгийцы, от которых вообще исходит эта теория — энергично отстаивают их принадлежность человеку, тогда как другие столь же уверенно отрицают ее, доказывая и теоретически и экспериментально возможность возникновения таких форм путем естественным — от давления, трения, длительного воздействия воды и т. п. Победа клонится, повидимому, в сторону второго взгляда, поддерживаемого еще и другими соображениями и наблюдениями. Мы будем, вероятно, правы, если отнесем процесс очеловечения в решающих его фазисах к четвертичной, т. е. нашей эпохе истории земли.

Первая часть ее характеризуется ледниками. По невыясненным еще причинам, трижды, повидимому (по мнению некоторых ученых один или два раза, частично, может быть, четыре раза) Европа пережила ужасы катастрофы, когда лед, медленно, в течение тысячелетий надвигаясь с северного полюса и с Альп, где жалкие остатки его еще по-

ныне сохранились в глетчерах, покрывал значительные пространства нашего материка толщей в 200—300 метров, сокрушая и губя на своем пути все живое, неся с собой стужу и сырость. И в ужасе этих грозных переживаний впервые появляется перед нами человек в областях, оставшихся свободными от льда.

Дело в том, что лед, даже в период своего наибольшего распространения (2-ой ледниковый период?) покрыл не всю территорию Европы. Лед, шедший с юга, дошел приблизительно до широты Мюнхена, т. е. он не достиг даже среднего Дуная; а шедший с севера остановился в средней Германии и России: его южная граница пересекает Англию приблизительно по линии Темзы, идет отсюда к устьям Рейна, тянется затем в юговосточном направлении через центральную Европу, окаймляя с севера среднегерманские возвышенности, Богемию, Карпаты, и достигает России в верховьях Днестра. После небольшого загиба на север (в Волыни) она пересекает средний Днепр, проходит огромными прихотливыми зигзагами через среднюю Россию и теряется, наконец, в среднем Урале приблизительно на широте Петрограда.

Взгляните на карту: весь север Европы покрыт сплошным льдом; им же покрыты и Альпы, — вся Швейцария, часть Австрии; свободными от льда остались острова и полуострова Средиземного моря — Балканский полуостров с Грецией, Италия, Испания, — вся Франция за исключением юговосточного ее угла, лежащего под альпийским льдом, и длинная полоса средней и южной Германии, соединяющая узким корридором Францию с Богемией, Венгрией и южной Россией.

Вот в этом-то корридоре, в западной его части, на большой глубине найдены древнейшие несомненно человеческие кости.

Мы не можем с точностью определить, к какой части ледникового периода они принадлежат; отложения тут

хронологически неясны. Несомненно только то, что они относятся ближе к началу, чем к концу, быть может, еще ко времени первого ледника, быть может, к первому межледниковому периоду (интергляциалу), — едва ли ко времени более позднему. Во всяком случае, человек пережил здесь все ужасы этой жестокой поры. Спасаясь от стужи и ютясь в неприглядной тундре, покрывавшей Европу, не занятую льдом, он влачил жалкое существование в борьбе с суровой природой и могучими великанами животного царства — мамонтом, носорогом, пещерным львом и медведем, — пока, через тысячелетия, не наступали лучшие времена, отходил лед, и в более мягком климате к новой жизни просыпалась земля, покрываясь степной флорой, а затем, частично, и лесом. И по прошествии новых тысячелетий вновь неумолимо ползет лед, и человек вновь спасается от него вместе с животными, ищущими, как он, спасения от надвигающейся гибели...

Но когда все это было? Вдвигая первые этапы человеческого развития в рамки геологических эпох, мы получаем лишь относительную хронологию событий, не абсолютную, и фактическая длительность ледниковых и межледниковых периодов, по меньшей мере, спорна, вернее сказать, неопределима. Попытки их определения колеблются между 5000 и 200.000 лет. Есть ученые, исчисляющие древность человечества приблизительно в миллион лет. Толку во всех этих определениях мало; они немного говорят даже фантазии. Но конец последнего ледникового периода все-же теперь уже удалось наметить в глубине времен. Честь открытия метода исчисления принадлежит шведскому геологу Де-Гееру. Оказывается, что лед, отступая, ежегодно оставлял следы своего пребывания в тонких слоях почвенных отложений, наносившихся стекавшей с тающего ледника водой. Вертикальный разрез почвы в Швеции дал возможность точного подсчета этих слоев и определения скорости ухода льда

(около 160 метров в год). И вот выяснилось, что в средней Швеции, на широте приблизительно Стокгольма, лед стоял еще около 10.000 лет до Рожд. Христова. Путем других соображений, правда, весьма неточных, но в общем несомненно верных, мы приходим к выводу, что подножие последнего льда стояло на широте Берлина приблизительно за 14.000 лет до начала нашего летосчисления, т. е. за 16.000 лет до нашего времени, и т. д.

Это — первые более или менее точно и безотносительно установленные даты в истории Европы и человечества. С этого времени лед стал окончательно отступать, очищая север Европы, а за ним продвигался человек в сопровождении северного оленя, своего главного в это время кормильца, постепенно заселяя северную Германию с Скандинавией, среднюю и северную Россию*). Следовал он за ним, конечно, не непосредственно; мы имеем здесь перед собой лишь даты, раньше которых появление человека в этих областях невозможно, и в процессе распространения на север нам опять таки придется считаться с тысячелетиями. Но все-же цифры не так велики, как те, которыми орудует геология, а тем более астрономия; они не отпугивают нашу фантазию, не обессиливают ее, а доступны ей и вызывают на творчество.

Попытаемся представить себе эти цифры реально, т. е. перевести их на масштаб человеческой памяти.

Память эта коротка. В рамках истории человечества вообще она обнимает всего около 6000 лет: к четвертому

*) Окончательно-ли и навсегда ушел от нас лед? Быть может, тот период, в котором мы живем, и расцвела наша культура, — эти жалкие 16000 лет, прошедшие с тех пор, как лед ушел из средней Европы, представляет в свою очередь лишь период межледниковый, и по прошествии новых тысячелетий вновь надвинутся с севера и с юга ледники? Есть ученые пророки, которые так и понимают дело и указывают даже на первые признаки предстоящего наступления льда, якобы проявляющиеся в колебаниях нашего климата.

тысячелетию до Р. Хр. относятся древнейшие дошедшие до нас надписи (эламские). Когда они писались, прошло всего около 1500 лет со времени полного исчезновения льда из северной Европы.

Еще короче память родовая. Она охватывает нормально не больше трех поколений семьи. Про деда мы знаем; но многие-ли из нас представляют себе сколько-нибудь ясно прадеда или знают про него хоть что-нибудь? То-же самое при проекции в будущее: наша любовь и забота обнимают сына и внука; правнук нам близок только, если он сам на лицо, если же его нет, — мы о нем не думаем, он нам чужой. В переводе на числа мы получаем характерные сопоставления. Нормально мы считаем 3 поколения семьи на столетие. От великого Петра нас отделяет всего только пять поколений: дед моего прадеда был его современником. От эпохи Христа мы отделены всего 60 поколениями. Разве это так уже много? А 480-е поколение моей семьи в прошлом застало еще ледниковый период: когда оно ютилось где-то в европейской тундре, боролось с мамонтом и носорогом, недалеко от его землянки, на расстоянии, которое мы теперь пролетели бы на аэроплане в несколько часов, высились ледяные громады там, где ныне цветущие луга и леса, шумные города и в заводах днем и ночью гремит работа...

Но не забудем: ясно намечается лишь конец ледникового периода, совпадающий с началом исторического (протоисторического) бытия человека. Все, что до этого — тянется в бесконечную даль веков, не поддающуюся никакому учету. Тысячелетия, десятки, сотни тысячелетий мелькают в нашем сознании при мысли об этом, все грани исчезают, и историческая мысль, парализованная бесконечностью, растворяется в беспредельном пространстве времен.

Между тем, и эти долгие тысячелетия оставили по себе осязательные следы. Мы уже говорили о том, что

первые остатки человеческих костей относятся к началу, во всяком случае к первой половине, ледникового периода вообще. Древнейшая, по общему признанию, из найденных пока человеческих костей — нижняя челюсть очень грубой, массивной формы, близкой к звериной, с загнутым назад подбородком, но с хорошо развитыми, чисто человеческими зубами: она найдена в 1908 году верстах в 10 на ЮВ. от нынешнего Гейдельберга (отсюда и название «Гейдельбергского человека», *homo Heidelbergensis*), в песке, на глубине 24,10 метров под современным горизонтом, т. е. в глубоком пласте, который древнее всех прочих, давших до сих пор следы человека. Древность ее во всяком случае очень значительная, определяется различно: одни относят ее к первому межледниковому времени (Werth 1918), другие считают ее еще доледниковой (Wieggers 1920). Ближе к нам по времени, повидимому, другая находка, с изучения которой, собственно, и начинается наука о первобытном человеке. Это — черепная крышка и некоторые другие кости (ног, рук, таза) несомненно человеческого существа, найденные в 1856 г. в небольшой пещере ущелья Нсандерталь, выходящего в долину реки Дюссель, на которой лежит нынешний Дюссельдорф. Находка тем важна, что она дала возможность восстановить общий облик этого человека и определить расовые признаки его, сближающие его, кстати сказать, с некоторыми еще поныне существующими племенами Австралии. Последующие находки, все учащавшиеся (в Бельгии, Франции, Англии, средней и южной Германии, Моравии и т. д.), доказали широкое распространение этой так наз. неандертальской расы по всей Европе. Она во многих чертах резко отличается от типа современного европейца: очень низкий, срезанный назад лоб, сильно развитые надглазные дуги, огромные глазные впадины, короткая неразвитая нижняя челюсть с загнутым назад

подбородком. Эти люди должны были производить чрезвычайно угрюмое и свирепое впечатление.

Несколько позже, но все еще в пределах ледникового периода, в Европе появляется другая раса, гораздо более близкая к современному человеку, чем неандертальская. По месту первой ясной находки этого типа (Aurignac в Южной Франции, 1909), мы называем ее ориньякской (homo Aurignacensis).

Каково взаимоотношение этих двух «рас», пока еще совершенно неясно. Быть может, вторая развилась из первой? Это утверждают одни, отрицают другие ученые. Как бы то ни было, обе эти расы существуют в Европе со второй половины ледникового периода одновременно, сталкиваются здесь враждебно и, при случае, пожирают друг друга. В этом смысле чрезвычайно знаменательна находка довольно значительного количества человеческих костей в 1895 — 1905 гг. близ Загреба: они несут явные следы каннибальского пиршества, отпразднованного, видимо, после победы над врагом. По мнению антрополога Клаача (1920), победа одержана ориньяками над неандертальцами. Но все же побежденная раса не погибла бесследно: из скрещивания ее с победителями произошло все нынешнее европейское человечество, если не считать элементов, влившихся в него позднее извне. Из этих древнейших скрещенных типов для нас наиболее важен тип Кро-Маньон, названный так опять таки по месту первой находки. (Cro-Magnon в южной Франции 1875). Запомним эти имена. Они нужны будут нам в дальнейшем изложении, когда мы поведем речь о понятии расы вообще.

Параллельно с изучением останков первобытного человека и распределением их по хронологическим отделам ледникового периода идет такое же изучение и распределение артефактов, т. е., каменных орудий и других изделий рук человеческих. Найдено их очень много, главным образом, во Франции и Бельгии, иногда при костях, но

чаще независимо от них. Детальное изучение их типов дало французским ученым, которым, главным образом, принадлежит заслуга выяснения этих вопросов, возможность установить в их развитии шесть периодов, к которым теперь обычно еще присоединяют седьмой (так наз. Azilien). Совокупность этих шести или семи периодов обнимает так наз. древний каменный век или палеолит, век грубо обитого камня, и тянутся они на протяжении всего ледникового периода, захватывая еще и начало поледникового, т. е. уже протонисторического времени. По мере приближения к последнему, почва под исследователем твердеет и нога его ступает увереннее: он выходит из неясных сумерек и перед ним заливается заря нового времени, той эпохи жизни земли и человечества, к которой принадлежим мы и вся наша культура. Отсюда к нам ведет уже непрерывная линия развития, в общем без пробелов. На смену палеолиту идет вырастающий из него же неолит, — новый каменный век, век шлифованных каменных орудий, зачастую поражающих нас своей искусной отделкой. К этому второму каменному веку относится и начало керамики: глиняные изделия быстро становятся одним из главных показателей прогресса и международных культурных сношений. Отчетливее намечаются теперь и хронологические грани, хотя и тут также на первых порах резкую границу провести невозможно. Переходы совершались постепенно и в разных областях разновременно. Нарождение новых культурных форм не исключает пережиточного сохранения старых. Но в общем неолит господствует в средней и северной Европе до середины третьего тысячелетия до Р. Хр. Тогда только он уступает место металлической культуре, зародившейся на востоке значительно раньше. После краткой и не всеместной переходной эпохи, когда орудия, сохраняя, в общем, форму каменного века, отливались из чистой меди, неолит, около 2500 лет до Р. Хр., переходит в брон-

зовый век, который в свою очередь в конце II тысячелетия уступает место железному. В средней и северной Европе окончательный переход к железу совершился, в общем, лишь около 500 лет до Р. Хр., опять таки разновременно в разных областях. Некоторые восточно-европейские племена никогда не знали бронзы и перешли — очень поздно — от неолита непосредственно к железу. Когда варяги поселились в Старой Ладоге на Волхове — около середины IX века по Р. Хр. — они срубили свой город на месте финского поселения, жившего еще в неолитической культуре, как доказали раскопки Репникова, произведенные лет 15 тому назад.

Таким образом, вся известная нам культура человечества развертывается на протяжении всего лишь 150 веков. Разновременно, иногда на расстоянии тысячелетий друг от друга, совершаются, как мы видели, переходы от палеолита к неолиту, от него к бронзовому и, наконец, к железному веку, прямым продолжением которого является наша многообразная и многосторонняя культура. Но в намеченных хронологических пределах заключается все, что мы разумеем под историей человечества от первых огоньков вплоть до мирового пожара наших дней, все порывы человека и достижения, все его поражения и победы...

Мы несколько отклонились в сторону от нашей первой задачи: мы хотели лишь ответить на вопрос о том, к какому времени относится процесс «очеловечения». Но тут кстати было наметить в общих чертах и последующие этапы развития, хотя бы для того, чтобы потом уже не возвращаться к их определению.

Остается вопрос последний: где именно происходило очеловечение, в каких рамках географических протекал этот процесс?

Но, формулируя вопрос таким образом, мы должны, прежде всего, спросить себя, имеем ли мы право ставить его так, верна ли вообще такая формулировка? В одном-

ли месте, а не в разных-ли местах земного шара одновременно возник человек из различных форм высших животных организмов, одинаково ему близких?

Теоретически, действительно, возможно и то и другое, и оба взгляда находили своих защитников среди ученых специалистов. Еще недавно, с легкой руки уже упоминавшегося нами выдающегося антрополога Клаача (умерл. в 1916 г. *)), по нашей науке прошла волна увлечения полигенетической теорией происхождения человека. Полагали, напр., что неандертальская и черная раса ближе к горилле, ориньякская и белая — ближе к орангутану (Клаач), или желтая раса ближе к орангу, а белая к шимпанзе (Horst, 1913) и т. п. В таком случае их общее происхождение и начало расхождения основных человеческих типов лежит под линией очеловечения, целиком в животном царстве.

Однако, это увлечение скоро улеглось, и теперь, насколько я вижу, большинство вернулось к прежнему взгляду о едином происхождении человека (Werth, 1918, см. выше; Branca и Stremme 1919, Luschau 1922). В пользу этого взгляда говорит, между прочим, явный факт, что, как ни отличаются друг от друга человеческие «расы», они связаны в одну ясно очерченную группу целым рядом общих всем им — и только им — признаков, резко отделяющих их, в конечном итоге, от всех хотя бы самых человекоподобных обезьян. Общий их источник, действительно, лежит под линией очеловечения, но точка их расхождения одна, откуда ведет линия с одной стороны к обезьяне, с другой — к человеку.

Поэтому и мы считаем себя вправе ставить вопрос именно так, как мы его поставили выше: в какой части

*) Его последний труд «Der Werdegang der Menschheit und die Entstehung der Kultur» издан уже после его смерти Гейльборном в 1920 г.

земного шара началось развитие человека — предка всех ныне существующих человеческих разновидностей?

Когда мы говорили о древнейших следах человека, нам приходилось упоминать только о средней и западной Европе, — Германии, Франции, Бельгии, Англии, так как все до сих пор известные находки из других частей света, приурочивавшиеся к ледниковому периоду (в Азии на Яве 1889 — 1891, в южной Африке, в южной Америке) оказались, по меньшей мере, спорными, вернее — совсем сюда не относящимися. Но, быть может, это случайность, объясняющаяся тем, что только в центральной и западной Европе производились систематические наблюдения и раскопки, тогда как вся Азия, напр. совершенно еще не исследована в этом отношении? Действительно, такая возможность есть, и в этом ахиллова пята всех подобных построений. Но все-же кое-какие аргументы уже теперь говорят непосредственно в пользу западной Европы, по крайней мере, как части прародины человека. Прежде всего, то обстоятельство, что здесь-же найдены несомненно древнейшие, первобытнейшие типы кремневых орудий, примитивнее которых едва ли найдутся артефакты в других частях земного шара. Даже орудия египетского палеолита, очень и очень древние, не восходят до таких первобытных форм. Затем, только здесь, в западной Европе, прослеживается непрерывная эволюция от древнейшего палеолита к более позднему, и к неолиту. Наконец, в последнее время все более выясняется, что еще в неолитическую и бронзовую эпохи именно из западной Европы исходили волны культурного воздействия на восток (Schuchhardt, Alteuropa, 1919), а не наоборот, как принято было думать раньше. Одним словом, с приведенной выше оговоркой, мы можем исходить в наших соображениях из этого взгляда, как из гипотезы, наиболее пока обоснованной.

Но, представляя себе процесс очеловечения в рамках средней и западной Европы, мы отнюдь не должны иметь в виду современную нам карту ее. В ту далекую пору наш материк имел совершенно иную форму, чем теперь, и иные связи с другими частями света. Последнее обстоятельство особенно важно для нас.

Еще до наступления ледникового периода, Европа, отличавшаяся тогда мягким теплым климатом, была значительно больше, чем в наши дни. Британские острова не отделены от материка каналом и от Скандинавии — Немецким морем: всюду здесь — сплошная суша от Ирландии на западе, до Финского залива на востоке. На юге Европа соединена с Африкой по крайней мере двумя широкими мостами: один из них соединяет Африку с Испанией там, где теперь Гибралтарский пролив, другой ведет от Туниса и Триполиса через остров Мальту и Сицилию в Италию. Нет ни Адриатического моря, ни Эгейского; Италия сплошной сушей соединена с Балканским полуостровом, Греция с Критом и Малой Азией. Средиземное море распадается в это время на два сравнительно небольших пресноводных бассейна, один от Испании до Италии, другой — от Сицилии до Кипра, также еще связанного с передне-азиатским материком. Но это еще не все. Здесь кстати будет упомянуть еще об одной гипотезе, принимающей именно теперь все более осязательные формы, а именно, что и Америка, северная и южная, когда то примыкала к Европе и Африке, и составляла с последними один сплошной материковый массив. С этой гипотезой выступил впервые А. Вегенер в 1915 г., затем в более обоснованном виде, в 1920 г. *). Он доказывает, что еще поныне Америка с каждым годом удаляется, как бы отплывает от нас на волнах океана (точнее так наз. симы, сплошного пояса толщиной приблизительно в 1400 кило-

*) A. Wegener, Die Entstehung der Kontinente und Ozeane. 1920.

метров, окружающего ядро нашей земли под более легкой и тонкой (около 100 килом.) земной корой). С 1829 по 1908 г. Гренландия отодвинулась от нас на 950 метров, т. е. на 11 метров в год, материк северной Америки с 1866 по 1892 г. в среднем на 3 метра в год. Видно, тенденция некоторых американских политических кругов — прочь от Европы! — вторит стремлению американского материка. Со временем Америка отодвинется еще дальше и, в конце концов, примкнет к восточным берегам Азии. Но было время — сотни тысячелетий тому назад, — когда она составляла одно целое с Европой и Африкой. Она оторвалась от них ранее всего на юге, где расстояние между южной Америкой и Африкой, составляет ныне около 6000 килом., позже всего на крайнем севере, где это расстояние значительно меньше.

Как ни фантастично на первый взгляд это представление, в корне уничтожающее давнюю сказку об Атлантиде — материке, поглощенном волнами океана, — оно даже в глазах профана теряет значительную долю своей фантастичности, если мы, взглянув на карту, увидим, до какой степени линия восточного берега обеих Америк отвечает линии западного побережья Африки и Европы: где там выгиб, здесь загиб внутрь и наоборот. Если сдвинуть разрозненные ныне материки, то выгиб северной Африки удобно поместится в Мексиканском заливе и Карибском море; с другой стороны, южная Америка с Бразилией найдут себе место в заливе Гвинейском; Нью-Йорк примкнет приблизительно к Лиссабону; Лабрадор и Нью-Фондленд к Ирландии; Гренландия к Шпицбергену. И поразительнее всего то, что этому соответствует и строение земной коры: где на западном побережье Европы или Африки обрывается в море какая либо горная цепь, там — в соответствующем пункте восточного берега Америки — эта же цепь продолжается в том же направлении и составе горных пород. Наконец, где в Европе проходит южная граница ледников, там в Америке тоже линия про-

должастся в совершенно ясных отложениях — моренах. Значит, Америка пережила ледниковый период, по крайней мере начало его, вместе с Европой, когда она составляла с последней еще один материк. Если все эти соображения и сопоставления окончательно оправдаются в науке — и время это, повидимому, уже близко, — какие перспективы открываются тут вглубь истории земли и человечества! Давно было замечено, что каменный век Америки в своих изделиях поразительно сходен с европейским; указывалось и на сходство в морфологическом строе языков северо-американских «индейцев» с языком басков, вполне изолированном, казалось, среди языков Европы. Эти сопоставления, казавшиеся беспочвенными и фантастическими, получают теперь совершенно иной смысл и оправдание.

Если все это так, то, очевидно, и в вопросе о прародине человека придется значительно расширить географические возможности. Быть может, и Америка частью входит в состав этой прародины, а в пределах Европы необходимо принять во внимание те территории севера, которые, как мы видели, теперь залиты волнами Немецкого моря. Быть может, на дне этого моря найдены бы те связующие звенья, которых теперь еще не хватает в цепи развития человека? С другой стороны, в виду отмеченной выше стародавней связи Европы с Африкой, составлявшей с нею также как-бы один материк, нам необходимо будет принять во внимание возможность очень древнего обмена флорой и фауной между этими ныне разделенными частями света. Что такой обмен имел место в очень значительных размерах, это уже теперь не подлежит никакому сомнению*). Значит, и в эту сторону также нам придется расширить рамки возможной прародины, и неод-

*) В доледниковый период, а также в межледниковье Европа имела значительно более теплый климат, чем ныне.

пократно в науке уже высказывалось предположение об африканском именно происхождении человечества (Дарвин, Кин) или, по крайней мере, древнейшей европейской расы — неандертальской, о которой была речь выше. Вспомним, что северная Африка представляла когда-то цветущую область; пустыня Сахара гораздо более позднего поледникового происхождения. Африканский палеолит, поразительно схожий с западно-европейским, приобретает с этой точки зрения особый интерес, как вообще вся древне-африканская культура, за последнее время все более привлекающая внимание исследователей (ср. работы Фробениуса).

Возвращаясь к исходному пункту этого отдела нашего изложения, мы должны, в конечном итоге, сказать, что западная Европа составляет, вероятно, лишь часть той территории, на которой происходил процесс развития человека из более древних форм. Эта территория тянется вокруг нынешнего Средиземного моря, хотя и не всюду непосредственно: Греция не знала палеолитической культуры, как не знает ее и Малая Азия. С такой оговоркой мы можем признать это море центром, вокруг которого происходит интересующий нас процесс, очагом человечества вообще. Чем дальше от него, тем больше бледнеют и теряются следы первобытного человека и его культуры. Немногочисленные признаки палеолита, найденные в России представляют пережитки более поздней поры: они все относятся ко второй половине палеолита, не к первой. Древнейшие из них принадлежат к четвертому периоду его (Киев, Карачарово на Оке), другие — еще моложе (Костёнки близ Воронежа, Мезинские находки Черниговской губ.) Не древнее четвертого палеолитического периода и немногие кавказские находки в предгорьях Казбека (1914). С другой стороны, давно уже было отмечено, что решительно все разновидности человечества, насколько их признаки сказы-

ваются в строении костяка и, в частности, черепа, имеют свои соответствия и прототипы в находках ледникового периода западной Европы. Прямым доказательством нашего взгляда все эти соображения служить не могут, но совокупность их, думается нам, все-же сильно поддерживает именно эту гипотезу, хотя многое еще остается неясным.

II

В предыдущем мы имели дело только с безименными племенами. Мы придумывали для них названия — неандертальцев, ориньякцев, кро-маньонов — по случайному внешнему признаку, месту нахождения их останков; мы как-бы прикрепляли к ним известные ярлыки, чтобы удобнее различать их. Такими-же ярлыками мы снабжали сменяющиеся во времени культуры, безотносительно к их носителям, но преобладающему материалу дошедших до нас изделий: каменный век, бронзовый, железный. И они также оставались безименными на всем протяжении доисторического и протонисторического времени. И это потому, что материал наш сам по себе был нем и ничего не говорил об этнологическом характере всех этих племен и культур.

Картина сразу меняется, когда мы переступаем через порог истории. Перед нами вдруг разворачивается богатый, пестрый в своем этническом составе мир: Европа кишит народами, и у каждого свое имя, не ярлык только; у каждого — своя история. Они нам хорошо знакомы, потому что одни из них еще теперь живы среди нас, — таковы греки, славяне, кельты, германцы; другие живут в народной памяти, в устной и письменной традиции, — таковы пелазги, этруски, лигуры...

Откуда все они? Мы оглядываемся на археологию, ища у нее разъяснения. Да, проведенные ею линии на

лицо, — пестрое сочетание, скрещение и чередование культур; но они врезаются в этот кипящий жизнью мир племен и народов лишь внешне, пространственно и хронологически, не сливаются с ним по существу.

История начинается для разных частей Европы в разное время. Она застаёт напр. греков во II тысячелетии до Р. Хр. в северной Греции, живущими, вероятно, культурой примитивного бронзового века, а славян в западной России в I веке по Р. Хр. Значит ли это, что нам стоит лишь проследить археологию этих двух областей вглубь времен, чтобы выяснить древнейшую культурную историю греков и славян? К сожалению — нет! Мы отлично знаем неолитическую культуру северной и средней Германии и с полной отчетливостью различаем в ней отдельные «культурные провинции»; но мы совершенно не знаем, были ли носители этой культуры германцами, не сидели ли там в ту эпоху другое племя, вытесненное лишь впоследствии предками немцев. Не дурно знаем мы и неолит югозападной России, так наз. трипольскую культуру Подольской, Киевской, Черниговской и Херсонской губерний; но славянами ли были его носители? не финнами ли? или кельтами, несомненно заходившими за Карпаты? или киммерийцами, или еще каким-нибудь племенем, ныне исчезнувшим и забытым? Во всех этих вопросах нам необходимо считаться с очень значительными передвижениями народов; мы догадываемся о них в доисторические времена, мы знаем о них в пору ранне-историческую, и знаем, что они шли в различнейших направлениях параллельными и пересекающимися линиями. Передвижения эти не прекращаются в течение веков и тысячелетий, и первые лучи истории почти всюду в Европе застают их в полном разгаре.

Между тем, рисунок археологии не соответствует этой живой и подвижной картине. Если линии его подчас и говорят о расширении границ той или иной культуры, ли-

бо о перенесении ее целиком или частично на иную территорию, то ведь надо помнить, что такое перенесение не предполагает обязательно народного передвижения, оно могло совершаться и фактически часто совершалось иным путем, через посредство международных торговых сношений и культурных воздействий, — как, с другой стороны, и народ, передвигаясь, далеко не всегда сохранял на новом месте свою прежнюю культуру, а часто перенимал ту, которую здесь заставал. Одним словом, народные переселения далеко не всегда оставляли след в археологическом рисунке соответствующей территории. Вот почему этот рисунок неподвижнее, и выносишь впечатление, словно культура живет своей более устойчивой жизнью, а народы, часто сменяющиеся, живут своею. Их судьбы не совпадают, а потому и нельзя переносить на народ культурную историю той области, в которой его застаёт история. Кто жил в этой области раньше, — мы еще не знаем, и немой археологический материал нам ответа на этот вопрос не дает. Как он ни богат, как ни ценен для разъяснения общей истории культурной эволюции человечества, канвы историко-этнографического развития он дать не может, как он не в состоянии перенести живые народные названия исторического времени на безыменные культурные явления доисторического и выяснить ранние судьбы и происхождение народов, внезапно встающих перед нами на пороге истории.

Не поможет ли антропология? не удастся ли проследить «расовые» типы нынешних европейских народов назад вглубь времен, связать их с определенными типами далекого прошлого и тем преодолеть мертвую точку, лежащую между доисторической эпохой и исторической?

Увы, не удастся и это.

Пока мы блуждали в дебрях палеолита, дело обстояло просто. Мы встретили там на первых порах тип неандертальца, как будто очень далекий от нашего. Несколько

тысячелетиями позже (начиная с четвертого периода палеолита) мы натолкнулись на более близкий к нам тип ориньяка, который с этого времени преобладает. Правда, между той первой половиной палеолита и этой второй проходит резкая грань, через которую еще не удалось провести соединительную линию; открытым остается вопрос, произошел ли второй, высший тип из первого путем естественной эволюции, как полагают многие исследователи, или он развился где-то в ином месте и вторгся оттуда в территорию неандертальцев, как полагают другие. Но из скрещения этих двух первобытных типов легко выводятся разновидности более позднего палеолита, и мы могли пока удовлетвориться этим.

Однако, уже в эпоху неолита дело значительно осложняется: разнообразие быстро возрастает, и к началу исторического времени перед нами пестрый хаос многообразнейших типов: брюнеты, русые и блондины всех оттенков и переливов, с глазами темными, карими, голубыми всяких тонов; длинноголовые — долихоцефалы, короткоголовые — брахикефалы, среднеголовые — месоцефалы и бесконечное количество переходных между ними ступеней. Они живут в перемешку, по крайней мере в Европе, входя во всем своем разнообразии в состав одного и того же народа; они объединяются в одном поселении, в одной семье. Правда, в определенной области обычно преобладает один какой-нибудь тип: в северной Европе, напр., длинноголовые блондины, в южной — брюнеты. Но нет области, в которой господствовал бы исключительно один. Таково положение в наше время, таким оно было уже в эпоху неолита, на сколько мы можем судить по многочисленным, учащающимся к этому времени погребениям.

Наука пыталась внести в этот хаос некоторый порядок и систему, установив понятие «расы». Она понимает под эти термином совокупность людей, объединяемых общностью одинаковых физических признаков, независимо от принад-

лежности их к тому или другому народу, племени или культуре. Критерии деления могут быть разные, смотря по тому, какие признаки внешнего облика человека мы положим в его основу. Сначала судили по общему впечатлению, производимому известной группой лиц или народов, не отдавая себе отчета в расхождении их, подобно тому, как мы в житейском обиходе говорим — весьма поверхностно и легкомысленно, — о славянской, германской, романской, ныне даже об «англосаксонской» расе. Более научная систематизация пыталась положить в основу краниометрический критерий, основанный на измерении черепов, а когда он оказался недостаточным, то привлекли к делу еще и другие: рост, форму лица, окраску кожи, волос, глаз. Но это не помогло, все попытки систематизации оказались произвольными, и чем дробнее деление, тем оно неубедительнее. Старое традиционное деление Блюменбаха признавало пять рас (кавказскую, монгольскую и т. д.) За этим следуют шесть (Buffon), семь (Peschel), восемь (Agassiz), двадцать два (Morton), шестьдесят (Crawfurd), а англичанин Кеппе недавно (1901) вернулся к четырем. Для одной Европы француз Deniker устанавливает шесть рас (это — наиболее распространенное теперь деление), немец Kollmann четыре, итальянец Sergi — девять главных с сорока четырьмя подразделениями и семнадцатью вариантами.

Отсюда с полной очевидностью явствует, что понятие расы вообще еще не установлено и, во всяком случае, произвольно. Природа не знает линий, разграничивающих расовые типы, ни географически, ни по существу: она всюду дает бесконечную цепь постепенных переходов до пределов нормальных человеческих форм вообще. Линии-границы проводим мы, искусственно и произвольно, часто становясь в противоречие сами с собой и с природой. Мы различаем, напр., «белую» и «желтую» расу, имея в виду крайние звенья развития в одном и другом напра-

елении; но мы не можем их разграничить пространственно и указать в центральной Азии, где кончаются «белые» и начинаются «желтые». (Luschan, 1922). Мы собственно не знаем, что называется «расой». Исходя из вероятного, хотя и не вполне еще доказанного предположения о единстве происхождения человека (см. выше), мы логически вынуждены признать расовую дифференциацию явлением вторичным, т. е. вышедшим из первичного единства. Но как она возникла? Чем объясняется расхождение? Почему и как развиваются расовые признаки? Мы привыкли приписывать их влиянию климата и окружающего мира. Такое влияние несомненно наблюдается (Boas, 1922). Не меньшее значение имеет, конечно, половой подбор и в особенности вековая географическая обособленность многих групп, получавшаяся в результате далеких переселенческих движений, наконец, в дальнейшем, скрещение разных типов между собой. Много могло быть и было причин. Но самый процесс остается, в основе своей, неясным. Здесь не место, конечно, входить в разбор этих вопросов, которым, кстати сказать, за последние годы много занимались в науке. Важен для нас только общий вывод: при охарактеризованном положении дела, все деления человечества по расовым признакам имеют пока лишь методологическое значение, как попытки систематизации материала. Никаких выводов историко-генетического характера они не допускают и пути к живому уразумению прошлого они нам не укажут.

Как же быть? неужели нам не сдвинуться с мертвой точки, отделяющей наш мир от доисторического?

Нет, мы не так уж бессильны. В нашем распоряжении имеется еще одно средство, при помощи которого нам, быть может, удастся, если не окончательно решить всю проблему, то хотя значительно приблизиться к ее решению.

Археологическая и антропологическая картина доисторического мира потому нема и чужда нам, что в ней не

хватает языка. Если бы мы знали язык, на котором говорил человек, найденный в неандертальском ущелье, — если бы мы знали речь ориньякцев, — весь этот молчаливый мир ожил бы и заговорил, живая нитка перенеслась бы оттуда через тысячелетия к нам и сразу установилась бы контакт, которого теперь не хватает.

Язык — важнейший хоть и не всегда решающий этнологический признак, объединяющий людей в ясно очерченные группы независимо от их внешнего облика и культуры. Мы до сих пор намеренно не говорили о нем; в дальнейшем мы будем говорить о нем преимущественно.

Далеко ли вглубь времен заведет нас язык? На первый взгляд — не очень далеко. Подлинные дошедшие до нас записи живой речи начинаются в юго-западной Азии приблизительно за четыре тысячелетия до Р. Хр. (см. выше), в южной Европе — значительно позже, в первом тысячелетии до начала нашего летоисчисления; еще гораздо позже в средней и северной Европе. У германцев, напр., в III-м веке, у славян в IX-м, у литовцев лишь в XV-м веке по Рожд. Хр. Но не говоря уже о том, что некоторые из этих сравнительно поздних записей передают речь гораздо более древнюю (как, напр, гимны Риг-Веды, восходящие к очень значительной старине, и поэмы Гомера, передающие речь не моложе VIII века до Рожд. Хр.) каждый из этих языков, связанных с определенным этнологическим представлением, имеет свою долгую историю в прошлом, и научная лингвистика дает нам возможность проникнуть вглубь ее далеко за пределы письменной традиции. И взаимоотношения многих из этих языков, в общем, ясны, и на этой почве выясняется, до известной степени, их генеалогия.

Направление, в котором здесь ведется работа, диаметрально противоположно тому, в каком идет работа историко-антропологическая и, в особенности, археологическая. Там мы могли и должны были исходить из первых при-

знаков человеческой жизни на земле и вести линию исследования дальше, навстречу нашему времени. Здесь же, наоборот, мы должны начать с конца и вести исследование в обратном направлении, вглубь, навстречу той первой линии. Мы словно пробиваем туннель в толще горы, начиная с двух противоположных концов, как это делают инженеры. Встретятся ли линии работ по середине? Удастся ли связать их и пробить сквозной путь через всю громаду?

Оглянемся, прежде всего, в новом материале. Он не менее пестр и разнообразен, чем антропологический, и много в нем общего с ним. По всему пространству земного шара, занятого человеком, раскинулось великое множество языков: до настоящего времени их зарегистрировано свыше 900. Но число это — условное, так как отчетливые границы между понятиями «языка», «наречья» и «говора» нет. Называть ли речь Белоруссии либо Голландии самостоятельными языками или лишь наречиями русского и немецкого языков, это спорно и для нашей цели безразлично. Научно вопрос ставится совершенно иначе, — вдаваться в это мы не будем, — а в обиходе он обычно решается в зависимости от политических и культурных судеб и притязаний данной области: голландскую речь мы считаем «языком», а белорусскую — «наречием». Вопросы эти могут иметь значение в связи с пресловутым правом народного «самоопределения», но нас это здесь не касается.

Территория языка — главного признака народности — совпадает с территорией говорящего на нем народа, но далеко не всегда совпадает с народным государством, если таковое вообще существует. Часть русского народа входит в состав польского и румынского государства, часть немецкого — в состав Швейцарии, Австрии, а теперь и Франции, и Италии.

При нормальной пространственной эволюции языка, резких лингвистических границ возникнуть не может. Говоры, расходясь между собой в своем развитии, образуют непрерывную связь постепенных едва заметных переходов, так что провести линию, отделяющую одно наречие от другого, бывает трудно, вернее — невозможно без насилия над материалом: приходится произвольно подчеркивать одну какую-нибудь черту, раз'единяющую два соседних говора, в ущерб другим чертам, соединяющим их. Тут полная аналогия с явлениями антропологического характера, отмеченными выше.

Таково, обычно, положение в границах одного какого-либо языка, напр., русского или, еще резче, немецкого, где от Немецкого и Балтийского морей до Альп наречия, постепенно, без скачков, меняя свой облик, разошлись так сильно, что крестьянин севера совершенно не понимает живую речь баварца или немца-швейцарца. Иногда такие же постепенные переходы ведут от одного «языка» к другому родственному, напр., от французского к испанскому с одной, к итальянскому с другой стороны. Отчетливые границы возникают не в силу органического развития языка, а по другим причинам: когда обрывается географическая связь между живыми говорами, — как случилось с исландским языком, представляющим самостоятельное развитие (с IX века) норвежского языка в силу географической обособленности; или, когда политические и культурные судьбы проводят резкую грань между разными частями одного и того же народа, группируя говоры по одну сторону ее вокруг иного политического и общественного центра, заставляя их жить иной жизнью, чем говоры по другую. Так случилось с голландским языком в отношении немецкого, с украинским в отношении русского. Так вообще возникают «языки».

Группа языков, вышедших, таким образом, из одного источника и восходящих к одному общему праязыку, об-

принимается в племенные семьи. Такова славянская семья (языки русский, польский, чешский, сербский и т. д.), германская (немецкий, голландский, английский в своей основе, датский и т. д.), кельтская (бретонский, кимрский, ирландский, галльский и т. д.), романская (французский, испанский, португальский, итальянский, румынский и т. д.), балтийская (литовский, латышский), находящаяся в ближайшем родстве со славянской; в Азии арийская (индо-иранская) и т. д., и т. д. Наконец, подобно тому, как наречия и говоры объединяются в языке, и родственные языки в племенной семье, так и родственные между собой племенные семьи объединяются в высшей единице более широкой семьи, о которой мы также предполагаем, что она вышла из одного источника, развилась из когда-то единого «праязыка», носителем которого был «пранарод». Так, все названные нами языки и племенные семьи их объединяются в понятие общей индо-европейской семьи, к которой, кроме перечисленных, принадлежат еще тохарский в средней Азии, албанский и армянский языки. Мы говорим, на этом основании, об «индо-европейском праязыке» и «пранароде». Обнимает эта семья, как видно, все европейские языки (кроме турецкого, угро-финских и баскского), и часть азиатских (арийскую группу, армянский и тохарский язык).

Лингвистика усиленно занимается разбивкой всех известных доселе языков земного шара на такие «семьи», и возможно точным определением характера каждой из них. Работа эта далеко еще не закончена, в особенности по отношению к африканским, дальне-восточным, австралийским и американским языкам. Есть и в Европе язык, которого до сих пор никак не удавалось пристроить к какой-либо известной нам семье, — это язык пиринейских басков, о котором мы подробнее скажем ниже.

Перечисление всех уже установленных семей не входит в нашу задачу*). Мы ограничимся лишь указанием тех из них, которые могут иметь значение для решения нашей ближайшей проблемы. Это — кроме названной уже, важнейшей для нас семьи индо-европейской — семья семитическая (языки еврейский, арамейский, сирийский, арабский и т. д., в древности еще вавилонский, ассирийский и финикийский); ее обычно ставят в связь с семьей хамитической (языки северной, отчасти центральной, восточной и даже южной Африки: египетский, берберский, язык сомали, масай и др.). Ближе к нам семья угро-финская (язык суоми в Финляндии, эстонский, черемисский, мордовский, зырянский, мадьярский или венгерский и т. д.).

К этим четырем семьям, особенно важным для нас, в последнее время присоединилась еще пятая, заслуга открытия и ближайшего определения которой принадлежит русскому ученому, петроградскому профессору и академику Н. Я. Марру. Исходя из изучения многочисленных кавказских языков, лучшим знатком которых он является, Марр мог доказать, что все они (грузинский, мингрельский, чанский, абхазский, сванский, черкесский, кабардинский и т. д., и т. д.), несмотря на сильное расхождение их, мешающее взаимному пониманию, составляют одну единую семью, в таком же смысле, в каком установлены семьи индо-европейская, семитическая и т. д. Новую семью он назвал «яфетической», главным образом, потому, что он ставил этих «яфетидов» в ближайшую связь с семитами и хамитами. Название это оспаривается некоторыми учеными, в особенности на западе. Но нельзя же не признать за исследователем права назвать открытое им явление тем именем, которое он считает наиболее подходящим. Это право без оговорок признается за любым ботаником,

*) Последняя работа об этом: F. Finck: «Die Sprachstämme des Erdkreises». III издание, 1922.

зоологом, вообще естествоиспытателем; почему же не признать его и за филологом, тем более, что термин выбран бесспорно удачный: он сам по себе безразличен, ничего не предвещает, не ставит никаких пределов развитию понятия ни географически, ни исторически. Мы увидим сейчас, что именно этой афетической семье суждено, повидимому, сыграть очень значительную роль в разрешении интересующей нас проблемы.

Возвращаемся пока к общему вопросу.

В этих широких лингвистических «семьях» перед нами явление, которое может быть поставлено в параллель с антропологическими «расами». Действительно, часто лингвистическая семья понималась и, к сожалению, нередко понимается и теперь еще, как раса и прямо отождествляется с нею: говорят об «индо-европейской (или арийской) расе», о «семитической расе» и т. п. Это — недоразумение, основанное на роковом смешении совершенно разнородных понятий, и лишь затемняющее научное понимание дела. Раса по существу ничего общего с лингвистической семьей не имеет: первая объединяет группу людей по общим признакам их физического облика, да и то, как мы видели, условно и произвольно, с большими оговорками, определяя само понятие скорее отвлеченно, чем реально. Лингвистическая же семья объединяет языки в ясно и резко очерченные группы, на основании совершенно реальных, исключаящих друг друга признаков, без всяких оговорок и независимо от расовых признаков. Ни об одном действительно исследованном языке не может быть сомнения, к какой семье он принадлежит. Кто может сомневаться в принадлежности, напр., славянских языков к индо-европейской, а не к семитической семье? Если относительно тех или иных языков еще существуют колебания на этот счет, — как напр., относительно древне-шумерского, — то вина тут не в самом языке, а недоследовательности его. «Расы» и

лингвистическая «семья» — явления двух совершенно разных плоскостей и смешивать их отнюдь нельзя.

Но тем не менее есть в них две черты схожие, и это необходимо оговорить: они сказываются в процессе их возникновения и развития.

Первая из этих черт сводится к тому, что как раса, так и лингвистическая семья явление вторичное, не первичное, и разнообразие их восходит к первоначальному единству. Действительно, если человечество имеет единый источник, исходит из одного места, и если возникновение человеческого языка — что уже совершенно бесспорно, — лежит на линии очеловечения языка животных, являясь одним из главных признаков этого процесса, то не может быть речи о том, чтобы отдельные лингвистические семьи могли возникнуть самостоятельно, независимо друг от друга. Все они должны восходить к одному началу, как бы примитивно оно ни было. Этот вывод и логически и исторически неизбежен, хотя лингвистика часто о нем забывает, не додумывая мысли до конца. За последние десятилетия все чаще раздаются голоса, доказывающие реальное родство индо-европейских языков с семитическими (Делитш, 1873; Мёллер, 1906 и 1911; Петерсен, 1903 и 1907 сл.), и с угрофинскими (Андерсон, 1879; Кёппен, 1886; Викалунд, 1906; Паасонен, 1908); о родстве угрофинских языков с тюркским и с японским писал Г. Винклер, 1909 и 1911. Если об этом еще спорят, то только потому, что реальных следов такого родства вследствие сильного расхождения сохранилось мало, и наивно было бы думать, что мы когда-нибудь будем в состоянии фактически восстановить общий семито-индо-европейский праязык, а тем более — язык наших предков из палеолита. Но по существу вопрос бесспорен, если вообще есть в человечестве генетическое единство. Надо лишь отдать себе отчет в том, что язык — плод общности по преимуществу. Возникая по-

степенно из различных форм и способов общения животных между собой, — криков, неясно артикулируемых звуков, толодвижений и жестов, — этот слагавшийся «язык», по необходимости, был очень беден с одной стороны, очень неопределен и неустойчив в звуках и формах — с другой. Он мог приобретать некоторую устойчивость лишь в силу долгого непрерывного общения «людей» между собой. Эта первоначальная неустойчивость должна была выразиться в значительных колебаниях, которые при отсутствии сплоченности групп устранялись в различных семьях различно. Таким образом, уже в первых поколениях — если можно так выразиться, — с первых же слабых шагов в сторону очеловечения способов общения, дана была возможность значительного расхождения в установлении и укреплении этих способов, и расхождение это увеличивалось и углублялось по мере того, как разрасталась и разветвлялась первобытная семья. Одним словом, источник один, но струи, вытекавшие из него, уже рано могли разбегаться и несомненно разбегались в разные стороны. Единого первобытного «языка» в нашем понимании этого термина и не было никогда; были лишь основные элементы, — жесты, звуки и сочетания их, — из которых он постепенно слагался, да и то, повторяю, неустойчивые, колеблющиеся. Язык же, — точнее говор, общий более широкой группе людей, слагается уже позднее, в период большей общественной концентрации, из взаимодействия индивидуальных и семейных форм общения. А затем уже говор разрастается в «язык», который в дальнейшем дифференцируется параллельно с дифференциацией групп, его создавших.

Такова первая черта, общая расе и лингвистической «семье». Они обе — сравнительно позднего происхождения.

Вторая общая им черта также относится к процессу их развития: как в эволюции расы, так и в истории языка очень значительную роль играет скрещение.

Мы стоим тут перед чрезвычайно важным фактом, в который необходимо всмотреться.

В развитии языка сказывается действие двух разнородных сил, которые можно назвать органическими и неорганическими. Первые, органические, коренятся в условиях жизни живой речи при общности людей между собой. В этой речи всегда проявляются легкие, обычно неуловимые и редко воспринимаемые слухом колебания. Ведь произносимое слово — результат очень сложного сочетания движений дыхательных органов, голосовых связок, мускулов языка, полости рта, — сочетания, абсолютно точное повторение которого, пожалуй, даже невозможно; всегда скажутся, хотя и не замечаются, легкие отклонения в ту или иную сторону, в речи всякого индивидуума при повторении одного и того же звука, а тем более в речи группы лиц. Отклонения эти обычно исправляются постоянным общением говорящих между собой, и слово получает в сознании их как бы «нормальную» форму, которая и передается из поколения в поколение. Но бывают случаи, когда в известной сплоченной среде такие колебания начинают сказываться сильнее, принимая уклон всегда или преимущественно в одну сторону; в таком случае в эту же сторону начинает меняться в сознании говорящих и «нормальная форма», получается то, что лингвистика называет «звуковым законом», и его действию подвергается затронутый им звук во всех словах, в которых он стоит в одинаковых условиях. Таким путем возникло, напр., так называемое русское полногласие (праслав. *melko*, древне-болг. *млеко*, русск. *молоко*; древне-болг. *глас*, русск. *голос* и т. д., и т. д.); или немецкий переход из долгого *i* в *ei*: из древнего *mīn* получилось (не во всех наречиях) *mein*, из *liden* — *leiden* и т. д.

Таковы органические силы. Характерно для них то, что они действуют чрезвычайно медленно, и проявление их, начавшись в одном месте, медленно - же распространяется по территории данного языка. Так, только - что указанный немецкий переход *i* в *ei* начался на юге уже в X веке, а закончился в средней Германии лишь в XVI. Язык, живущий обособленно и предоставленный в своем развитии только таким органическим силам, меняет свой звуковой облик очень медленно; примером может служить язык литовский, самый архаичный из всех индо-европейских.

Совершенно иного характера силы неорганические: они сводятся к воздействию извне, со стороны другого языка, при длительном общении с ним в силу торговых сношений, завоевания и т. п. Сказывается это воздействие раньше и ярче всего в заимствовании слов, обычно для обозначения понятий, бывших до этого чуждыми жизни данного народа. При этом высшая культура естественно навязывает nižей большее количество таких понятий и слов, чем обратно. Примером может служить взаимодействие славянских и германских языков, обменивавшихся в течение своего многовекового географического соседства массой таких культурных слов. Часто мы можем установить и эпоху заимствований. Так, в древнейшую, еще праславянскую пору славяне перенимали у германцев (вероятно гóтов, господствовавших в то время в югозападной России) ряд обозначений из государственного и военного быта: русск. князь, броня, мечь восходят к готск. *kunings*, *brunjo*, *meki*; более чем тысячелетием позже заимствовано русско-польское гетман из немецкого *Hauptman*. Слово «кнут» русский язык получил из варяжского (древне-шведского) *Knutz*, «рюмку» из немек. *Römer*, «кустарь» из «*Künstler*» и т. д. С другой стороны, немцы взяли у славян напр., *Grenze* (из «границы»), *Quark* (из «творога»); немецкое слово *Schmetterling* (бабоч-

ка) образовано от *Schmetten*, которое ничто иное, как слав. «сметана». Таких слов очень много, и сопоставление их дало бы интересную картину взаимодействия двух культурных миров, славянского и германского, на почве векового мирного общения.

Но заимствованием отдельных слов взаимодействие в области языка далеко не ограничивается. Иногда из одного языка переходит в другой, соседний, и звуковой закон, как своего рода зараза, распространяющаяся на территории чуждой. Так, напр., картавое произношение звука *г*, так резко сказывающееся теперь почти во всех частях Германии, привилось здесь лишь в течение последних ста лет и объясняется влиянием романских соседей, в частности, французов.

Наиболее резко, наконец, взаимодействие может сказаться там, где один народ путем завоевания или колонизации подчиняет себе область иноязычного. Если он недостаточно силен, численно или культурно, чтобы навязать подчиненному народу свой язык (как случилось во Франции и Испании, язык которых произошел из языка римских завоевателей), но и недостаточно слаб, чтобы исчезнуть совершенно (как было в России с языком пришлых из-за моря варягов-шведов), то с течением времени тут может образоваться смешанный тип языка, в котором оба элемента участвуют приблизительно в равной мере. Ярким примером такого смешения может служить современный английский язык, образовавшийся, начиная с XII века, из слияния чисто германского англосаксонского языка подчиненной народной стихии с французским языком завоевателей норманнов. На дальнем востоке на почве постоянного мирного общения европейцев и местного населения образовался деловой язык, так наз. *пиджин*, представляющий своеобразную смесь английского с китайским и получивший очень широкое распространение.

Во всех этих случаях мы имеем право говорить о «скрещении языков», как мы говорим о скрещении «рас» в антропологии. И здесь и там из такого скрещення возникают новые типы, сочетающие и сливающие в едином живом организме признаки обоих создавших его разнородных элементов.

Однако, пора нам вернуться после длинного, но необходимого отступления, к нашей главной теме.

Если мы вспомним то, что сказано выше о народных передвижениях и переселениях в доисторические и ранние исторические эпохи, то мы заранее можем и даже должны допустить, как одно из следствий этих движений, возможность разнообразных видов воздействия языков древней Европы друг на друга, вплоть до крайних форм его, т. е. до скрещення и возникновения новых языковых типов на почве таких скрещенных.

Давно уже наука обратила внимание на тот, теперь уже несомненный факт, что индо-европейские народы — не исконные жители всей Европы, занимаемой ими теперь; что, в частности, на юг ее, в Грецию и Италию, они пришли лишь на пороге исторического времени, т. е. не ранее II тысячелетия до Р. Хр., а в Испанию, Францию и на британские острова разновременно не ранее первого. Здесь они заняли не безлюдные земли, а заставляли всюду народы не индо-европейской семьи. Мы знаем и имена многих из них; они живы в устных и письменных преданиях позднейшего времени. Важнейшие из них в Греции, пелазги (на острове Лемносе еще в VI веке до Р. Хр. говорили, вероятно, по пелазгски), в Италии этруски, в Альпийских областях — рэты (по Титу Ливию — ближайшие родичи этрусков); западнее, по побережью, и во Франции — лигуры, в Испании — иберы, остатки которых мы вправе видеть в пиринейских басках; на британских островах каледоны и силуры, предки скотов и шкотов.

Эти исторические указания находят подтверждение в некоторых открытиях, относящихся к материальной культуре этих стран: по крайней мере, в Испании, и в особенности в Греции (южной, на Крите, и на островах Эгейского моря) археология доказала наличие очень древней бронзовой культуры, которая не может быть индо-европейской, так как она значительно выше и богаче той, с которой сюда явились первые индо-европейцы.

Наконец, тот же до-индо-европейский слой нащупывается теперь и в фактах языка, в очень древних названиях местностей (в особенности, рек и гор), да в отдельных словах в составе греческого, латинского, романского, колтского лексикона, которые не могут быть объяснены из индо-европейского.

Но все же мы не знали этих до-индо-европейских языков нашего материка, неясен был поэтому этнологический характер этих народов и открытым оставался вопрос, принадлежат ли последние к одной какой-либо лингвистической семье, или к разным. Попытки разъяснения этих вопросов давали до сих пор неудовлетворительные результаты. Так, с хамитическим миром северной и восточной Африки хотели связать басков (Conon von der Gabelentz, 1894; H. Schuchardt, 1912), и сл. древнейших жителей Галии и Британии (Pokorny, 1922; Adametz, 1920), с угрофинами басков же (Gutman), этрусков (Martha, 1913). Есть и другие еще, столь же мало обоснованные гипотезы.

Решение этой важной проблемы — надо полагать, окончательное — дала яфетидология, которая, не ограничившись установлением факта яфетической семьи языков, получила гораздо более широкий размах, включив в сферу своих изысканий Европу и мир индо-европейский. Марр доказал, что и баскский и этрусский языки принадлежат к той большой семье, которая еще теперь — в

значительных остатках — жива на Кавказе. А так как, по свидетельству древних, в близком родстве с этрусками находятся с одной стороны рэты, с другой стороны пелазги, то, очевидно, к той же семье надо отнести и древнейшее население альпийских областей и Греции, носителей богатой эгейской культуры *). Действительно, едва ли не все отмеченные в преческом языке до-индо-европейские слова, находят себе объяснение в яфетическом. Тот же яфетический слой постепенно раскрывается в кельтских языках, в германских; и не только в языках, но в верованиях, преданиях и обычаях народных. До нас словно доносятся далекие звуки — отголоски погибшей жизни, из какого-то яркого когда-то мира, ушедшего вглубь, залитого волнами нахлынувшего на него индо-европейского моря.

Все более выясняется, что этот древнейший мир, раскинувшийся на всем пространстве Европы, дифференцированный культурно, говорящий на разных, но родственных между собой языках, этот грандиозный этнический мир, давно забытый и теперь лишь оживающий в науке, исчез не бесследно, а оставил по себе яркий след по всей линии европейской жизни вплоть до наших дней. Мы только не умели распознавать этот след, и лишь теперь этому научаемся. Особенно отчетливо сказывается он в области языка. Если основные положения яфетидологии окончательно оправдаются в предстоящих кропотливых и многообразных изысканиях — в чем пишущий эти строки не сомневается, — то лингвистике придется пересмотреть свое прежнее понимание исторического индоевропеизма. Индо-европейские языки несомненно вышли из одного источника, они восходят к одному общему всем индоевропейскому праязыку. Где он жил — вопрос

*) Этот вывод давно предчувствовался в науке: этрусков связывали с Кавказом уже Pauli, 1894, Томсен, 1899, басков — Н. Winkler, 1909.

другой. Но этот праязык пока — что лишь логический постулат, не исторически данный факт. Что же касается фактически известных, исторически данных индо-европейских языков Европы, а, вероятно, и Азии, то они все без исключения не прямое продолжение, органически развившееся из этого индо-европейского праязыка, а результат скрещения отдельных его говоров с теми праевропейскими, т. е. яфетическими языками, которых пришлые индоевропейцы застали во вновь занятых ими областях. Этим, прежде всего, объясняется столь сильное расхождение их между собой, которое было бы непонятно при действии одних только органических сил. В их развитии произошел перелом в процессе скрещения. Потому-то и нельзя возводить весь состав словаря исторических индоевропейских языков, к индо-европейскому же праязыку: значительная доля восходит к праевропейскому, т. е. яфетическому. Таких слов в каждом европейском языке не мало, — гораздо больше, чем мы привыкли думать. В немецком языке, где подсчет уже произведен, они составляют свыше 30% словаря.

Но не в одном словарном составе сказывается эта яфетическая подпочва, она ярко выступает, и в словообразовательных элементах — суффиксах и префиксах, — и в морфологических категориях склонения и спряжения. В этом, кстати сказать, лучшее доказательство того, что мы имеем дело не с простым заимствованием отдельных слов, как при охарактеризованном выше взаимодействии славянских и германских языков, а в полном смысле с скрещением, создавшим новый тип, — тот именно, который мы видим перед собой в исторически данных так называемых индо-европейских языках. Ярким и уже вполне выясненным примером такого скрещенного типа может служить армянский язык, в котором с особенной ясностью выступают оба элемента, из которых он создан: основной яфетический (в двух самостоятель-

ных видах) и индо-европейский, скрестившийся с ним около IX — VIII века до Р. Хр.

Таким образом, понятие индо-европеизма, столь привычное нам и нашей школьной науке, заслоняется новым понятием скрещенных языков. А чистое индо-европейство, все же предполагаемое и новым построением, уходит куда-то в неведомую даль, откуда оно выступает не ранее третьего тысячелетия до Р. Хр., не на смену первобытному населению Европы, а для скрещения с ним и для внесения в него ферментов того брожения, которое привело к созданию исторической европейской культуры.

Откуда оно взялось? Мы стоим перед давним вопросом о прародине индоевропейцев, о котором так много писали, так много спорили. Искали ее и в центральной Азии, на Памире и западнее, и в южно-русских степях, и на нижнем и среднем Дунае, и в центральной и даже северной Европе, и в Армении. Не решенным остается этот вопрос и для нас. На основании наших новых данных мы можем лишь с уверенностью сказать, что в центральной и западной Европе ее искать нельзя. Едва ли и в центральной Азии, по разным соображениям, входить в разбор которых здесь не место. Если можно высказать догадку, пока мало обоснованную, то скорее всего прародину индоевропейцев следует искать в средней России, в соседстве или на месте русских славян и литовцев. Мы уже говорили о высокой архаичности языка последних, указывающей на то, что в нем меньше, чем в других индоевропейских языках сказалось действие неорганических сил, иначе говоря, что он меньше других приходил в соприкосновение с неиндоевропейскими языками, и, следовательно, оставался ближе других к прародине индоевропейства. Высоко архаичен и славянский язык. Если-б он дошел до нас в формах IX века по Р. Хр., а в формах, современных языку индийских вед, он вероятно значительно превзошел бы последний древностью че-

кана. Не лишне указать в связи с этим и на архаичность многих черт народного быта восточных славян. Один из лучших знатоков этих вопросов, недавно (1919) скончавшийся О. Шрадер, в последних своих работах особенно подчеркивал это обстоятельство, привлекая славянский материал при реконструкции пра-индо-европейской старины.

Но где бы ни находилась колыбель индоевропейства, оно явление сравнительно позднее. Оно могло возникнуть лишь по окончании ледникового периода, в эпоху неолита. Об особой какой-то расе здесь речи быть не может: век неолита уже не знает в Европе чистых «рас». Индоевропейство — людское сообщество — народность, быть может, на первых порах и не очень многочисленное. Порвав первоначальную связь с яфетитами и семито-хамитами, с которыми его — до разрыва — связывал общий всем им флективный строй речи, сам по себе уже поздний, это сообщество ушло куда-то, где в многовековой географической обособленности развились в языке его те черты, совокупностью которых определяется характер «индоевропейского» языкового типа. Было-ли это в северной или западной России или в другом месте, мы, как сказано, не знаем. Точное определение искомой области было бы ценно потому, что оно дало бы археологии возможность помочь нам в выяснении древнейшей культуры подлинного индоевропейства. До этого она бессильна, как бессильна и лингвистика. Известно, что об этой культуре говорилось и писалось немало; целая наука индоевропейских древностей выросла на этом. Языкознание пыталось, при помощи сравнения языков между собой, восстановить словарный состав индоевропейского праязыка и на основании его составить картину материальной и духовной культуры пранарода, обрисовать даже ландшафт прародины. Увы! это все должно теперь отпасть. Пришлось бы сперва выделить из словаря

исторических индо-европейских языков все то, что внесено в него, в процесс скрещения, из праевропейских, яфетических языков, и затем уже судить о культуре пранарода по оставшемуся чисто индо-европейскому материалу. Но возможно ли это и стоит ли? Но погибло ли в том же процессе скрещения многое из того, что было бы необходимо иметь для правильного суждения о подлинной праиндо-европейской культуре?

Нет, от этого пути придется отказаться навсегда. Помочь может только археология, если удастся со временем решить вопрос географический.

Что побудило будущих «индоевропейцев» отколоться от родичей и уйти, — что побудило их, через тысячелетия, вновь сняться с места, — мы и этого не знаем. Обычно появление их на арене истории ставится в связь с рождением новой (бронзовой) культуры. Но связь эта по существу неясна, хотя хронологически эти два момента и совпадают. Во всяком случае, не индоевропейцы были носителями бронзовой культуры и не через них она распространилась. Скорее они ворвались в средиземноморский и западно-европейский мир с целью приобщиться к ней.

До этого момента вся древнейшая бронзовая культура Европы, как и неолит ее, и весь палеолит целиком принадлежит пранароду, прямым продолжателем которого мы считаем яфетический мир южной и западной Европы. Нет никаких оснований выводить его из Кавказа; наоборот, против этого говорят очень веские соображения: отсутствие здесь следов древнейшего палеолита и — что самое главное — тот факт, что здесь непосредственно сталкиваются резко разошедшиеся лингвистические особи без переходных ступеней, которые были бы необходимы, если-бы сложный и многообразный мир яфетических языков сложился именно здесь. С другой стороны, нет также оснований полагать, — хотя и возможно

— что в средиземноморский мир яфетиды пришли позже и застали здесь еще более раннее, не яфетическое население. Грань, отделяющая неандертальцев от ориньякцев не так резка, чтобы оправдать такое предположение, а выясняющаяся, повидимому, связь с хамитами, как и связь северно-африканского палеолита с европейским, объединяет весь средиземноморский мир в одно культурное и этническое целое. Если верен наш взгляд, что именно здесь следует искать колыбель человечества вообще, то мы вправе видеть в яфетидах, аборигенах этих областей, прямых потомков носителей западно-европейского, т. е. древнейшего палеолита и неолита, оставшихся здесь после того, как от них откололись — конечно, в очень глубокой древности — те ветви человечества, которые заселили другие части земного шара. Что они, эти отколовшиеся части, так резко разошлись со своими родичами, оставшимися в старом гнезде средиземноморья, объясняется, быть может, теорией Вегенера (см. выше) относительно изменений, происшедших в расположении материков Европы, Африки, Америки и Австралии, последняя по этой теории тоже, находилась когда-то в связи с Африкой.

А связь Европы с Азией? Было время, когда и она была почти вполне порвана на многие тысячелетия: Черное море, соединенное с Каспийским, тянулось на север огромным бассейном, заливая восточную часть европейской России до среднего течения Камы.

Все это — догадки, далеко еще недоказанные и лишь намечающие направление, в котором, по нашему мнению, возможно искать решения этих основных проблем истории человечества. Окончательное решение еще далеко.

Яснее то, что мы могли сказать о древнейшей этнической истории Европы: она уже не так далека от нас, как была раньше, она вдвинулась в поле нашего зрения. Перед нами картина огромного самодовлеющего этнического мира, однородного по своему составу, хотя и дифферен-

дированного культурно. Он мощно — спокойно развивается вплоть до того момента, когда в него врываются «индо-европейцы», — давние родичи, но забывшие о родстве. Из столкновения и скрещения их рождается наш культурный мир.

Р о м э н Р о л л а н

МАХАТМА ГАНДИ

Перевод с рукописи

Стране славы и рабства,
Преходящей власти и вечной мысли,
Народу восставшему против времени,
Воскресшей Индии.

В годовщину осуждения ее Мессии.
18 марта 1922

Библиография

Mahatma Gandhi. — Young India. (1919—1922). С предисловием Бабу-Ражендра-Празад. I том, in — 16, 1200 стр., 1922, S. Ganesan, Madras. (Собрание статей Ганди, печатавшихся в его газете «Young India». Готовится французское издание. Предлагаемый очерк составит к нему предисловие).

Mahatma Gandhi. — Hind Swaraj. (Индийский Гомруль, 1921, S. Ganesan); *Neethi Dharma* (Ethical Religion), с предисловием J. Holmes, S. Ganesan; — *A Guide to Health* (Руководитель здоровья), 1921, S. Ganesan.

Prof. Kalelkar. — The Gospel of Swadesi. (Евангелие Свадези). 1922 г. S. Ganesan.

J. H. Holmes. — Mohandas Karamchand Gandhi.
(Предисловие к Ethical Religion.).

Satyandra Ray. — Mahatma Gandhi, (в «The World To-Morrow», ноябрь 1922 г.).

W. W. Pearson. — The Dawn of a new Age. 1922,
S. Ganesan.

C. F. Andrews. — To the Students. 1921. S. Ganesan.

Издатель S. Ganesan в Мадрасе, собрал все, что было напечатано о Ганди и о движении *Молодой Индии*.

Полезно пользоваться двумя источниками: 1) газетой Ганди *Joung India*, которая продолжает выходить в Ахмедабаде (сын его является редактором-издателем ее); 2) издаваемой в Калькутте Рамундою Чаттерджи *The Modern Review*, стоящей на точке зрения Рабиндраната Тагора.

Чикагский журнал *Unity* с большой симпатией и вниманием следит за гандистским движением. Редактор его John Haynes Holmes написал предисловие к индийскому изданию *Ethical Religion*.

Перед тем, как начать этот очерк, я приношу горячую благодарность другу моему Калидасу Нагу, чьи знания и неустанная поддержка часто направляли мои неуверенные шаги в дебрях индусской мысли. Прошу у него прощения за те ошибки, которые содержит этот очерк. Я смотрю на него, как на первый, необходимый европейской публике набросок, который я когда-нибудь расширю.

Также благодарю издателя S. Ganesan в Мадрасе, который на время предоставил мне большую часть своих изданий.

*

«Великий Дух». Махатма...*) Человек, «слившийся с Бытием мира...»

Спокойные, карие глаза. Маленький, щедедушный человек, с худым лицом и огромными торчащими ушами. На голове — белая шапочка, на плечах — грубая белая ткань; ноги — босые. Он питается рисом, плодами; пьет только воду; спит на полу и очень мало, работает непрестанно. Тело его словно не идет в счет. Ничего в нем не бросается в глаза, только «*выражение великого терпения и великой любви*». Пирсон, который видал его в 1913 году в Южной Африке, вспомнил при этом Франциска Ассизского. Он сдержан и вежлив даже с противниками, себя судит со скромностью; до того совестлив, что кажется иногда колеблющимся и даже поворачившим: «Я ошибся»; он никогда не скрывает своих заблуждений, никогда не идет на уступки, не знает хитростей, избегает ораторских успехов, вернее, о них не думает; терпеть не может народных манифестаций, которые вызываются его именем, и при которых его щедедушная особа не раз рисковала быть раздавленной, если бы не друг его Маулана Шаукат Али, который загораживает его своим атлетическим телом; «*буквально больной от толпы, которая его обожает*»**); в глубине недоверяющий

*) Таково значение этого имени, данного Ганди индусским народом: Маһа — великий, Аһма — дух. — Имя это исходит из Упанишад, где означает высшее существо и тех, кто соединяется с ним, приобщаясь к нему совестью и любовью.

Он есть Единственный лучезарный, Творец всего, Махатма, Навеки утвердившийся в сердцах народов;

Узнанный сердцем, чувством, разумом;

Тот, кто его познает, становится бессмертным.

(Упанишад, стих 15).

Тагор, посетивший в прошлом декабре Ashram (любимое прибежище Ганди), произнес этот стих, применяя его к апостолу.

**) *Joung India*, 2 марта 1922. (Даты указанные в примечаниях относятся к статьям Ганди, помещенным в сборнике *Joung India*).

численности и ненавидящий «мобократию» несдерживаемого народа; чувствующий себя свободно лишь в небольшом кругу, а счастливым — в одиночестве, когда слушает «still small voice» (слабый и тихий голос), управляющий им...*)

Таков человек, поднявший триста миллионов людей, потрясший Британскую Империю и возродивший на земле самое могущественное духовное движение двухтысячелетней давности.

Настоящее его имя Мохандас Карамшанд Ганди (Mohandas Karamchand Gandhi). Он родился в небольшом, наполовину независимом княжестве на северо-востоке Индии, в Порбандаре, на берегу Оманского моря, 2-го октября 1869 года. Его отец, Карамшанд Ганди, был первым министром этой страны. Он происходил из среды богатой, интеллигентной, вполне культурной, но не принадлежащей к высшей касте. Родители его были членами индуистской школы Джаянов, главнейший принцип которой, Ahimsa**), должен был ими победно утвердиться в мире. Для джайнов не рас судок, но любовь является путем, приводящим к Богу. В семье аккуратно читалась Рамайана. Первое образование Ганди получил у одного брамина, который заставлял его заучивать тексты Вишну. Но позже он жаловался, что никогда не был мастером санскрита: это обстоятельство стало для него укором английскому воспитанию, заставившему его растерять сокровища родного языка; тем не менее, он был прекрасным знатоком индуистских книг, хотя Веды и Упанишады читал лишь в переводах***).

*) Young India, 2 марта 1922 г.

**) А — отрицание, Himsa — причинять зло. Незлобивость на всю жизнь. Не-гневание. Один из древнейших принципов Индуистской религии, в особенности утверждаемый Махавирой, основателем Джаянизма, Буддой, а также последователями культа Вишну, который оказал на Ганди большое влияние.

***) О детстве своем он рассказал в интимной беседе в Собрании (Conférence) отверженных классов (париев) 13 апреля 1921.

Женившись еще ребенком*), он двадцати лет отправился в Англию и, чтобы пополнить свое образование, поступил в Лондонский Университет и в Школу Прав. Мать его, очень богомольная женщина, заставила его перед отъездом дать три обета Джаянов, которые принуждали его не пить вина, не есть мяса и не знать женщин. Из его позднейшей речи видно**), что в Европе он изучил чужие религии и настолько ими проникся, что одно время колебался между индуизмом и христианством. Но он понял, что «для него спасение возможно лишь в исповедании индуистской религии». В 1891 году он вернулся в Индию и стал адвокатом в Бомбее. Несколько лет спустя, ему пришлось отказаться от этой профессии, ибо она оказалась ему безнравственной. Даже в то время, когда он ею занимался, он оставлял за собою право отказываться от тяжб, казавшихся ему несправедливыми.

Уже в эти годы крупные личности Индии пробудили в нем первые предчувствия его будущего назначения: бомбейский «король без королевства» Парси Дадабхай (Parsi Dadabhai) и профессор Гокхаль (Gokhale), оба горящие религиозной любовью к Индии: Гокхаль — один из лучших людей его родного княжества и один из первых реставраторов индуистского образования; Дадабхай, — основатель индуистского национализма (по свидетельству Ганди***); оба также учителя мудрости и смирения: Дадабхай был тот, кто, следя за юношеской пылкостью Ганди, дал ему в 1892 году свой первый практический

*) Позже он с жаром боролся против детских браков, в которых видел причину гибели расы.

**) 13 апреля 1921 г.

***) Предтечи эти, чья политическая смелость теперь преройдена, страдают от неблагодарности и забывчивости новых поколений. Но Ганди остался им верен и несколько раз упоминал их имена Молодой Индии, призывая ее к уважению. (См. Hinde Swaraj, Письмо к Париям от 23 марта 1921 г. и Исповедание веры от 3 июля 1921).

урок Ahimsa в общественной жизни: героической пассивности, если только возможно соединить эти два слова, страстного порыва души, противостоящей злу, — но не злом, а любовью. Мы еще вернемся к этому магическому слову, к той благой вести, которую Индия посылает миру.

С 1893 года начинается индийская общественная деятельность Ганди. Она делится на два периода. С 1893 г. по 1914 г., она протекает в Южной Африке. С 1914 года — в Индии.

То, что двадцатилетняя деятельность Ганди в Южной Африке не нашла себе отклика в Европе, есть доказательство невероятной узости горизонта наших политических деятелей, наших историков, мыслителей и даже людей религии: ибо это история души, равной которой нет в наше время не только по силе и продолжительности приносимой жертвы, но и по конечной победе.

В 1890 — 91 гг. 150.000 индусов находились в Южной Африке, преимущественно в Натале. Налыв незнакомого народа вызвал в белом населении такую ксенофобию, что правительству пришлось прибегнуть к выселению. Оно воспретило иммиграцию индусов и собиралось изгнать даже уже живущих в стране. Систематические преследования сделали их жизнь невыносимой: разоряющие налоги, унижительные полицейские правила, публичные оскорбления, а затем и линчевание, прабегжи и отрешения от должностей пышно процвели под эгидой белой цивилизации. В 1893 году африканские индусы обратились к Ганди за помощью, и он немедленно явился к ним.

Тут начинается эпопея борьбы совести с властью и грубой чернью. Будучи в это время еще адвокатом, он начинает с того, что доказывает юридическую незаконность факта изгнания азиатов и выигрывает дело против самой яростной оппозиции. После этого, он хочет обеспечить своим соотечественникам в Африке достойный режим; и чтобы лучше их защищать, он уравнивается с

ними в правах. В Йоганнесбурге он имел выгодную клиентуру: он бросает ее и, как Франциск, объединяется с беднотой. С отверженными и преследуемыми индусами, он ведет общую жизнь; он делит их испытания и их освящает: ибо учит их закону Непротивления. Он основывает неподалеку от Дурбана земледельческую колонию по образцу Толстого, которым он восторгается *). Там он собирает индусов, выхлопывает им земельные наделы и берет с них торжественный обет жить в бедности. Он же сам исполняет должность раба. Так, в течение многих лет этот народ-молчальник упорствует перед правительством. Он уходит из городов: промышленность страны останавливается. Это религиозная стачка, против которой бессильна грубая сила, как был бессильн императорский Рим в отношении первых христиан. Но мало кто из этих христиан довел бы принцип прощения и любви до той степени, до которой доводит его Ганди, когда приходит на помощь даже своим гонителям, если тем угрожает опасность. Каждый раз, как правительство Южной Африки испытывает трудные минуты, Ганди объявляет, что индусы обязаны нести все общественные повинности, и тут же предлагает свою помощь. В 1899 году, во время войны с бурами, он основал индийский Красный Крест, который дважды был награжден за смелость при подаче помощи под огнем. В 1904 году, в

*) Мой друг, Павел Бирюков, сообщил мне длинное неизданное письмо Толстого к Ганди, писанное в сентябре 1910 года, незадолго до смерти. Толстой только что прочел Ганди в Южной Африке: *Indian Opinion*, — и радуется известию о существовании индусских непротивленцев. Он подбадривает это движение и говорит, что «непротивление есть закон любви, то есть общее дыхание душ человеческих». Это закон, преподанный Христом и мудрецами всего света.

Бирюков недавно писал мне, что он нашел в Москве, в толстовском архиве, еще несколько писем Толстого к Ганди. Он издаст их в ближайшем будущем вместе с другими документами, под общим заглавием: «Толстой и Восток».

Иоганнесбурге началась чума: Ганди устроил госпиталь. В 1906 году, в Натале, восстали туземцы: Ганди принял участие в войне, стоя во главе санитарного отряда, и правитель Натала публично благодарил его.

Его рыцарские услуги не обезоруживают яростных ксенофобов. Не раз заключенный в тюрьму (и даже вскоре после того, как его благодарили после войны с Наталем), приговоренный к заточению, помещенный в клетку и привязанный ногами и руками к прутьям ее, оскорбляемый, избиваемый палками озлобленной толпы, однажды после избиения сочтенный за мертвого, Ганди изведаль все страдания и все унижения. Ничто не поколебало его веры. Она росла от этих испытаний. Наконец, в 1908 году, он написал в ответ революционной Южно-Африканской школе свою знаменитую книгу «Hind Swaraj» (Индийский Гом-руль), Евангелие героической любви *).

Упорная борьба продолжалась лет двадцать. Осенью 1913 года Ганди организовал Натальское Общество Непротивления в Трансваале. Опять он был заключен в тюрьму вместе с тысячами индусов. Вследствие устройства тюрьмы, их посадили в подвалы. Но на этот раз заволновалась вся Индия. Сам вице-король, уступая общественному мнению, опротестовал действия южно-африканского правительства.

Непомерная и чудодейственная выдержка «великого духа» победила: сила преклонилась перед героическим смирением. Более всех настроенный против Индии генерал Смутс, объявивший в 1909 году, что он никогда не поступится ни одним оскорбительным для индусов мероприятием из книги статутов, пять лет спустя счел за лучшее окончательно ее упразднить**). Лорд Гардинг поддержал индусов, и вскоре государственная комиссия

*) К ней я вернусь ниже.

**) Ганди упоминает об этом в одной статье 12 мая 1920 г.

признала Ганди правым почти во всех пунктах. В 1914 году был отменен налог в 3 фунта стерлингов, и тогда же было дано право жительства в Натале всем индусам, желающим оставаться там свободными рабочими. Так, после двадцатилетних лишений, победили непротивленцы.

*

Ганди вернулся в Индию со славою вождя.

Там с начала столетия начиналось крупное национально-освободительное движение. Лет за тридцать до этого несколькими передовыми англичанами был основан Национальный Индийский конгресс; лица эти: А. Ф. Хюм, сэр Вильям Веддерберн, принадлежавшие к либералам-завоевателям, долго старались придать ему легальный характер, примиряя интересы Индии с английским суверенитетом. Победа японцев над русскими пробудила азиатическую гордость, а провокация лорда Керзона задела индийский патриотизм. В недрах Конгресса создавалась крайняя партия, агрессивный национализм которой нашел себе отклик внутри страны. Все же старая партия конституционалистов оставалась до всемирной войны под влиянием Гокхэля, истинного патриота, но верного Англии; национальное чувство, воодушевлявшее совет индийских представителей, заставляло их требовать Гом-руля (Swaraj), в частности которого они не были единодушны: одни приспособлялись к английскому вмешательству, другие желали изгнать европейцев из Индии; одни брали пример с Канады и Южной Африки, другие — с Японии. Ганди предложил свое решение, более религиозное, нежели политическое, и в корне самое радикальное (Hind Swaraj). Для практического применения его Ганди не доставало точного знания среды: дело в том, что, хотя долгое пребывание в Южной Африке и было для него плодотворным опытом над индусской душой,

и над непобедимым оружием Ahimsa, — он все же двадцать три года оставался вдали от родины. Он сосредоточился и стал наблюдать.

Он еще был так далек от мысли о противоправительственном мятеже, что когда началась война 1914 года, он поехал в Англию, чтобы там организовать санитарный отряд. «Я чистосердечно думал (пишет он в 1922 году), что являюсь подданным Королевства». Он много раз упоминает о Королевстве в своих письмах в 1920 году «Ко всем Англичанам в Индии»: «Дорогие друзья, ни один англичанин не содействовал больше меня процветанию Королевства; в течение двадцати девяти лет моей общественной деятельности я четыре раза рисковал жизнью ради Англии... До 1919 года я с искренней убежденностью работал за объединение»...

Он не был единственным. Индия целиком отдалась лицемерному идеализму войны 1914 года, войны за право. Думаясь ее содействия, английское правительство сулило ей в будущем большие блага. Столь желанный Гомруль сделался одной из ставок войны. В августе 1917 года Королевский секретарь в Индии, человек большого ума, Э. С. Монтэгу, обещал Индии ответственное правительство: в июле 1918 года произошло обсуждение индийского вопроса; вице-король лорд Чельмсфорд вместе с Монтэгу подписали официальную докладную записку по поводу конституционных реформ. Велика была опасность для войск союзников в эти первые месяцы 1918 г., 2-го апреля Ллойд Джорж обратился с воззванием к индийскому народу, а военная конференция, созванная в Дэли в конце того же месяца, показала, что независимость Индии не далека. И тогда Индия широко откликнулась на это воззвание, а Ганди еще раз предоставил Англии помощь и доказательства полной своей лояльности. Индия дала Англии 985.000 человек, принесла огромные жертвы, и доверчиво стала ждать награды за свою верность.

Развязка была ужасна. К концу года опасность прошла, и память об оказанных услугах исчезла. Перемирие дало правительству возможность больше не притворяться. Далекое от предоставления Индии свобод, оно временно лишило ее даже уже существующих. Роулатские билли, представленные Государственному Законодательному Совету в Дэли в феврале 1919 года обнаружили возмутительное недоверие к стране, еще недавно столь ясно доказавшей свою лояльность: они увековечивали изданный во время войны закон об осадном положении в Индии, восстанавливали тайную полицию, цензуру и все тираннические придирки действительного осадного положения.

Это произвело в разоренной Индии внезапное возмущение. Начался мятеж, организованный Ганди.

Все предыдущие годы он жил погруженный в социальные реформы, занимаясь в особенности вопросом улучшения жизненных условий земледельцев. И, незаметно для властей, среди аграрных беспорядков 1918 года в Кере, в Гужрате, в Шампаране, в Бехаре, он произвел блестящий опыт над несокрушимой армией, которую вскоре должен был повести в борьбу за национализм: над тем страстным, убежденным Непротивлением, которое было присуще индусам, и которое мы рассмотрим ниже, под названием Satyagraha, которое дал ему Ганди.

Но до 1919 года он среди национального индийского движения оставался на втором плане и даже слегка в тени; крайние элементы этого движения, объединенные в 1916 году Анной Безант (вскоре превзойденной), ныне признали своим вождем великого индуса Локаманаю Баи Гандчандхар Тилака. Человек редкой энергии, железным узлом связывающий в себе тройное величие разума, воли и характера, обладающий интеллектом более широким, нежели Ганди, основательнее его вскормленный древней азиатской культурой, ученый, математик, эрудит, при-

несший все возможности своего гения в жертву служению своей партии, лишенный, как и Ганди, всякого личного честолюбия, ожидающий лишь победы дела своей жизни, чтобы вернуться к научной работе, он до самой смерти был бессменным вождем Индии. Что было бы, если бы преждевременная смерть не унесла его в августе 1920 года? Ганди, преклонявшийся перед высокой властью его гения, глубоко расходился с ним в политическом методе, и бесспорно, если бы Тилак остался в живых, Ганди сохранил бы лишь религиозное руководство восстанием. Каким бы мог быть порыв индийского народа под этим двойным предводительством! Ничто не смогло бы устоять против него, ибо в руках у Тилака были возжи дела, а у Ганди — внутренние силы его. Но рок судил иначе: и можно жалеть об этом и ради Индии, и ради самого Ганди. Роль главы меньшинства, «духовного отбора» лучше бы соответствовала его природе и тайным желаниям. Он бы без сожаления предоставил Тилаку управление общей массой. Он сам никогда не доверял массе. И на этот раз она могла бы принадлежать Тилаку. Тот, как математик, даже на практике верил в цифры. Тот был демократом от рождения и решительным политиком, без оглядки на религиозные требования. Он говорил, что «политика не для Sadhus», (не для святых, богомольных людей). Он объявил, что он, ученый, пожертвовал бы истиной ради свободы своей страны. И этот неподкупный человек, чья жизнь отличалась исключительной чистотой, не колеблясь говорил, что в политике все позволено. Можно предположить, что возможно было бы схождение мыслей между такой личностью и московскими диктаторами. Но мысль Ганди не поддается этому сравнению *). Споры Тилака с Ганди, подтверждая их глубочайшее взаимное уважение, лишь установил противоположность их ме-

*) Он определенно высказался против большевизма (24 ноябр. 1921).

тодов, т. е. противоположность миросозерцаний у этих двух людей, абсолютно искренних, у которых образ действия вытекает из образа мыслей. В противоположность Тилаку, Ганди говорит, что он, если бы принужден был выбирать, пожертвовал бы свободой ради истины. И какова бы ни была его религиозная любовь к родине, он ставит свою веру выше своей страны:

«Я обручен с Индией, я обязан ей всем. Мне думается, у нее есть свое назначение. Если она его не исполнит, это будет для меня часом испытания, и я надеюсь, что вынесу его. Вера моя не имеет видимых границ. Если она жива, она превзойдет мою любовь даже к Индии...» *).

Эти великие слова дают общечеловеческий смысл той борьбе, к описанию которой я теперь перехожу, ибо они делают апостола Индии согражданином всех нас **), апостолом всего мира; для кого же, как не для нас, четыре года тому назад Махатма начал борьбу?

★

Замечательно, что именно тогда, когда он становится во главе революционного движения против закона Роулатта, он это делает «для того, что-бы отвратить это движение от резкого сопротивления» ***). Ибо, как бы то ни было, мятеж начался, и стало необходимо его направлять.

Чтобы лучше понять все последующее, надо вспомнить, что рассуждения Ганди протекают в двух плоскостях: религиозные построения, весьма значительные, — и надстроенные на этом невидимом фундаменте обще-

*) 11 августа 1920 г. Здесь Ганди оспаривает «принцип оружия».

**) «Человечество — едино. Есть различие в расах; но чем выше раса, тем больше у нее обязанностей». (Ethical Religion).

***) 5 ноября 1919.

ственные принципы и действия, примененные к современным возможностям и народным стремлениям. Ганди богослов по натуре и политик по необходимости. По мере того, как разворачиваются события и исчезают остальные вожди нации, что принуждает его принять на себя бремя управления кораблем в бурю, — его политическая и практическая деятельность делается более уверенной. Но последним стремлением его созидательной воли всегда остается пещера: она огромна и глубока и сделана не для того, что делается им сейчас на спех; она единственно долговечна, все остальное кратковременно и предназначено к употреблению в переходное время. Поэтому необходимо знать эту подземную церковь, где для мысли Ганди существует каменное основание, куда ежедневно уединяется он, и набирает силы для жизни там, на поверхности земли.

Ганди с жаром верует в веру своего народа, в Индуизм; но не как ученый, связанный с текстами, и не как ханжа, слепо соглашающийся с любым толкованием и не знающий критики. Религия его подвержена двойной проверке: разумом и совестью.

«Я не сделаю себе фетиша даже из самой религии и никакого зла не извиню во имя ее... *). У меня нет желания увлечь кого-нибудь за собой, если я не услышан его разумом. Я сам отрекись от божественности древнейших Shastras, если они не убедят меня...» **).

С другой стороны, и это очень существенно, он не признает за индуизмом никакой исключительности.

«Я не верю в исключительную божественность Вед. Я думаю, что Библия, Коран и Зенд-Авеста так же до-

*) 27 октября 1920 г.

**) Июль 1920 г. — (Вера моя не требует, чтобы я рассматривал все тексты, как божественно вдохновенные... Я отказываюсь быть связанным каким бы то ни было толкованием, как бы научно оно ни было, если с ним не согласны разум и нравственное чувство...) (Окт. 1921).

стойно вдохновлены, как и Веды... Индуизм не замкнутая религия. В нем есть место для поклонения пророкам всего мира..... Он каждому предоставляет поклоняться своему Богу, как ему велит его вера или Dharma; и он живет в мире со всеми религиями *)».

Ганди не закрывает глаз на те ошибки или недостатки, которые вкрались в индуизм в течении веков, и клеймит их. Но...

«...Я не могу яснее выразить своего чувства к Индии, чем отождествив его с чувством к своей жене. Она волнует меня, как ни одна женщина на свете. Не потому, что она совершенна; я смею сказать, что у нее гораздо больше недостатков, чем я вижу; но здесь есть ощущение нерасторжимой связи. То же и по отношению к индуизму, со всеми его ошибками и ограниченностью. Ничто так не приводит меня в восторг, как музыка Гиты или Рамайаны, тех двух книг, о которых я могу сказать, что их понимаю. Я знаю современные прегрешения, которые оскверняют индусские святилища; но я все же люблю их... Реформатор до глубины души, я все же не отрицаю ни одного существенного индусского верования **).

Каковы же эти существенные истины, с которыми он соглашается? Он их перечисляет в статье от 6 окт. 1921 г., которая является его общественным credo:

1) Я верю в Веды, в Упанишад, в Пураны и во все то, что носит название Индусского Писания, иначе говоря, я верю и в возрождения.

*) Июль 1920. «Все религии суть различные пути, ведущие к одной цели». (*Hind Swaraj*).

«Все религии построены на одних и тех же нравственных законах. Моя нравственная религия стоит на законах, связующих всех людей мира». (*Ethical Religion*).

**) 6 октября 1921.

2) Я верю в Varnashrama Dharma *) (кастовую иерархию), но в строгом смысле Вед, а не в современном общераспространенном и грубом.

3) Я верю в покровительство коровы, в гораздо более широком смысле, нежели это обычно понимается.

4) Я не отрицаю культа идолов*).

Каждый европеец, прочитавший строки этого *sredo*, решит, что мысли, выраженные в нем, ему чужды тем, что они строго заключены в религиозную и общественную форму, далекую нашему времени и месту, тем, что они несоизмеримы с нашим развитием, и что следовать им бесполезно. Однако, пусть европеец читает дальше! Немного ниже он найдет то, что уже покажется ему близким:

«Я верю в индусское изречение, говорящее, что никто по настоящему не знает *Chastras* если не достиг совершенства в Целомудрии (*Ahimsa*), в Правде (*Satya*), в Самообладании (*Brahmacharya*) и не отказался от всякого притязания на богатство и обладание им.

Здесь слова Индуса звучат в согласии со словом Евангелия. И Ганди признавал это родство. Один почтенный англичанин спросил его, какие книги больше повлияли на него? Он прежде всего ответил: «Новый Завет**). Его *Ethical Religion* оканчивается словами Христа***). Также нельзя забывать, что этот верующий азиат был вскормлен Толстым****), переводил Рёс-

*) Дословно: *Varna*: оттенок, класс или каста; *Ashrama* чинопочитание. *Dharma*: религия. Общество здесь представлено, как классовая иерархия. В этом основа Индуизма.

**) 27 февраля 1920. Во вторую очередь Ганди называет Рёскина и Толстого.

***) «Ищите Царствия Божьего и правды Его, а остальное приложится вам».

****) Брошюра *Hind Swaraj* содержит в конце составленный Ганди список шести произведений Толстого, которые он советует для чтения: (в особенности: *Царство Божие внутри нас*, «Что такое искусство?» и «Так что же нам делать?»). На предложенный ему вопрос: «Как вы относитесь к г-р. Толстому?

кина и Платона *), ссылаясь на Торо, восхищался Мадзини, читал Карпентера, и что мысль его вдохновлялась лучшими плодами европейской и американской мысли. У европейца нет никаких оснований чувствовать себя далеким от мыслей Ганди: стоит только захотеть к нему приблизиться. Тогда он узнает величайший смысл этих членов *sredo*, форма которого так поражает. Непреодолимую границу между индийским и европейским религиозным сознанием представляют с первого взгляда в особенности два пункта: это — культ коровы и кастовая система **). Но посмотрим, что это означает в устах Ганди.

Конечно, в учении, как в целом, это имеет для него далеко не второстепенное значение. Покровительство коровы есть существенная черта индуизма. Ганди в нем видит даже одно из высочайших утверждений человеческого развития. Почему? Потому что корова есть символ всего мира, лежащего ниже человека; с этим миром человек заключает союз. Корова означает «братство между человеком и животным». И, по прекрасному выражению Ганди, «она выводит человека за пределы его мира. Она утверждает тождество человека со всем живущим». Если корова была выбрана из всех животных, то это потому, что в Индии она лучший товарищ человека, а также ис-

Ганди отвечает в *Young India* (25 окт. 1921 г.): «Я благоговейно преклоняюсь перед ним, ибо многим ему обязан». Газета Ганди *Young India* помещает в номере от 10 ноября 1920 г. письмо Толстого о методах борьбы с правительством.

*) «Апология и смерть Сократа», переведенная Ганди, попала в число книг, запрещенных правительством Индии в 1919 г.

**) На культе идолов останавливаться не стоит. «Я не почитаю их, пишет Ганди, но это — часть человеческой природы». Он смотрит на этот культ, как на необходимость, присущую человеческому сознанию, у которого иногда есть потребность материализовать свою веру, чтобы полнее отдавать себя ей. Следовательно, это лишь то, что мы наблюдаем во всех наших католических церквях.

точник его довольства; и Ганди видит в этом «смирном животном целую поэму о страдании». Но почитание, воздаваемое ей, не носит в себе никаких признаков идолопоклонства, и никто строже Ганди не осуждает холодного фетишизма индуистского народа, который лишь следует букве, но не осуществляет самого духа сочувствия к самым малым тварям Божиим». Однажды поняв этот дух (а кто же лучше его понял, чем Ассизский «*poverello*»?) — нельзя уже удивляться той важности, которую ему придает Ганди. Не будет ошибкой сказать, что в том смысле, какой придает Ганди покровительству коровы, есть дар индуизма всему миру. Ибо к евангельскому изречению: «Люби ближнего, как самого себя» — он прибавляет: «Всё живущее — твои ближние» *).

Кастовая система, быть может, еще труднее для восприятия европейского ума — (по крайней мере, в Европе современной, ибо Бог знает, что ожидает нас при той эволюции, которая демократична лишь по названию!) Приводя разъяснения Ганди, я не льщу себя надеждой на успех, и вовсе не желаю, чтобы с ними согласились. Но они ясно докажут, что эту веру не воодушевляют ни тщеславие, ни погоня за высоким общественным положением, а лишь мысль о долге, поскольку долг есть у каждого.

«Я готов думать, — говорит Ганди, — что закон наследственности вечен, и что всякая попытка его изменить ведет к полной неудаче... *Varnashrama* свойственна человеческой природе, а индуизм только сделал ее наукой»...

Но он различает всего четыре класса: Брахманы (класс интеллигентный, духовно-развитой), Кшатрии (военный и правящий), Вайшии (торговый) и Шудры (рабочий и служащий). Он не ставит их в зависимость и в подчинение друг другу. Это лишь различные области

*) О культуре коровы см. *Young India*, статьи от 16 марта, 8 июня, 4 августа 1920 г., 18 мая и 6 окт. 1921 г. (О кастах 8 декабря 1920 г. и 6 октября 1921 г.).

деятельности, больше ничего. Одни обязанности. Никаких привилегий*).

«Он против того воззрения индуизма, будто человек может поставить себя в более высокий разряд, или перевести других в более низкий. Все рождены, чтобы служить творению Бога: Брахман своим знанием, Кшатрия — правящей силой, Вайшия — коммерческой ловкостью, Шудра — физическим трудом. Это не значит, что Брахман освобожден от физического труда: только ум его приспособлен к изучению и теоретизации; также это не значит, что Шудра не может воспринять науку, — нет, но он целесообразнее может служить телесной силой, и нет надобности ему завидовать труду других. Брахман, который на основании своей учености пожелает власти, может быть за это исключен из своего сословия, как не обладающий истинным знанием... *Varnashrama* осмыслена экономией социальной энергии, ее правильным распределением и здоровым принуждением воли»...

Итак, он основывается на «отказах», а не на преимуществах. Не забудем, однако, что в вере в переселение душ природа восстанавливает равновесие — и в последовательном чередовании существований делает из Брахмана Шудру и наоборот.

Вопрос о париях не имеет и не должен иметь никакого отношения к вопросу о четырех различных, но равных кастах. Мы еще увидим, с каким жаром Ганди не перестает бороться против этого социального неравенства: и это одна из самых волнующих частей его проповедничества. Оно в его глазах — позор индуизма, мерзкое изуродование истинного учения, пятно, от которого он невыносимо страдает:

«Я бы предпочел, чтобы меня изрезали на куски, — пишет он, — чем не признавать своих братьев из отверженных

*) Когда с течением веков низшие классы преисполнились гордостью, Упанишады воспротивились этому.

сословий... Я не желаю возрождаться, но если мне это суждено, я желаю возродиться среди отверженных, дабы разделять их позор и посвятить свой труд их освобождению... *)».

Он удочерил маленькую девочку, парию, и с нежностью говорит об очаровательном семилетнем чертёнке, принесшем ему в дом и солнце, и непогоду.

Я достаточно показал это великое евангельское сердце, скрытое под индусским Credo. Это — Толстой, только более мягкий, более спокойный и, смею сказать, — более естественный «христианин» в мировом значении этого слова: ибо Толстой — христианин больше по воле, чем по природе своей.

Где сходство обоих наиболее вскрыто, где, может быть, больше всего сказалось влияние Толстого, — так это в осуждении, вынесенном Ганди европейской цивилизации.

Со времени Руссо наиболее свободомыслящие люди Европы, беспрерывно судили европейскую цивилизацию, и пробужденной Азии оставалось лишь почерпнуть в их обвинительных актах гигантскую опору против своих притеснителей. Ганди это понял, и *Hind Swaraj* содержит в себе список этих обвинительных актов, среди которых большинство написано англичанами. Но самым неоспоримым обвинением явилось то, которое европейская цивилизация во имя научных принципов написала сама кровью униженных и разоренных наций; то, которое оказалось блестящим разоблачением лжи, алчности, жестокости, бесстыдно развернутыми перед глазами всего света последней войной, войной, как говорят, во имя цивилизации. Бесстыдство Европы дошло до того, что она призвала народы Азии и Африки, чтобы полюбоваться ее убожеством. Они увидели его — и судили.

*) 27 апреля 1921.

«Последняя война доказала сатанинскую *) природу цивилизации, которая ныне господствует в Европе. Все законы общественной нравственности были попорчены победителями «во имя добра». Ни одна ложь не была отвергнута, как недостойная употребления. Позади всех преступлений стоит грубо материальный стимул... Европа не может быть названа христианской. Она поклоняется маммону...»**).

Такие мысли последние пять лет вы не раз могли бы услышать в Индии и Японии. Даже те, кто слишком осторожен, чтобы их произнести вслух, — хранят это убеждение про себя. Это, конечно, не малый ущерб для результатов пировой победы, победы 1918 года. Но Ганди не ждал 1914 года, чтобы увидеть истинное лицо цивилизации: она представала перед ним без личины все двадцать лет его жизни в Южной Африке. И в своем *Hind Swaraj*, в 1908 году, он называл «великим грехом» всю «модную цивилизацию».

Цивилизация, говорит Ганди, одно лишь название. Она, по одному индусскому выражению, «*чорная пора, пора мрака*». Из материальных благ она создает себе единую цель жизни. Она не заботится о благе души. Она сводит с ума европейцев, делает их рабами золота, лишает возможности мира и семейной жизни; это ад для трудового населения; она подрывает жизнеспособность целых сословий. Эта сатанинская цивилизация разрушит сама себя. Истинным врагом Индии является, бесспорно, она, а не англичане, которые индивидуально не жестоки, но одержимы цивилизацией. Поэтому Ганди спорит и с теми своими соотечественниками, которые хотели бы изгнания англичан для того, чтобы самостоятельно сделать Индию «цивилизованной» по европей-

*) Этот термин часто встречается у Ганди: «Отверженность (парию) есть выдумка сатаны». 9 июля 1921.

**) 8 сентября 1920.

скому образцу. Он говорит, что это была бы «шкура тигра без тигра». Нет, великая, «единственная, ближайшая цель наций — изгнание цивилизации с Востока».

Существует три разряда людей, против которых с особенным жаром восстает Ганди; это: судьи, доктора и профессора.

Ненависть к последним вполне понятна, ибо они отучили индусов от их родного языка и образа мыслей: они внушают детям национальный упадок. Больше того, они обращаются лишь к интеллекту; они не подозревают в них ни чувства, ни характера. Наконец, они унижают ремесла; их исключительно литературное образование становится настоящим преступлением для народа, насчитывающего 80% земледельцев и 10% ремесленников. Профессия судей безнравственна. Суды в Индии — орудия британского могущества; они разжигают раздоры между индусами; и по общему правилу поддерживают и увеличивают ссоры во всей стране. Это узаконенный культ дурных инстинктов. Что же касается докторов, то Ганди сознается, что сначала его привлекала их профессия; но вскоре он понял, что она не слишком почтена. Восточная медицина озабочена тем, чтобы облегчить страдания и нисколько не стремится устранить причины болезней, которые в большом количестве суть пороки: можно даже сказать, что она им покровительствует, предоставляя развращенным людям продолжать с наименьшим риском порочную жизнь. Иначе говоря, она помогает развращению целого народа; она изнеживает его при помощи рецептов «чорной магии»*), которые отвращают его от героизма тела и духа. Этой ложной медицине Востока, которую Ганди часто чернил с неумеренной злобой, он противопоставляет истинное, предупреждающее

*) Не следует забывать, что одной из самых обид Ганди на европейскую медицину, было разрешенное ею живосечение; «это самый чорный грех человека».

болезнь лечение, которому он посвятил небольшой популярный очерк: «A Guide to Health». (Руководитель здоровья), плод двадцатилетнего опыта. Эта работа столько же говорит о нравственности, сколько о терапии, ибо «болезнь есть следствие не только наших поступков, но и наших помышлений»; и поэтому способ, как предупредить зло, чрезвычайно прост: «Все болезни имеют одну причину: мы не следуем естественным законам здоровья. Тело наше — Божья обитель. Необходимо содержать его в чистоте». В предписаниях Ганди, в которых он всегда немного упрямится, оспаривая испытанные способы лечения, сквозит, при всей их осмысленности, чрезвычайный нравственный ригоризм *).

Но сердце современной цивилизации (железный век — железное сердце) это машина. Она — чудовищный кумир. Ее необходимо победить. Пламенное желание Ганди — это изгнание современной механизации из Индии. Индии свободной, но наследнице английской механизации, он предпочел бы Индию даже подчиненную английскому рынку.

«Лучше покупать манчестерские ткани, чем устраивать в Индии Манчестер. Индийский Рокфеллер будет не лучше всякого другого. Механизация — великий грех, она поработывает народы... А золото такой же яд, как и прелюбодеяние»...

Но что же будет с Индией без железных дорог, трамваев, широкой промышленности? спрашивают индусы, соблазненные модными идеями. А разве Индия не существовала раньше? возражает Ганди. «...Вот уже тысячи лет, как одна Индия неколебимо стоит среди потока сменяющихся государств. Все исчезало. Она же

*) В особенности, что касается половой жизни; учение его напоминает своей строгостью примитивное Евангелие Св. Павла.

все эти тысячелетия умела отстаивать и себя, и мудрость своего счастья. Ей в этом смысле нечему учиться у других. Она не хотела ни механизации, ни больших городов. Древняя соха, прялка, старинное воспитание, — вот что упрочивали ее мудрость и счастье. Нам необходимо вернуться к древней простоте; конечно, не сразу, но понемногу, с терпением; пусть каждый подает тому пример...»^{*)}.

★

Такова основа его учения; она чрезвычайно важна. Она предполагает отрицание прогресса и европейской науки ^{**)} . Поэтому такая половинчатость рискует разбиться в куски от вулканического толчка человеческого разума. Но, пожалуй, осторожнее было бы сказать не «человеческого разума» вообще, а «единого человеческого разума», ибо возможна вера — (и я верю), — в символическое единство космического разума, к которому ведут различные дороги всевозможных партий; и наш молодой Восток, движимый собственным ритмом, иногда забывает, что не вечно звучала его симфония, что ход его прогресса тоже склонен к замедлению, к противоречию, к поворотам, что история человеческой цивилизации, скорее — истории цивилизаций, и что если внутри каждой мы можем определить некий прогресс, (переменчивый, беспорядочный, надломленный, иногда остановившийся), то утвержда-

^{*)} *Hind Swaraj, passim.*

^{**)} Ганди старается сохранить за европейской наукой необходимость научных изысканий и строго научных выводов. Он восхищается упорством и самозабвением, с каким работают европейские ученые, которых он иногда ставит выше верующих индусов. Он уважает разум; он оспаривает лишь путь, который избран этим разумом.

Но несмотря на эти оговорки, антагонизм Ганди очевиден. И Тагор, как мы увидим впоследствии, восстанет против его половинчатости.

дать, что прогресс заключается и в смене цивилизаций, нельзя.

Но, не решая здесь вопроса о европейском прогрессе и лишь основываясь на факте, что все современные движения направлены против сокровенного желания Ганди, мы должны помнить, что вера Ганди этим не разбивается. Иначе бы мы плохо знали дух Востока. Гобино говорит, что «азиаты во многом упорнее нас. Они ждут целые века, когда это надо, и идеи их, несколько не кажутся устаревшими или обесцвеченными от столь долгой летаргии». Столетия не пугают Индуса. Ганди ждет успеха в смене десятилетий. Но он готов ждать его и в смене столетий. Он не насилуют время. И если оно опаздывает, то и он идет с ним в ногу. Поэтому, если он в своей деятельности увидит, что Индия недостаточно подготовлена к пониманию и осуществлению тех крайних реформ, которые он ей предлагает, он сумеет приспособить ее к реальным требованиям. И вовсе не удивительны слова, сказанные в 1921 году этим непримиримым врагом механической культуры:

«Я не стал бы оплакивать исчезновения машин, но (в настоящее время) у меня нет никаких намерений против них...»^{*)}.

Или:

«Закон совершенной любви (без изъятий и оговорок) — есть закон моего существования. Но я не проповедую этого конечного закона при помощи политических мер, мною одобряемых... Это значило бы сразу обречь себя на неудачу. Ждать, что масса деятельно признает этот закон, — было бы неразумно...^{**)} . Я не мечтатель, я хочу быть практическим идеалистом^{***)} ».

^{*)} 19 января 1921.

^{**)} 9 марта 1921.

^{***)} 11 августа 1920.

Вывод ясен: он никогда не требует от людей больше того, что они могут дать. Но он требует от них всего, что они могут дать. А это — много, когда дело идет о таком народе, как индусы. О народе, поражающем своею численностью*), долговечностью и духом. Между этим народом и Ганди, с первого соприкосновения, установилось согласие, они поняли друг друга без слов; Ганди знает, чего можно ждать от народа, а народ ждет, чего Ганди от него потребует.

Прежде всего устанавливается формальный договор: *Swaraj***), индийский Гом-руль.

«Я знаю, пишет Ганди, что цель нации — *Swaraj*, а не непротавление».

Он доходит до того, что прибавляет слова, изумительные в его устах:

«Я предпочел бы видеть Индию освобожденной при помощи насилия, нежели рабой, скованной насилием властителей».

Но, тотчас поправляется он, предположить это невозможно: насилие не может освободить Индию; *Swaraj* не может быть достигнут иначе, как силою духа, которая есть истинное орудие Индии: оружие любви, сила правды — *Satyagraha****). Открытие Ганди в том и состояло, что он стал проповедывать это своему народу, что он обнаружил его истинную природу и скрытую силу.

Термин *Satyagraha* был придуман Ганди в Южной Африке для отличия его деятельности от пассивного со-

*) Пятая часть всего населения земного шара.

**) Дословно: Swa: сам; Raj — управление. Самоуправление, автономия.

***) Дословно: *Satya* — правый, справедливый; *Agraha* — действие; правое действие. В частности это выражение применяется к неприятию несправедливости. Ганди (5 ноября 1919 года) определяет его, как стояние на правде, «силу правды души»; наконец, как «победу правды силой души и любви».

противления. На этом различии надо настаивать всеми силами: ибо европейцы определяют движение Ганди именно, как «пассивное сопротивление» (или как «непротавление»). Нет ничего более ошибочного. Никто на свете не питает к «пассивности» большего отвращения, чем этот неутомимый борец, один из самых героических «противленцев». Душа его движения есть активное сопротивление пламенной силою любви, веры и самопожертвования. И эта тройная сила выражается в слове *Satyagraha*.

Пусть ни один трус не прячется за спиной Ганди! Ганди его изгоняет из своего общества. Лучше насильник, чем трус!

«Где приходится выбирать между насилием и трусостью, я посоветовал бы насилие... *). Я вырабатываю спокойное мужество умирать, не убивая. Но тот, у кого нет этого мужества, — он, я надеюсь, выработает умение лучше убивать и быть убитым, нежели постыдно бежать от опасности. Ибо беглец мысленно совершает насилие: он бежит, потому что не имеет мужества, убивая, быть самому убитым... **). Насилие в тысячу раз лучше, чем чтобы весь народ обабился... ***). Я бы весьма предпочел видеть, как вся Индия хватается за оружие, чтобы защищать свою честь, — нежели быть трусливым свидетелем собственного позора ****).».

*) 11 августа 1920.

**) 20 октября 1921.

***) 4 августа 1920.

****) 11 августа 1920 года. Одно из правил школы *Satyagraha Ashram*, основанной Ганди, заключается в «отсутствии страха», в «душе свободной от страха пред царями, кастами, семьями, людьми и дикими зверями, а также пред смертью».

Таково же и в Гиндре четвертое условие сопротивления без насилия. (Прочие три — Целомудрие, Нищета, Правдивость).

Но я знаю, прибавляет он, что неприменение насилия бесконечно выше насилия, что прощение содержит более мужества, чем наказывание. Прощение есть украшение воина. Но воздержаться от наказания только в том случае означает «простить», если есть возможность наказывать. Прощение не имеет смысла, если исходит от существа бессильного... Я не считаю Индию бессильной. Сто тысяч англичан не могут испугать триста миллионов человеческих существ... Впрочем, сила заключается не в физических средствах, она — в непреклонной воле... Неприменение насилия не означает добровольного подчинения злу. Неприменение насилия всеми силами души противится воле Тирана. Тут один человек может противостать государству и вызвать его падение»...

Но какой ценой? Ценой *собственного* страдания. Страдание — великий закон...

Оно — «знак отличия человечества...»). Необходимое условие бытия. Жизнь возникает из смерти. Чтобы рождение проросло, должно погибнуть зерно. Никто не поднялся, не пройдя через пламя страдания... Никто его не избегнет... Совершенствование заключается только в очищении страдания — без причинения страдания другому. Чем чище страдание (личное), тем выше совершенствование... **). Непротивление есть сознательное страдание... Я решил дать Индии древний закон Самопожертвования, закон Страдания. Риши, посреди самых отвратительных насилий открывшие закон Непротивления, — большие гении, чем Ньютон, большие воины, чем Веллингтон: они сделали оружие бесполезным... Религия непротивления — не только для святых: она — для самого обыкновенного человека. Это — наш закон, как насилие есть закон зверя. В звере дух спит. Человеческое достоинство требует более высокого закона: силы духа... Я вижу, что

*) 9 марта 1920.

**) 16 июня 1920.

Индия применяет этот закон; я хочу, чтобы она была уверена в своей силе. У нее есть душа, которая погибнуть не может. Душа эта может устоять против всех материальных сил всего мира»*).

Высокая гордость! Его гордая любовь к Индии требует, чтобы та отвергла недостойное насилие и принесла себя в жертву. Непротивление — знак ее знатности. Оказавшись от него, она падает низко. Мысли об этом Ганди не вынес бы:

«Если бы Индия сделала насилие верой, я бы не стал жить в Индии: она перестала бы внушать мне какую бы то ни было гордость. Мой патриотизм подчинен религии, я держусь за Индию, как дитя за грудь матери, ибо чувствую, что она дает мне необходимую духовную пищу. Когда этой пищи не будет, я стану похож на сироту... Я удалюсь в Гималайские пустыни, чтобы там укрыть свою окровавленную душу...»**).

*

Но он не сомневается. Он верит в Индию, когда в феврале 1919 года решает начать поход *Satyagraha*, этой армии, мощь которой он уже испытал при аграрном движении 1918 года.

Никакой политической окраски. Ганди все еще лоялен. Он останется таким, пока сохранит луч надежды на лояльность Англии. До января 1920 года он будет защищать — (и за это горько будут его упрекать индусские националисты)***) — принцип сотрудничества с Ко-

*) 11 августа 1920.

**) 6 апреля 1921.

***) За несколько месяцев до тюремного заключения Ганди отвечает на ярые упреки, обращенные к нему по поводу «нелогичности» его поведения. Ему насмешливо напоминают о той помощи, которую он не раз приносил Англии во время всемирной войны, в Южной Африке. Но он еще ни от чего не отступает. Впоследствии он говорил, что честно думал, буд-

ролевством. В возможности этой он был твердо уверен. В первый год своей оппозиции правительству Индии, он сможет искренно утверждать лорду Гунтеру, что в приверженцах *Satyagraha* он видит лучших подданных конституционного государства. И нужно будет слепое упорство английского правительства в Индии, чтобы заставить индусского духовного вождя порвать все договоры с Государством, в связь с которым он не верил.

Таким образом, *Satyagraha* в начале представляется конституционно настроенной оппозицией, предъявляющей правительству почтительные требования. Но правительство издает несправедливый закон. *Satyagraha*, которые в обычное время склонялись под властью законов, не подчиняются ему, найдя его оскорбительным; и так как этого недостаточно, чтобы восстановить справедливость, они оставляют за собой право распространять свое ослушание на все остальные законы, вплоть до окончательного разрыва с Королевством. Но насколько характер этого протеста не похож на все остальные, о которых приходится слышать на Востоке! Какой необычайный порыв религиозного героизма!

Так как *Satyagraha* дан запрет употреблять по отношению к противнику насилие, — (ибо надо предположить, что и противник вполне прав; что кажется истинной одному — другому кажется заблуждением, и насилие не приводит ни к чему *) — то они долж-

то всегда был подданным Королевства; не его дело было судить правительство; он находить, что дурна всеобщая уверенность в том, что каждый является судьей власти имущих. Он верил в честность и разумность Англии до тех пор, пока мог. Абберация правительства лишила его доверия. Пусть за это отвечает правительство (15 ноября 1921 г.)

*) Наоборот, оно еще ухудшает положение. Оно унижает того, кто его употребляет. Насилие союзников против Германии, говорит Ганди, привели к тому, что уравнило их с той самой Германией, действия которой они осуждали в начале войны (9 июня 1920 г.).

ны действовать лишь убеждением, чтобы добиться единогласия; относясь любовно к врагу, показывать ему с какой легкостью и радостью несут они бремя своего угнетения *). В этом пропаганда, против которой устоять невозможно. Благодаря ей вера Христа и его небольшого стада завоевала всю Империю.

Для того, чтобы лучше укрепить очистительный дух этого тяготения в народе, приносящем себя в жертву ради вечного блага, Махатма начал движение за свободу и справедливость **) тем, что 6-ое апреля 1919 года объявил днем молитвы и поста, днем *Hartal* ***) для всей Индии. Это был его первый шаг.

И шаг этот затронул глубины народного сознания. Результат был невероятен. Впервые все сословия объединились в одном пафосе. Индия вновь обрела себя.

Спокойствие было почти всеобщим. Лишь в Дэли произошло несколько стычек ****). Ганди отправился туда, чтобы напомнить народу о его долге. Но власти остановили его по дороге и отправили в Бомбей. Слух об аресте повлек за собой шум, а в Пенджабе даже волнения. В Амритзаре были произведены аресты и несколько

*) «Как бы ни была холодна природа, она поддается любовному теплу. Если нет, значит тепла недостаточно» (9 марта 1920 года). Приверженцы *Satyagraha* в огромном количестве подписывают предложение не подчиняться дурным законам, если таковые будут предписаны им даже комитетом *Satyagraha*, неизменно следовать по пути истины и не проявлять насилия ни по отношению к людям, ни по отношению к жизни, ни по отношению к собственности.

**) 23 марта 1919.

***) Это индусское слово мусульманского происхождения. Оно означает: «перерыв работы».

****) Кроме того, жители Дэли ошиблись числом. Там днем *Hartal* сочли 30 марта.

убийств. Генерал Дайер прибыл в ночь на 11 апреля и занял город своими войсками. Порядок был восстановлен. Тринадцатое число было днем большого индусского праздника. Народ устроил сборище на месте, называемом Джалианвалла Баг; присутствовало много женщин и детей; царило полное спокойствие. Предыдущей ночью генерал Дайер запретил все митинги, но никто еще не знал об этом постановлении. Генерал прибыл с вооруженными силами на Джалианвалла Баг. Никакого предупреждения сделано не было. Через пол минуты после прибытия войск был открыт огонь по безоружной толпе; он продолжался десять минут, пока не были истрачены патроны. Место это, окруженное высокой стеной, делало бегство невозможным. От 500 до 600 индусов было убито; раненые на много превысили это число. Ни о тех, ни о других не позаботились. Страна была объявлена на военном положении. Пенджаб был раздавлен террором. Бомбы бросались в безоружную толпу. Всеми считающиеся граждане были осуждены военным судом, избиты и обречены на позорнейшие унижения... Можно сказать, что какой-то вихрь безумия налетел на английскую власть. Словно закон непротивления, объявленный Индией, поставил своей первой задачей вызвать со стороны Европы насилие, доходящее до неистовства. Ганди знал об этом. Он не обещал народу вести его к победе безмятежным путем. Он предсказывал ему путь крови. И день Джалианвалла Баг стал для него днем крещения...

«...Мы должны быть готовы к тому, чтобы с душевным равновесием глядеть не на тысячу убийц невинных мужчин и женщин, но на многие и многие тысячи, прежде чем Индия поднимется до недостижимого разряда.... Пусть каждый смотрит на повышение, как на обычное в жизни дело... *)».

*) 5 апреля 1920.

Военная цензура добилась того, что ужасы Пенджаба оставались в тайне в течении нескольких месяцев*). Но когда слухи о них распространились по Индии, взрыв негодования потряс страну; заволновалась даже Англия. В комиссии, в которой председательствовал лорд Гунтер, было начато расследование. Со своей стороны, индийский национальный конгресс приступил к тому же.

Очевидная цель правительства — (все разумные люди Англичан поняли это) — была покарать виновников террора в Амритзаре. Ганди этого даже не хотел. В своей великодушной умеренности он отказался потребовать казни генерала Дайера и остальных виновных офицеров, хоть на словах и клеймил их. Но мести он не хотел. Он не таил на них злобы... «Злобы на безумных не бывает. Но их надо лишить возможности вредить нам... Поэтому он требовал лишь отставки Дайера. Но *«quos vult perdere...»* Прежде чем было закончено следствие, правительство Индии поторопилось провести закон о вознаграждении (*Indemnity Act*) для поддержания должностных лиц; тем самым, преступные офицеры не только были пощажены, но и вознаграждены.

Индия переживала эти потрясения в то самое время, когда другое, гораздо более страшное дело, дерзкое нарушение торжественных обязательств, произведенное главой английского правительства, разрушило в конце то доверие, которое она еще могла питать к европейцам, — и привело к великому мятежу.

Европейская война поставила трудную задачу перед мусульманской совестью. Мусульмане чувствовали себя разделенными между лояльностью по отношению к Коро-

*) Со своей стороны 18 апреля 1919 года Ганди приостановил движение, желая умерить народное возбуждение, вместо того, чтобы воспользоваться им, как сделал бы на его месте каждый революционер.

леветву и верностью главе их религии. Они примкнули к Англии лишь тогда, когда получили от нее обещание не посягать на верховную власть Султана и Калифа. Мусульмане требовали, чтобы за турками сохранилась Европейская Турция, чтобы Султану по-прежнему была предоставлена та верховная власть в Аравии, связанная с контролем святых мест Ислама, каковую ей определили мусульманские мудрецы, а, кроме того, обладание Месопотамией, Сирией и Палестиной. Ллойд Джордж и вице-король Индии дали формальное на то согласие. Но по окончании войны, от него не осталось ничего. Летом 1919 года мусульмане, обеспокоенные грозившим им тяжёлым миром, заволновались; это было началом возмущения калифата.

Оно началось 18 октября 1919 года, многочисленной пацифистской демонстрацией, за которой месяц спустя (24 ноября) последовала конференция калифата всей Индии в Дэли. Ганди был ее председателем. С первой же минуты он понял, что мусульманский вопрос — вернейшее средство для создания индусского единства. Однако, это было довольно трудной задачей. Англичане давно пользовались враждой между индусами и мусульманами, и Ганди обвиняет индусов даже якобы в создании этого антагонизма. Во всяком случае они ничего не сделали, чтобы его уменьшить. Обе религии ребячески друг друга провоцировали. Индусы, проходя мимо мечети, нарушали требуемую тишину и нередко пели. Мусульмане же шутя оскорбляли индусов по поводу их культа коровы. За всем этим следовали непрерывные ссоры и стычки, которые разжигали вражду. Обе расы взаимно не общались; взаимные браки и трапезы были им запрещены. Правительство Индии покоилось в уверенности, что антагонизм этот вечен. Голос Ганди, призывающий к единению на конференции калифата, внезапно пробудил Англию. С искренним великодушием — с самым успешным орудием, — Ганди объявил, что индусы должны присоединиться к магометанам в мусульманском вопросе.

«Индусы, персы, христиане или евреи, сказал он, чтобы мы ни были, если мы желаем жить единою нацией, — желание одного должно быть желанием всех. Единственно стоящее внимания обстоятельство — справедливости дела.»

Кровь магометан уже соединилась с кровью индусов на поле резни в Амритзаре. Теперь стало необходимо закрепить этот союз. Союз без условий. Мусульмане были всегда крайним элементом индусского населения, и на конференции калифата они первые решились отказаться от сотрудничества с правительством в случае, если им не будет дано удовлетворения. Ганди присоединился к ним. Верный своей умеренности, он отказался от бойкота английских товаров, ибо видел в этом зараз и месть, и знак собственной слабости. Вторичная конференция калифата в Амритзаре, в конце декабря 1919 года, решила отправить в Европу делегацию и послала вице-королю угрожающий ультиматум, на тот случай, если мирные условия будут заключены против воли Индии. Третья конференция в Бомбее, в феврале 1920 года, опубликовала мусульманский манифест, позорящий политику англичан и предсказывающий бурю.

Ганди знал, что она близка; и, далекий от того, чтобы ее призывать, он делал все, что мог, чтобы удержать ее. В Англии, казалось, наконец, почували опасность. Ее старались отвлечь запоздалыми уступками. *Закон о реформах в Индии*, составленный на основании донесений Монтегю Чельмсфорда, предоставлял индусскому народу некоторые значительные права как в центральном управлении, так и в провинциальном. Король манифестом от 24 декабря 1919 года дал на него согласие и призвал индусский народ и чиновничество к содействию Королевству, прося вице-короля амнистировать политических заключенных. Ганди, всегда чуткий к великодушию, казался тронутым и, видя в этих поступках молчаливое обязательство

Англии быть справедливой к Индии, посоветовал принять эти реформы; он знал, что они недостаточны, но думал, что они послужат началом целого ряда более широких правовых завоеваний и что поэтому необходимо чистосердечно примкнуть к ним. На Национальном Конгрессе всей Индии, после горячих прений, его мнение взяло верх.

Но эта последняя надежда рухнула, как и предыдущие. Вице-король не оценил призыва к его милосердию; тюрьмы вновь открылись для истязаний, возмущивших всю Индию. Стало очевидно, что все обещания останутся мертвой буквой.

В этот момент (14 мая 1920 г.) Индия узнала условия мира, разоряющие Турцию. В сообщении вице-короля говорилось об этом, и что сознавая, как условия эти должны быть мучительны для сердец мусульман, он все же призывает их к покорности.

Наконец, в эти же дни запоздало опубликованный официальный отчет Комиссии по расследованию резни в Амритзаре переполнил терпение всей страны.

Свершилось. Узы были расторгнуты.

Комитет Калифата, собравшись в Бомбее 28 мая 1920 г., принял принцип Не-сотрудничества, предложенный Ганди; и до-мусульманская конференция в Аллахабаде единогласно провела ее 30 июня 1920 года; кроме того, она дала один месяц сроку вице-королю для ответа на ультиматум.

Ганди лично написал вице-королю. Он сообщил ему о решении не-сотрудничества. Он объяснил, почему именно оно было принято; объяснения его любопытны: даже в эту опаснейшую минуту он не хочет порывать с Англией и надеется привести ее к действительному раскаянию.

«...Мне остаются, — говорит он, — лишь два решения: либо оторваться от Англии, либо, если я все еще верю в превосходство британской конституции над другими, прину-

дить правительство к справедливости. Итак, я все еще верю в превосходство британской конституции. И потому веду народ к непокорности.»

Из этого видно, какого великого гражданина не сумела сохранить слепая гордость Королевства.

О к о н ч а н и е в с л е д у ю щ е й к н и г е

Проф. О. Винер

Р Е Н Т Г Е Н

Перевод с рукописи

10 февраля 1923 г. скончался Вильгельм Конрад Рёнтген. Весь просвещенный мир обязан вспомнить великие заслуги ученого, чудесное открытие которого, широко примененное в медицине, сделало им Рёнтгена одним из самых популярных имен даже в широких кругах населения.

Изобразить подробнее жизнь и открытия этого человека и выяснить причины его успеха, явится, в свое время, важной и привлекательной задачей. Мы имеем уже и сейчас превосходное описание его жизни и заслуг в статье Зоммерфельда, написанной по случаю семидесятилетия со дня его рождения и напечатанной в журнале «Physikalische Zeitschrift» за 1915 г. Наряду с другими всем доступными статьями, я буду опираться на этот труд, а также и на некоторые личные мои воспоминания о Вильгельме Рёнтгене.

Прежде всего отмечу, что Рёнтгена нельзя сравнить с честолюбивым путешественником, поставившим себе, подобно Колумбу, целью открыть новую землю: Рёнтген наблюдал явления природы как спокойный и созерцательный странник, который, заметив среди них одно чудесное, сразу понял его значение и поставил себе задачей исследовать его свойства. Мы увидим дальше, что ему, наряду с потребностью точного установления фактов, был при-

сущ дар зорко и ясно видеть, не упуская ничего, что уклоняется от нормы, хотя бы оно и мало бросалось в глаза. Эти два важнейшие свойства и являются тою предпосылкою, без которой невозможно подобное открытие.

Рёнтген родился 27 марта 1845 года в Леннепе, в Прирейнской области. Он должен был пойти по стопам своего отца, близко стоявшего к промышленности, и поэтому первоначально учился в машиностроительной школе в Голландии, после чего он переехал в Цюрих, чтобы там, в Политехникуме, получить высшее образование. Но увлеченный идеями Клаузиуса, сделавшего уже свое замечательное открытие в области механической теории тепла, он решил посвятить себя чистой науке, и начал экспериментальную работу под руководством Августа Кундта, одного из наиболее блестящих преподавателей физики в Германии, хорошо известного и России, откуда стекались к нему многочисленные ученики, среди которых следует указать на преждевременно, к сожалению, скончавшихся Лебедева и князя Голицына. В качестве ассистента Кундта Рёнтген переехал в 1870 году в Бюрцбург, а в 1872 году — в Страссбург, где он в 1874 году впервые приступил к чтению лекций. Этого он достиг не без затруднений, так как в школе не обучался латинскому и греческому языкам. В 1875 году его приглашают профессором в Сельско-хозяйственную Академию в Гогентейм, а в 1876 году, благодаря настояниям Кундта, он возвращается в качестве экстраординарного профессора в Страссбург, где читает теоретическую физику. В 1879 году он принял приглашение в Гиссен в качестве ординарного профессора физики, в 1888 году — на ту же должность в Бюрцбург, в 1899 году отклоняет приглашение в Лейпциг, но соглашается в 1900 году переехать в Мюнхен, где и остается до конца своей жизни, несмотря на почетное приглашение в Берлин на должность президента Physikalisch-Technische Reichsanstalt и приемника по

академической кафедре Van t'Hoff'a. Вот внешний очерк полувековой работы Рёнтгена. Только год тому назад он окончательно перешел на покой.

Кундт, повидимому, оказал на него глубокое влияние и годы, проведенные в лаборатории Кундта, относятся несомненно к самым счастливым годам жизни Рёнтгена. Но и воспоминания о Рёнтгене продолжали жить в лаборатории Кундта, еще долгое время после того, как он покинул ее. Когда я, в 1886 году был ассистентом Кундта, о Рёнтгене часто вспоминали, и рассказывали, как он, искусный во всех ремеслах, носил в своих карманах содержание целого ящика инструментов. Около четверти столетия спустя, приветствуя его в Мюнхене, во время заседания совета «Deutsches Museum», я напомнил ему о страссбургском времени, глаза его радостно заблестели, и покрытый славой ученый произнес: «Да, в то время я был еще молод».

Свою научную работу Рёнтген начал с исследования теплоемкостей воздуха, — величины, имеющей очень большое значение в вопросе о строении молекул. Величину эту незадолго до того удалось вывести Кундту при помощи очень остроумного способа. Ее можно определить из скорости звука, и Кундт дал способ определения ее из наблюдения пылевых фигур, образуемых звуковыми волнами, в трубке незначительной длины. Несколько позднее, другой учитель измерительной физики, Фридрих Кольрауш, вывел отношение теплоемкостей воздуха иным способом и получил результат значительно меньше результата, выведенного из скорости звука. Рёнтген взялся раз'яснить это противоречие. Он начал с повторения опытов Кольрауша и получил сначала величины, очень близкие к найденным Кольраушем. Но затем, применяя большие или меньшие объемы, он заметил, что получаются и большие или меньшие значения этого важного числа. Допытываясь причин этих отклонений, ему, наконец, уда-

лось при очень больших объемах, делающих тепловой обмен между стенками сосуда и воздухом, крайне незначительным, и при помощи вновь построенного чувствительного манометра, получить очень надежные и точные результаты, которые вполне совпадали с полученными из скорости звука.

Это проникательное и важное для науки устранение мешающих влияний при всех измерениях, это достижение большой точности результатов — характерный признак большинства работ Рёнтгена. Здесь он находил удовлетворение одной части своих склонностей. Но наряду с этим дарованием, он обладал еще другим, как-будто противоречащим первому, — потребностью проникнуть во все глубины физики, проверить собственными опытами новые вопросы, выдвигаемые наукой, и на основании собственной работы составить себе определенный взгляд во всех областях физики, которые ему, как преподавателю экспериментальной физики, приходилось излагать. Таким образом, в главных областях физики почти не существует ни одной, в которой Рёнтген не работал бы, и малое у него стоит в одном ряду с большим и великим.

Я назову только некоторые из многочисленных исследований, которые он производил. Он дал способ определения теплопроводности кристаллов. Он исследовал открытое Керром двойное лучепреломление в средах, подверженных действию электрического поля, и первый нашел двойное лучепреломление в воде. Многочисленные исследования он посвятил возбужденно электричества в кристаллах при изменении температуры и давления. Большое число его работ относится к изучению физических свойств жидкостей при сильных давлениях; совместно с Варбургом он открыл тот замечательный факт, что вода при давлении делается более текучей. Это исследование привело его к представлению о структуре жидкой воды, представлению, которое сводится к тому, что при

невысоких температурах вода состоит из двойного рода молекул, молекул воды и молекул льда, этим он смог объяснить все противоречащее общему правилу свойства воды при изменении давлений.

Чрезвычайно характерно для Рёнтгена одно наблюдение, которое он сделал на строго прямоугольных стеклянных призмах. Если посмотреть сквозь такую призму через ее основание (плоскость, проходящую через гипотенузу), то рядом со слабым изображением глаза, полученным от этой поверхности, видно другое, значительно более яркое изображение, полученное вследствие полного внутреннего отражения от граней призмы — плоскости, проходящие через катеты. Последнее изображение может быть рассматриваемо, как изображение, образованное преломляющим ребром призмы. При этом Рёнтген заметил, что ребро разрезает изображение зрачка глаза на неравные части. Отсюда он вывел заключение, что направление зрения идет не через середину зрачка, но через точку, лежащую ближе к носу, — факт, замеченный раньше и Гельмгольцем, но особенно легко наблюдаемый при помощи способа, данного Рёнтгеном. Целый ряд интересных опытов последовал за этим наблюдением.

Но наиболее важные исследования, наряду с его великим открытием, это те, которые относятся к получению магнитного поля при помощи пластинки из непроводника, вращающейся в электрическом поле. Исследование это соприкасается с самыми коренными вопросами физики. По Максвеллу, перемещение электричества, вызванное в непроводнике, находящемся в электрическом поле, должно было бы оказать то же самое действие, как и электрический ток в проводнике, т. е. вызвать появление магнитного поля. Rowland впервые показал в лаборатории Гельмгольца, что механически увлекаемые электрические заряды, подобно электрическому току в проводниках, вызывают магнитное поле, которое обнаруживается его дей-

ствием на магнитную стрелку. Рёнтген пошел дальше, заставляя перемещаться не свободные заряды, а заряды, индуцируемые электрическим полем в непроводнике. И вот, оказалось, что и они тоже дали магнитное поле. Эти опыты, всесторонне развитые и законченные московским физиком Эйхенвальдом, впоследствии послужили знаменитому голландскому ученому Лоренцу основанием для его электронной теории.

Кроме того, Рёнтген пытался установить, не достаточно ли одного движения земли, для того, чтобы вызвать в лежащем на земле и подверженном влиянию электрического поля непроводнике, магнитные силы, которые должны были бы меняться в зависимости от положения пластинки относительно движения земли, т. е. в различное время дня? Он не нашел этого влияния движения земли и ясно сознавал, что этот факт находится в тесной связи с знаменитой Брэдлеевской аберрацией света, которую, согласно теории света Френеля и Лоренца, можно объяснить только тогда, если принять, что мировой эфир не увлекается движением земли. Это основные опыты, на которые опирался впоследствии и Эйнштейн в своей теории относительности.

О своем великом открытии Рёнтген сообщает в статье, помещенной в декабре 1895 года в Известиях Вюрбургского Физико-Медицинского Общества под заглавием «О новом роде лучей». Она начинается следующими словами:

«Если через эвакуированную трубку Гитторфа или достаточно разреженную трубку Ленара, Крукса и тому подобные приборы пропустить разряд большого индуктора Румкорфа и при этом закрыть трубку плотно прилегающей муфтой из тонкого черного картона, то в совершенно затемненной комнате можно заметить, что помещенный вблизи прибора бумажный экран, покрытый двойной синеродистой солью бария и платины, при каждом рас-

ряде ярко вспыхивает, флуорисцирует, независимо от того, обращена ли к прибору окрашенная или другая сторона экрана». Не подлежит сомнению, что Рёнтген, заинтересованный прекрасными опытами Ленара над катодными лучами, повторил их, — будь то для целей преподавания, или для собственного поучения, или же с намерением сделать дальнейшие наблюдения. Катодные лучи не могут проходить сквозь стеклянную стенку трубки, но способны, согласно опытам Ленара, пройти через узенькое окошечко, затянутое чрезвычайно тонким листком алюминия, в воздух, который они заставляют флуоресцировать голубоватым светом, а также возбуждают свечение экрана. Особенно был пригоден для этого бумажный экран, покрытый сложной синеродистой солью бария и платины. Рёнтгену, очевидно, бросилось в глаза, что этот экран светился и в тех местах, куда катодные лучи не попадали. В том, что это его поразило и побудило к дальнейшему исследованию, заключается великая заслуга Рёнтгена.

Рассказывают, что впервые заметив это явление, он, бледный и взволнованный, прошел из лаборатории в свою квартиру и рассказал об этом своей жене. Дыхание бессмертия коснулось его. Не может быть в жизни исследователя лучшей минуты, чем та, когда он стоит лицом к лицу перед новым явлением, которого до него не видел еще ни один человек. Но он сознавал и всю громадность задачи, выпавшей на его долю, и доказал, что он достоин ее решения.

Уже в первой короткой статье, в 10 страниц, он сообщает важнейшие свойства открытых им лучей: их способность делаться заметными при помощи вызываемой ими флуоресценции или действия на фотографическую пластинку; их необыкновенную способность проходить через различные тела, непрозрачные для других лучей, — даже через тонкие слои металла; тот факт, что их поглощение

определяется, главным образом, произведением толщины слоя на плотность вещества; основанное на этом явлении другое, — что металлические предметы, скрытые в непрозрачных ящиках, становятся видимыми, а также видимость скелета руки; неспособность этих лучей отклоняться призмами и невозможность отклонения их магнитным полем.

В то время, как это последнее качество резко отличало открытые Рёнтгеном лучи от катодных лучей, отсутствие преломления, казалось, отличало их и от лучей света. Таким образом, Рёнтген пришел к мысли, что здесь имеется совсем другой, новый род лучей, обусловленный продольными колебаниями эфира, в то время, как лучи света представляют из себя поперечные колебания эфира. Это единственное из всех предположений Рёнтгена, которое не оправдалось, тогда как во всем другом, за многие годы, в течение которых толпа физиков устремилась к изучению новых лучей, почти не прибавилось какого-либо существенно нового факта, выходящего за пределы тех, которые уже были указаны Рёнтгеном в его первых трех статьях, законченных в мае 1897 года.

О чрезвычайном значении Рёнтгеновых лучей для медицины едва ли приходится говорить, так как оно известно всему свету, и тысячи людей обязаны им своим выздоровлением, если не жизнью.

Что лучи Рёнтгена оказали великую услугу не только исследованию болезней путем просвечивания, но и непосредственному лечению рака действием энергии этих лучей, вероятно, тоже всем известно. Но, быть может, менее общеизвестен тот факт, что женщины, страдающие в переходном возрасте сильными кровотечениями, представляющими опасность для жизни, действием лучей Рёнтгена могут быть излечены в течение одного дня. Тут наблюдаются прямо чудесные случаи излечения.

Самое важное значение получили лучи Рёнтгена для исследования природы. Причина этого заключается в том, что они относятся к явлениям настолько же тонким, как и самое строение атомов материи. Поворотным пунктом в этом направлении послужило открытие Лауе, который, вместе со своими сотрудниками Фридрихом и Книппингом, получил с помощью кристаллов, интерференцию лучей Рёнтгена.

И тут Рёнтген приложил свою руку, в том смысле, что открытие это было сделано в Институте проф. Зоммерфельда в Мюнхене — Физическом Институте Мюнхенской Академии, директор которого в тоже время является профессором теоретической физики Мюнхенского университета. Возрождение этой профессуры — заслуга Рёнтгена.

Работы Лауе и его последователей доказали, что лучи Рёнтгена родственны световым лучам, но что они имеют лишь чрезвычайно малую длину волны, лежащую в пределах, приблизительно, между одной миллионной миллиметра и сотой долей этой величины, в то время как видимые лучи обладают длиной волны от 0,4 до 0,8 тысячной доли миллиметра. Малая величина этих световых волн есть причина того, что видимый мир дает нам возможность познать необыкновенно тонкое строение внешнего мира. Но и самые сильные микроскопы не могут различить промежутка между двумя черточками, приблизительно, в одну десятитысячную миллиметра. Познание мира еще меньших измерений предполагает еще меньшую длину волны, — и тут — то приходят на помощь волны Рёнтгена. Они позволили науке проникнуть до мельчайших подробностей в строение кристаллов, несмотря на то, что атомы, из которых они построены, отстоят друг от друга на расстоянии, приблизительно, от одной миллионной до одной десятимиллионной доли миллиметра. Неизвестно, будут ли изобретены способы, которые дадут возмож-

ность с помощью лучей Рёнтгена заглянуть глубже в строение клеточного ядра. Но уже теперь они сделали возможным неожиданное проникновение в явления еще более тонкие — именно, совершающиеся в самых атомах. Последняя обширная работа Рёнтгена, появившаяся только два года тому назад, касается электропроводности кристаллов, обусловленной лучами Рёнтгена. В этом направлении шла энергичная работа в его лаборатории, давшая важные результаты.

Рёнтген всегда в первую голову имел в виду чисто научный интерес. Направление его исследований никогда не зависело от того, имеют ли его работы практическое применение, или нет. Охотно предоставлял он всю эту область армии врачей и техников, которые сумели оценить и широко использовать его открытие. Сам же он был далек от того, чтобы взять хотя бы ничтожнейший патент на свои открытия и использовать их в целях личного обогащения.

Мы видим в нем истинного, бескорыстного ученого, выросшего в физических лабораториях, посвященных чистой науке. Руководимый только стремлениями к чистому познанию и раз'яснению чудес природы, он охотно предоставлял другим великие результаты своих исследований.

Слава, окружавшая его, была лично для него неприятна. Она побуждала его отдаляться от людей и, находясь в противоречии с его скромной натурой, желавшей следовать только собственным побуждениям и спокойно отдаваться исследованию, она угнетала его. Германия оплакивает в нем одного из своих величайших людей, человечество — одного из великих благодетелей.

Проф. Т. Литт

ЭРНСТ ТРЕЛЬЧ

Перевод с рукописи

Одной из характерных особенностей философского развития Германии является тесная связь эволюции философских и исторических идей. Связь эта намеченная уже Лейбницем, растет, с возрастающей силой, в течение всего 18-го века и приводит в первые десятилетия 19 в. к философски-историческим концепциям романтики и спекулятивного идеализма, в особенности у Гегеля. Правда, после смерти этого мыслителя некоторое время могло казаться, что историческое мышление окончательно уступит свое место естественно-научному; однако в последние полвека это основное устремление немецкой мысли обнаружилось с новой силой; о глубине его последних истоков свидетельствует то, что оно неизбежно подчиняется водительству идей, обладающих, в конечном итоге, часто метафизическим характером. Среди мыслителей, вызвавших этот, чреватый последствиями, поворот мысли бидное место занимает тот, чья смерть оплакивается всеми, ждущими от развития нашей философии большего, чем только обогащение специально научных знаний: это — Эрнст Трёлльч. Казалось, что именно он призван объединить в подлинно-философской системе с одной стороны, все, что было сделано Дильтеем и Риккертом для гносеологического прояснения исторического мышления, с

другой — весь тот богатый и глубокий исторический опыт, который Германия приобрела в тяжелые годы национального бедствия, и который настойчиво требует осознания и истолкования. И вот на 59-м году жизни смерть оторвала его от творческой работы, которая в ближайшем будущем обещала принести обильные плоды. Мы должны быть счастливы, что Трёлльчу перед самой смертью удалось собрать хоть часть этих плодов. Третий том «Собрания сочинений» является наследием покойного, в этом томе первая половина исследований Трёлльча, посвященных «проблемам историзма», получила окончательную формулировку. Не без внутреннего волнения читаем мы в предисловии к этому труду о дальнейших планах, которые лелеял неутомимый труженик, и которые увидят теперь свет только в форме фрагментов.

Трёлльч относится к тем, далеко не редким, мыслителям, которые только через углубленное изучение специальной науки проложили себе путь к все охватывающей философской концепции мира. Он родился в 1865 г. в Аугсбурге и вырос в семье, духовная атмосфера которой должна была скорее всего расположить его к изучению естественных наук; однако уже с ранних лет в нем пробудился тот страстный интерес к явлениям исторического мира, каким из ближайших его идейных предшественников отличался в особенности В. Дильтей и которым запечатлены все труды этого мыслителя. Вот этот общий интерес и побудил Трёлльча обратиться к изучению богословской науки, ибо он считал, не без основания, что в этой дисциплине дух немецкой исторической школы сохранялся в то время в большей чистоте и силе; чем в большинстве гуманитарных наук, всецело отдавшихся тенденциям узконаучной специализации. Вместе с тем, Трёлльч мог надеяться найти здесь скорее всего удовлетворение своим метафизическим устремлениям, уже рано и с большой силой проснувшимся в нем. Первые труды, с которыми Трёлльч

выступил перед научным миром, обнаруживают, поэтому, двоякую тенденцию: с одной стороны они ставят себе задачей на фоне общей картины истории изобразить возникновение христианства и, в частности, протестантизма, с другой, пытаются определить при помощи психологических и гносеологических средств происхождение, правомерность и значимость специфически религиозных переживаний. При этом вскоре обнаружилось, что как первая тема, так и вторая нуждается в философском обосновании. Таким образом Трёльч уже в этот период своего развития наткнулся на внутреннюю связь между историей, как частной наукой, и философией, связь, о которой современная ему позитивно настроенная эпоха почти совсем забыла. Результатом этих исследований являются прежде всего *«История протестантизма»* (вышедшая как часть коллективного труда *«Культура современности»*), возбудившая общее внимание не только тем, что значительно ограничила роль, которую обычно приписывают протестантизму в создании современного мира, но также и указанием на то, что в протестантизме сохранилось гораздо больше средневековья, чем принято предполагать. Затем — *«Социальные учения христианских церквей и групп»* монументальный труд, появившийся в первом томе *«Собрания сочинений»*. Смело выходя за обычную в историях догматов и идей постановку вопросов, Трёльч задается здесь целью выяснить, как на развитии христианских идей отразились строй и структура тех социальных реальностей, в пределах которых протекала историческая жизнь христианства. Таким путем ему удалось значительно обогатить и оживить общую картину исторического развития религии.

Вокруг этих двух основных трудов, как вокруг центрального ядра, группируется большое число мелких, отчасти религиозно-исторических, отчасти религиозно-философских исследований.

Если уже все указанные исследования обладали известной философской остротой, то приглашение Трёльча на кафедру философского факультета в Берлине в 1915 г. послужила внешним поводом для перенесения центра тяжести его научной работы в область философии. По содержанию своему эти исследования идут той же линией, которой Трёльч держался с самого начала, еще будучи богословом. Особенно занимал его вопрос о том, в какой связи находятся между собой с одной стороны те общие концепции исторического развития, которые складываются в уме современного человека, как сына культурной эпохи, достигшей полной сознательности и с другой — те мерила и идеалы, при помощи которых он оценивает современность, как результат этого развития и которыми он руководствуется в своих стремлениях к дальнейшему ее развитию. Иначе говоря, вопрос, который Трёльч, подобно высоко ценимому им, Шлейермахеру, пытается выяснить — есть вопрос взаимоотношений истории и этики. Для разрешения этой проблемы он обращается сначала к помощи философско-исторической теории, разработанной в самом конце прошлого столетия так наз. «югозападной немецкой школой», и в особенности Риккертом. Однако, вскоре ему пришлось убедиться, что логические средства, которыми пользовалась для разрешения вопроса эта школа, ориентированная на кантовскую гносеологию, не способны уловить его существа. Собственная теория истории Трёльча, складывавшаяся по мере того, как он выяснял свое отношение к руководящим философским умам XIX в., пошла вследствие этого по иной линии развития, конечная цель которого все отчетливее вырисовывалась ему не столько в виде логики исторического мышления, сколько в виде метафизики исторической жизни. Весьма знаменательна связь, раскрывающаяся между теорией Трёльча и мыслями тех философов, которых принято теперь объединять под об-

щим названием «философов жизни»: т. е. Нитцше, Бергсона, Дильтея и Шелера.

Венцом всей этой теории (и в месте с тем предположенным содержанием следующего тома сочинений) должно было по замыслу Трёльча явиться истолкование современного культурного мира на почве универсального, руководимого некоторыми основными философскими идеями синтеза — того необычайно богатого исторического и социологического материала, который находился в распоряжении Трёльча. О том, как эта задача была бы выполнена Трёльчем, дает представление целый ряд мелких работ по вопросу о происхождении духа современности, в этих работах ярко обнаруживаются все отличительные черты покойного ученого: необычайная широта кругозора, чуткость в толковании духовных явлений, и большое мастерство в упорядочении различного материала. Теперь, как уже было отмечено, мы должны довольствоваться только предварительными логическими и критическими работами, которые содержатся в третьем томе «Собрания сочинений».

Что построенная Трёльчем теория культуры действительно близка к жизни и насыщена конкретным содержанием, лучше всего подтверждается его многочисленными публицистическими выступлениями, поводом к которым послужили политические события и перевороты последних восьми лет. Трёльч был необычайно проницательным и притом свободным от партийной страстности наблюдателем, критические замечания, которые он высказывал о войне, о мирных договорах, революционных потрясениях и внутренних кризисах, ясно показывают, что в нем крылись задатки политика крупного масштаба. Не даром — к числу людей, оказавших на Трёльча самое глубокое влияние, принадлежал также безвременно скончавшийся Макс Вебер, личность, в которой тоже встретились чуждые друг другу интересы исследователя и политика.

Именно это содержание духа подлинно-научного творчества с сильной и действенной волей и является причиной того, что скорбь о кончине Трёльча распространяется далеко за пределы тех кругов, которые оплакивают в нем только утрату, понесенную строгой наукой.

Франц Эллэнс*)

СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В БЕЛЬГИИ

Перевод с рукописи

I

Прежде чем говорить о современном положении французской литературы в Бельгии, необходимо начать с того состояния, в котором она находилась перед 1914 годом.

*) Франц Эллэнс, автор романа «Sylvie et les vers à soie» (Revue de Genève, Май 1922) родился в Брюсселе 8 сентября 1881 г. и жил большую часть своей молодости в Гане. Там он учился в иезуитском коллеже св. Варвары, где учились Метерлинк, Верхарн, Роденбах и Ван Лерберг. Затем он изучал юридические науки и в 1905 году получил степень доктора. В 1906 году поселился в Брюсселе, где вскоре бросил судебную деятельность чтобы посвятить себя литературе. С 1915 по 1920 г. он жил в Ницце и Париже.

Его первый роман «En ville morte» обнаруживает влияние «ясного и мрачного» Гана, «города старины и современности, бестолкового прошлого и деятельного настоящего».

Его главные произведения: «Les hors-vent» (1919 г.), «Les clartés latentes» (1912 г.), «Nocturnal» (1918 г.), «Melusine», роман (1920 г.), «Басс-Бассина-Булу», роман (1912 г.), «Oeil-de-Dieu», роман (1922 г.), «Réalités fantastiques» (1923 г.). Сборник поэм, «La femme au Prisme» (1921 г.), и роман из истории войны, резкий и пессимистический, напечатанный в журнале «L'Etoile Belge» (1919 г.).

На русском языке появилась антология из его произведений в Москве в 1912 г. Его роман Басс-Бассина-Булу вышел в русском переводе в Берлине в изд. Эфрона.

И да будет мне позволено сперва высказать свое мнение по поводу своевременности специального изучения французского творчества в Бельгии. В 1921 году, редактор «Revue de France» просил меня прислать для этого журнала трехмесячный обзор, чтобы ввести читателей в курс движения французской литературы в Бельгии. Я был очень удивлен, когда увидел, что присланное мною письмо было напечатано в отделе «Иностранной Литературы». Позже «Nouvelle Revue française», в свою очередь, попросила у меня периодическую хронику по тому же вопросу. Я отказался, спросив у г. Жака Ривьера, почему он хочет печатать в своем журнале хронику «Бельгийской» литературы, а не «Швейцарской» или даже Нормандской, бретонской или оверньской? Неужели же, раз дело идет о писателях, пишущих по-французски, нужно отделять тех, что живут в Бельгии от живущих в Швейцарии или во Франции? Приглашенный спустя несколько месяцев на ту же работу в «Ecrits Nouveaux», я повторил свой отказ, мотивируя его на этот раз в открытом письме редактору этого журнала, г. Филиппу Суно.

Доводы, приведенные мною в этом письме, могут служить предисловием к данной статье. Чтобы оправдать выделение бельгийских писателей в специальную группу французской литературы, необходимо, чтобы они составляли особую «школу», чтобы между ними была ошутима связь, чтобы они отличались от французских писателей Франции абсолютной специфичностью характеров. Однако, ничего этого нет.

Французская литература, выходящая из-под пера писателей бельгийской национальности, начинается при-

Жюль Ромэн пишет о нем: «Я утверждаю, что в произведении Франса Эллэнса есть значительный талант и редкая творческая сила, ставящие его в ряд пяти шести лучших писателей нашего времени».

Редакция

близительно с 1880 года. Я хочу этим сказать, что до 1880 года в Бельгии находились лишь единичные авторы, Шарль де Костер, Камилль Лемонье и Эдмонд Пиккар были предвестниками того поколения прозаиков и поэтов, которое назвали «Молодой Бельгией». Основатели журнала, посвящего это название, почти не отличались от основателей банвилевской школы парнасцев, которые в то время были на высоте своей славы. Кроме того, необходимо добавить, что даже название «Молодая Бельгия» было дано в память и в ответ на название той «Молодой Франции», в которой Теофиль Готье был одним из самых славных.

Не считая Макса Валлера, основателя движения, молодого, рано умершего поэта, имена последователей банвилевцев 1880 года не стоят бессмертия. Из-за недостатка оригинальности и ложного классицизма группы лучшие члены ее покинули «Молодую Бельгию» и основали журнал «Красный Петух» («*Coeq rouge*»), где именно и сосредоточились Верхарн, Метерлинк, Экхуд и Демольдер. Однако, и они вскоре расплылись, и можно сказать, что движение «Молодой Бельгии» этим закончилось. Главнейшие имена этого поколения были: Верхарн, Метерлинк, Экхуд, Ван Лерберг и Демольдер. Но разве можно сказать, что писатели эти образуют школу, подобную фламандской школе в живописи, которую в XVII веке возглавлял Рубенс? Нисколько. У каждого из этих писателей свое лицо и свое направление, и, повторяю, из Франции почерпнули они свои законы, ибо вышеупомянутые писатели (исключая Экхуда и Демольдера) служили на алтаре символизма, как реакции против школы парнасцев, и выступали против натурализма. Этому последнему направлению остались верны лишь Экхуд и Демольдер.

Таким образом, как я показал, поэты и прозаики Бельгии, пушущие по-французски, не создали своей собственной школы, но все следовали французским течениям. По-

этому, говоря о них, необходимо считать их членами семьи французских писателей; было бы ошибкой выделять их, как авторов специфически «бельгийских». Например, между Анатолем Франсом и Мопассаном не больше разницы, чем между Экхудом и Анатолем Франсом, между Метерлинком и Барресом — не больше, чем между Барресом и Бурже. Что же касается поколения писателей, которое последовало за Верхарном и Экхудом и продолжило за ними традиции символизма и натурализма, то оно отличается лишь тяжестью языка, делающей произведение их весьма трудно переваримыми.

Таково было положение французской литературы в Бельгии, когда разразилась война: поколение 1880 годов, из которого четыре или пять человек прославились, властвовало над поэтами и прозаиками Бельгии, диктуя им законы, происходящие из французских источников. Надо отдать справедливость бельгийцам: они следовали этим законам с темпераментом истых фламандцев, рожденных скорее живописать, чем философствовать и оспаривать.

II

Со времени войны положение сильно изменилось. Во первых, совершенно бесспорно, что годы войны как бы разом отделили поколение 1880 годов от последующего. Верхарн умер и его творчество не вдохновляет более ни нынешних французских поэтов, ни бельгийцев. Это не значит, что он не имел преемником; однако, мне кажется, преемственность эта ныне стала уже бесплодной. Ни Метерлинк, ни Экхуд, ни Ван Лерберг не находят себе учеников, и в этом лучшее доказательство того, что эти писатели были всегда одиночками, а не составляли единой «национальной» школы.

В данный момент в Бельгии заметны два течения. Во первых, — резкая реакция против старого поколения, о

котором я говорил выше, а, во вторых, — желание выйти из колеи узкого национализма, грозившего укорениться среди бельгийских писателей вслед за некоторым патриотическим подъемом, который накануне войны принял довольно большие размеры.

Что писатели в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет составляют оппозицию старшим писателям, вовсе не удивительно. Мне кажется, это всегда было так. Но поразительно и ново вот что: молодые писатели вышли из той апатии, которая царила в «нейтральной» Бельгии перед войной, чтобы непосредственно с живейшим любопытством вмешаться в течение литературы французской и даже европейской. Они уже не считают, как раньше, что их «оберегает» граница, они уже не довольствуются «своим домком»: они осмеливаются заглядывать выше этого и ищут приобщиться к лучшему, что есть в литературе и искусстве иных стран. Если в политике еще продолжает действовать волна национализма, которая усилилась благодаря победе, то можно утверждать, что в искусстве и в литературе, напротив, дышит ветер интернационализма.

В конце концов, разве Бельгия не расположена таким образом, что получает лучшие плоды Европы? Ее называли «европейским распутьем». Французский экономист г. Шаррио (Charrigaut) в нескольких своих знаменитых работах доказал даже, что Бельгия постоянно будучи полем битвы при европейских войнах, выказывала себя всегда и как «опытное поле». В самом деле, мало стран, в которых бы европейский дух пынее выражался с большею ясностью и большим усердием, нежели в Бельгии. Отсутствие истинного политического единства (ибо тот национализм, о котором я говорил выше, страдает отсутствием спайки) и преобладание практической деятельности способствуют развитию этого духа, дающего нам

свободу мыслей и поступков, толкают нас на дерзости, если только окончательно нас не сковывают.

Бельгиец находится приблизительно в положении человека, стоящего на башне и наблюдающего оттуда широкий горизонт. Ему немислимо, глядя вперед и вокруг себя, не видеть разнообразия стран, которые его окружают; он абсолютно не может осуществить жажду действия без того, чтобы ринуться вниз и смешаться с теми жизнями, какие он видит. Ему или во что бы то ни стало нужно перейти теснящие его границы, или раз навсегда отказаться от свободы.

Что касается духовной стороны, то Бельгия, в самом деле, лишь башня, построенная лицом к лицу с Европой. Представим себе эту башню, пристроенную к огромному заводу, превосходно оборудованному и снабженному, но необитаемому, — за исключением башни, с которой далеко видно и легко уноситься и взорами и мыслями. Без сомнения, мы подчинены прямому и властному влиянию Франции, благодаря двойному соседству: и земли, и языка. Это-то упорное влияние и позволяет нам приобщаться к европейскому духу с разбором и умеренностью. Латинское происхождение наших суждений, латинский дух наших вдохновений, латинская основа наших обычаев — все это позволяет нам с совершенным равновесием судить о различных течениях во всей Европе и примыкать лишь к тому направлению, которое нам правится и охраняет нас от увлечений, ведущих иные страны к рабскому подражанию. Словом, современная духовная ориентация Бельгии вовсе не резко интернациональная; она умеренно интернациональна и настолько справедлива, насколько это необходимо для здорового и прочного творчества.

III

После этого краткого описания современных тенденций французской литературы в Бельгии, необходимо по-

говорить о писателях и произведениях. Если взять всех поэтов и прозаиков, которые в данный момент представляют собою некоторую величину, то можно заметить в них тот же водоворот, на первый взгляд беспокойный, который сейчас виден и во французских писателях молодого поколения. Полное отсутствие единства, колебание между несколькими течениями. Раскрепощение, преподанное например, творчеством Артура Рембо, произвело впечатление среди поэтов, живущих в Бельгии, но это напоминало море без прилива и отлива... Современная эпоха не менее воинственна, чем эпоха 1880 и 1890 годов, но она гораздо более раздроблена. Вследствии того, что во Франции огромное количество школ оспаривают друг у друга первенствующее значение, борьба все время изменяется; это уже не правильная война, как раньше, но бесчисленные драки, последовательные и внезапные, в которых, однако, можно угадывать признаки близкого успокоения, как предвестника нового классицизма: необходимой почвы для соглашения после периода лихорадочных исканий, из которого, кажется, мы сейчас выходим.

Для большей ясности я разделю современных бельгийских писателей на две группы: писатели, достигшие возраста от тридцати до сорока лет, и те, которые следуют за ними, поэты и прозаики от двадцати до тридцати лет. Из дальнейшего будет ясно, что подобное разделение вовсе не столь произвольно, как может показаться.

Писатели первой категории начали ставить вехи своего творчества еще до войны. Среди них можно заметить большое различие и стремление оградить себя от схоластических догматов и даже, если возможно, от всякого постороннего влияния. Лучшие представители этой группы: Фернанд Кроммелинк, Андре Байон, Т. Серстевенс и ван Оффель. Все они остались чуждыми литературным войнам последнего двадцатилетия. Кроммелинк выступал со

стихами символистского направления, довольно неясно выраженными, и схожими по форме с произведениями его учителя, Эмиля Верхарна. Но в нем преобладает темперамент драматурга, и на этом поприще он проявил себя до конца. Сперва он напечатал несложно задуманную пьесу, «Sculpteur de Masques»*), являющую собой скорее ряд живых картин, нежели истинное действие; в этом юношеском произведении сказались влияния других авторов, возврат к символизму и натурализму и даже живописному импрессионизму. Как бы ни была несовершенна эта попытка, она все же была замечена в Париже, и если не ошибаюсь, в «Théâtre de l'Oeuvre». Только позднее, написав «Cocu Magnifique», Кроммелинк, действительно, выявил свою личность. «Cocu Magnifique», созданный «Lugné Poë», указывает на состояние современного французского театра. После того, как Париж одобрил эту пьесу, она была поставлена за границей, а именно в Москве**). После этого, Кроммелинк написал еще одну любопытную вещь: «Les Amants puérils», и его театр одновременно стали сравнивать и с театром Мольера, и с театром Шекспира. Но его неправильно поняли. Если, действительно, Кроммелинк порою вдохновлялся этими двумя гениями, то все же в действиях и интригах его пьес, в особенности в первой, угадывается фламандская плоть. «Cocu Magnifique», так же и «Sculpteur de Masques», напоминает чередование живых картин, но здесь во всем уже видна твердость и уверенность. Это пестрый ковер, удивительно реальный в своих изображениях, где скорее чувствуется влияние художника, а именно упорного творца существ полу-реальных, полу-фантастичных, — художника Джемса Энсора, чьи про-

*) Переведена на русский язык К. Бальмонтом под заглавием: «Ваятель масок».

**) В. Э. Мейерхольдом, под заглавием: «Великодушный рога носец».

Редакция

Редакция

изведения напоминают какой-то трагический карнавал. Кроме Энсора, Кроммелинк помнил и великого Брегеля, у которого он взял все острое и саркастическое, что мы находим в его произведениях. Если искать сходное с Кроммелинком в современном театре, то я бы указал на пьесы ирландского драматурга Синджа, чья вещь «Baladin du Monde occidental» напрашивается на аналогию с «Cocu Magnifique» в отношении формы и композиции.

Фернанд Кроммелинк единственный бельгийский писатель, которому удалась драматургия. Характер фламандцев более живописующий, нежели конструктивный; поэтому бельгийские писатели более успевают в повестях и стихах.

Андре Байон весьма талантливый прозаик. Его первое произведение, «Moi, quelque part», недавно переизданное под новым названием, «En Sabots», состоит из кратких набросков, говорящих об остроумии и живых красках автора: он описывает жизнь крестьян антверпенской деревни. Стиль Байона состоит из легких непрерывных касаний, производящих в общем сильное впечатление. В его рассказах чувствуется острая наблюдательность Жюль Ренара; в стиле его последних рассказов видно одновременное влияние Пэги и Шарля-Луи Филиппа. Несомненно, последний повлиял на новый роман Байона «Histoire d'une Marie», который напоминает «Marie Donatieu». Байон также близок одному швейцарскому писателю Рамоз, весьма любопытному, который, кажется, подвергся тем же влияниям, как и он.

Т. Серстевенс, фламандский уроженец, почти окончательно освободившийся от черт своего народа, написал вещь чисто французскую. В романе «Les sept parmi les hommes», отличающемся глубиной мысли и превосходным стилем, и в очерках «Le Dieu qui danse», этот прекрасный писатель следует заветам Флобера и Барреса, хотя не чужд и некоторому италианизму, делающему «пластич-

ным» все его творчество. Что касается до ван-Оффеля, то в своем первом романе «Les Enfermés» он исходил из натурализма в духе Экхуда; впоследствии он перешел к творчеству, быть может, слегка неровному и обильному, но в котором утверждаются замечательные достоинства его народа, и виден его дар подмечать и описывать характеры. Лучшими его романами являются: «L'Exaltation», «La Terreur fauve» и небольшая вещь, в которой действующим лицом взят художник ван-Дейк. Стиль его, нервный и резкий, быть может, красочнее, чем стиль Байона, но не так рельефен.

К этим писателям надо бы прибавить и других, но это завело бы нас слишком далеко, да и обзор мой ограничен местом.

Поэтому перехожу ко второй категории писателей — от двадцати до тридцати лет. В то время, как предыдущие являются резко очерченными одиночками, эти, наоборот составляют группы и в точности подражают движению французской литературы последних лет. Здесь я не смогу говорить об индивидуальностях; кроме того, они еще себя окончательно не утвердили. Я должен лишь осветить некоторые течения и назвать несколько имен. Школа унаимистов, соединяющая в себе таких писателей во Франции, как Жюль Ромэн, Дюамель, Вильдрак, нашла себе довольно много учеников среди молодых поэтов, живущих в Бельгии, как например: Рене Вербом, Поль Фиренс, Жан Перье, Роберт Гоффен. Другая группа скорее соединена со школой, называемой «школой Аполлинера». Среди них я могу назвать: Пьера Буржуа, Эрика де Холлевиля, Роберта Гиэтта, Марсель Леконт и Поль Нейнс. В творчестве их сквозит влияние Сандрара, Жакоба и Кокто. Школа экспрессионистов также находит себе учеников, не считая тех, которые принадлежат к группе «Дада». Вот точное и довольно полное описание современного положения. Но я должен тут же прибавить, что

вышеназванные молодые поэты вовсе не рабски следуют течениям передовой европейской литературы; они вносят в свои произведения все лучшее, чем обладает их народ, и стараются побороть влияния, о которых я говорил, чтобы создать и утвердить свою индивидуальность. В виде трибун у них есть свои журналы, интересные и воинственные, с европейскими тенденциями, из которых я назыву важнейшие: «L'Art libre», «Les Signeaux», «Ça ira» «Lumière» и «Créer».

IV

Доведя свое изложение, к сожалению, — краткое и поверхностное, до этих пор, я мог бы спросить себя, можно ли в данный момент найти среди французских писателей в Бельгии ту жизненность, которая отличала поколение 80 годов? Конечно, сейчас мы не обладаем поэтами и прозаиками, чья личность выявляется с той силой, с какой выявлялась личность Верхарнов, Метерликов, Экхузов и ван Лербергов. Но разве не то же самое можно сказать и о современных французских поэтах? Хаос, в котором мечется литература последнего двадцатилетия, — хаос, быть может, великолепный, ибо он заставляет предугадывать новый порядок, — распространился и на Бельгию. Ничего еще нельзя сказать из за отсутствия исторической перспективы. Но нет, по моему, причин быть пессимистами. Народы, не смотря на кровавую политическую рознь, пытаются сблизиться друг с другом, узнать друг друга и взаимно поделить идеями, ритмами, способами восприятия; создается и уже создается путь, на который европейские искусство и литература выйдут омолодившимися и упрощенными.

В последнее время перед войной большая ошибка бельгийских писателей заключалась в уверенности, будто они смогут существовать сами по себе, с ограниченной публикой, со своими издателями, со своими официальными

покровителями. Ибо в последних у них не было недостатка! Но не субсидиями создается великое движение! Для этого нужен был разум, которого здесь не существовало. Бельгийские писатели жаловались, что их не понимают за границей и даже во Франции. Если им верить, то их чуждались. Они воображали, что Франция подойдет к ним, предложит помощь и покровительство, а не станет их вытеснять даже из Бельгии, наводняя книжный рынок парижскими изданиями.

Скверная политика, недальновидная тактика. Бельгийские писатели не поняли, что они сами должны были найти ориентацию независимо от своих границ, и пуститься в открытое море сближаясь с писателями Франции и Европы, смешаться с ними, соединиться с ними так, чтобы не повредить своему личному дару и чтобы их, наконец, стали считать естественными членами огромной европейской семьи. Война подтвердила существование этого заблуждения. Она это сделала и положительно и отрицательно. Прежде всего она четыре года подчеркивала тщетные усилия власти и национализма. Ничто не уцелело от довоенных времен. Духовная эмиграция за пределы наших границ, реальный контакт наших подлинных литературных сокровищ с сокровищами иностранных литератур, совершились силой обстоятельств. Некоторые лучшие бельгийские писатели принуждены были находиться во время войны за границей, жили там, воевали, там же пробудились, узнали себя, укрепились и даже проявились. Тотчас же Франция сочла их своими и двери Европы перед ними раскрылись.

Брюссель, 2 февраля 1923 г.

Баррет Кларк

ЕВГЕНИЙ О'НЭЙЛЬ И АМЕРИКАНСКАЯ ДРАМА

Перевод с рукописи

Несколько лет назад одному специалисту по истории театра было предложено прочесть лекцию об американской драме. На это предложение он ответил, что с большой радостью стал бы говорить о драме в Америке или же об американском театре, но прочесть лекцию об американской драме ему было бы затруднительно, ибо таковой не существует.

С самого возникновения Соединенных Штатов Америки, — и даже задолго до этого, в Америке существовали драматурги, из которых многие умели обращаться с национальными сюжетами и с известным успехом создавали типы американцев и американок. Были также и актеры, — например: Форрест, Бут и Шарлотта Кушман, — столь же одаренные, как и самые выдающиеся их современники-европейцы; были и способные директора театров и чуткая публика и, может быть, существовала настоящая потребность в национальных пьесах, но еще тридцать лет тому назад ни один американец, какой бы он ни был патриот и ханжа, — не решился бы утверждать, что в Америке существует национальная драма.

Лучшие наши драматурги девятнадцатого века, — например Джон Ховард Пэйн или Бронсон Ховард, —

являлись лишь подражателями Пальерона, Скриба и Эмиля Ожье. Им вменялось в обязанность ставить эффектные пьесы для крупных актеров и актрис, с этой задачей они справлялись добросовестно и умело. Однако едва ли найдется хоть одно из многих тысяч драматических произведений, написанных между 1800—1880 годами, которое стоило бы прочесть или исполнить; к тому же большинство рукописей никогда не было напечатано и потому потеряно безвозвратно.

Я хочу упомянуть об одном любопытном и важном факте: Джэкс А. Херн, один из любимейших американских актеров, умерший несколько лет тому назад, написал несколько пьес с расчетом самому исполнять в них главные роли; большинство его пьес пользовалось успехом, а одна — «Прибрежные Поля», шла без перерыва в продолжении пятнадцати лет. Вскоре после смерти Херна, один американский критик пожелал издать его пьесы и принялся разыскивать рукописи; причем выяснилось, что все те, о которых что либо известно, уничтожены огнем, и после усердных поисков удалось найти лишь одну из них. Пьесы «Гриффит Дэвенпорт» и «Маргарита Флеминг» были, по словам немногих старых завсегдатаев театра, которые сами их видели, очень талантливы, — и это все, что мы о них знаем. Факт, что рукописи не были напечатаны или, хотя бы сохранены в целости, уже указывает на то, насколько мало значения придавалось пьесе, как таковой, в Америке, где она являлась слабой «Комедия дель Арте», предназначенной для того, чтобы дать актерам возможность проявлять свои таланты.

В наши дни положение стало иным: в Соединенных Штатах ежегодно печатается три — четыре сотни американских драматических произведений; публика научилась читать, изучать и обсуждать их, а во многих частях страны, далеких от театральных центров, чтение современных пьес заменяет посещение театра. Произведения,

имевшие успех в театрах Бродвэй, печатаются крупными издателями тотчас же вслед за их постановкой; во Франции это — дѣло обычное, но для Америки — новшество.

С того дня, когда Америка сознала существование собственной национальной культуры — лет тридцать-тридцать пять тому назад, — и поняла, что можно выразить Америку в искусстве, — мы неизменно ищем своего Мессию. «Великий американский романист» и «Великий американский драматург» — вот термины, которые в Америке зачастую слышатся среди читающей публики и посетителей театров. Иногда эта часто повторяемая фраза вызывает у нас усмешку и мы с некоторым недоумением повторяем ее, но в ней таится надежда, что мы дождемся наконец того романиста или драматурга, которого с гордостью сможем показать европейским критикам.

Когда я был в Европе тринадцать лет тому назад, французские, немецкие и английские писатели постоянно спрашивали меня: «Кто ваши новые писатели? Какие у вас новые драматические произведения? Что бы мне прочесть, как образец последних и самых значительных ваших произведений?» В ответ я смог назвать им двух, трех интересных писателей кроме нескольких имен, уже известных за-границей. Все читали и еще читают Уптон Синклера и Джека Лондона, но разве не было других? И какие же драматурги черпали содержание для пьес из американской жизни? Я назвал Вильяма Вогана Мооди, Августа Томаса, и Клэйда Фиттс, но являются ли они на самом деле показательными? В то время я жаждал назвать Великого Американского Романиста и Великого Американского Драматурга.

И все же я тогда верил в то, что мы двинулись вперед. Мы тогда, как и сегодня, все еще находились под сенью крыльев Европы. Наши романисты были, по большей части, английского, а драматурги — английского или французского толка.

Американец по природе своей активен, и предприимчивость его вошла в поговорку. Когда война лишила нас возможности получать медикаменты, краски и механические инструменты из Германии, мы просто сказали себе, с оттенком присущей янки самоуверенности, что можем сами выделывать эти предметы так же хорошо, как и немцы выделывали их для нас. Мы поняли с тех пор, что не можем выделывать все так же хорошо, как и они, но любой ученый может вам подтвердить, что последние американские открытия и изобретения значительно сократили торговые обороты между Германией и Америкой.

Двадцать лет тому назад большинство пьес в Америке являлось переводами, переделками или подражаниями европейских. Теперь же, я думаю, можно смело утверждать, что подавляющее большинство пьес написано природными американцами и, по большей части, они оригинальны, т. е. не подражательны. Главной причиной этого служит то, что умелые писатели для сцены в Америке научились применять фокусы в духе Скриба—Сарду не хуже самих французов; другая причина та, что теперь американская публика готова смотреть какие угодно пьесы, лишь бы они были жизненны и отражали ту жизнь, которая ей понятна и которой она может сочувствовать. Мы посещаем театр уже не с целью видеть отличных артистов, безразлично от качества пьесы, — мы хотим видеть пьесу независимо от исполнителей, хотя система театральных «звезд» у нас еще не вымерла. Как правило: наши вкусы разносторонни: та же публика способна проливать слезы над Этель Баримор в «Розе Бернд», хохотать до упада над фривольным французским фарсом, сидеть, затаив дыхание, над такой эксцентричной пьесой, как «Летучая Мышь» и быть очарованной феерией Метерлинка. Мы не ходим в театр смотреть Ибсена или Гауптмана, д'Аннунцио или Джона Смита: — имя драматурга для нас безразлично; во время войны мы даже бросились смо-

треть заведомо немецкую пьесу, которая у нас была выдана за норвежскую. — Мы ходим смотреть пьесы, независимо от их авторов. Большинство американцев равнодушно к тому, кто такой Евгений О'Нэйлль, но они ходят смотреть его пьесы.

Я только что упомянул об О'Нэйлле. Он — последний из длинного ряда Мессий, из которых каждый был в свое время провозглашен «Великим Американским Драматургом». Сначала это был Фитт, потом Томас, потом Мооди, Август Томас, Перси Маккэй, Эдвард Шельдон и еще много других!

Лет двадцать тому назад Эдвард Шельдон был протипом «многообещающего молодого драматурга». Он был еще студентом колледжа, когда М-с Фиск поставила его первую пьесу, «Нэлль из Армии Спасения», которую многие критики провозгласили «великой» и возложили большие надежды на автора. Его же «Негр» оказался хорошей драмой но, со времени ее появления, молодой драматург, которому теперь, кстати сказать, исполнился четвертый десяток, не дал нам, к сожалению, ничего лучше этой пьесы. Быть может, со временем м-р Шельдон разовьет свои драматические способности, которыми он безусловно обладает, но пока он — инвалид.

Год за годом появлялись и исчезали Мессии: одного увлекла фильмовая промышленность, двое или трое умерли; а то, что было написано несколькими другими являлось лишь слабым отголоском их прежних успехов. Большинство «многообещающих юношей» так никогда и не пошло далее своих обещаний...

Когда Евгений О'Нэйлль впервые начал обращать на себя внимание, он не был тотчас же провозглашен как драматург-Мессия и это оказалось хорошей приметой. Мы так часто разочаровывались, что готовы были ждать, пока он не оправдает возлагаемых на него надежд.

Вначале он писал одноактные пьесы для маленького театра, который назывался «Провинциальные Актеры». По мере того, как его известность росла, пьесы его стали исполняться «Актерами Вашингтонского Сквэра» — другой, менее второстепенной труппой. Это было семь или восемь лет тому назад. В то же время он издал небольшой сборник одноактных пьес, написанных им за несколько лет раньше, и являвшихся, повидимому, его первыми опытами. Книга почти не обратила на себя внимания и теперь, насколько я знаю, исчезла с рынка.

Но, как бы ни были эти первые пьесы незрелы, они были, без сомнения, драматичны. В них ясно чувствовался тот же автор, который позднее создал более зрелые вещи, как: «В зоне» и «Луна Антильских Островов». Десять или двенадцать одноактных пьес, исполняемых «Провинциальными Актерами» и «Актерами Вашингтонского Сквэра» представляют собой ряд анекдотов о жизни моряков и фермеров, о темных проделках пьяниц и воров. Ясно, что они написаны человеком, изучавшим и хорошо знавшим жизнь опустившихся «на дно». М-р О'Нэйлль работал на парусных судах, яхтался с моряками и убийцами и однажды очутился на берегах Южной Америки больной и без гроша. Из пестроты своих переживаний и впечатлений он создал свои первые, да и многие последующие пьесы.

Рассмотрим одну или две из этих ранних пьес, например — «Луну Антильских Островов». — В этой драме чувствуется влияние атмосферы на людей; на палубе корабля, зашедшего в тропический порт, моряки, туземные девушки, пьянство, пляски, пение. Над всем этим светит желтая луна. В драке зарезан человек. И это — все. Но в продолжении получаса вы находились в тропиках, чувствовали гнетущую духоту туманной летней ночи, вдыхали испарения рома...

Теперь возьмем пьесу «В Зоне». Торговое судно проходит во время войны зону подводных лодок. Несколько матросов отдыхают в трюме на носу корабля. Один из них держится поодаль — повидимому его что-то гнетет: он угрюм, необщителен. Среди людей царит сильное нервное напряжение. В сумрачном матросе подозревают шпиона. Когда он выходит на палубу, товарищи пользуются его отсутствием, чтобы с многими предосторожностями обыскать его сундучек, в уверенности найти в нем взрывчатые вещества. Находят, однако, лишь пачку писем написанных, повидимому, его возлюбленной. Их читают вслух и трагедия одинокого матроса раскрывается: он оказывается неисправным пьяницей, и любимая женщина прогнала его от себя!

Есть и другие пьесы: печальные происшествия из жизни фермеров и отставных моряков в новой Англии. Одни — описывают захватывающие картины повседневной жизни, в других — последние созвучия трагедий длившихся долгие годы. В них всегда есть только отрывок рассказа, лишь несколько комментариев и немного философских размышлений. Как будто автор хочет сказать: «Вот вам обрывки человеческой жизни. Я не виноват в том, что они не веселы и не поучительны, и не в моих силах сделать их радостными. Вы в праве принять или отвергнуть их».

К тому времени, что М-р О'Нэйлл издал второй том одноактных пьес, «Луна Антильских Островов», лет пять тому назад, он стал тем, что в Америке называют «почти — знаменитостью». Его знали те, кто читает пьесы или посещает театры Нью-Йорка, чтобы видеть их. Однако, он еще не был известен на Бродвэй. С тех пор, как пьесы «для поднятия занавеса» стали исключением на наших сценах, в Америке можно писать одноактные пьесы всю свою жизнь и все же оставаться неизвестным большой публике. Маленькие театры, о которых я упоминал, для

того и появились, чтобы дать возможность авторам маленьких пьес ставить их. Вот причина, по которой и М-ру О'Нэйлл стало необходимым написать большую пьесу для Бродвэя, дабы идти вперед по своему пути.

Молодой драматург в Америке в большинстве случаев начинает свою карьеру на Бродвэй с комедии или фарса; здесь важно прежде всего, чтобы пьеса была весела, философские задания ее — оптимистичны, а представляемые в ней типы — бодры и забавны. Автору, который сумеет написать такую пьесу, иногда удается в более поздние годы — хотя это редко случается — затронуть более глубокие задуманные струнки этих куклообразных улыбающихся героев и даже привести героя пьесы к трагическому концу, обыкновенно предназначенному для типов пожилых злодеев, ставящих всюду препятствия на пути двух любящих сердец.

Но М-р О'Нэйлл несколько иначе начал свою карьеру на Бродвэй. Тема его первой пьесы касалась болезни и страдания, душевной борьбы и смерти. Действующие лица были большей частью мало привлекательны, а главный герой — бесхарактерное существо. Этот молодой писатель решил бросить вызов Бродвэю и взять крепость с самой неприступной ее стороны. Пьеса была тотчас же принята одним умным директором театра и сейчас же исполнена довольно хорошими актерами, за исключением главного, Ричарда Беннета, который чуть было не провалил ее своим шаржем. К счастью, пьеса оказалась из тех, про которые Бернард Шоу говорит, что «никакой актер не в силах их провалить».

Постановка пьесы «За горизонтом» не сопровождалась таким материальным успехом, хотя привлекала публику в течение нескольких недель, и слава о ней распространилась по всей Америке независимо от доходов, которые она приносила. Позднее пьеса эта была возобновлена любителями и в настоящее время является одной

из самых популярных современных пьес в репертуарах более серьезных маленьких театров. — В свое время и Вильям Воган Мооди, и Евгений Вальтер затрагивали в своих драматических произведениях более глубокие темы, но драма эта, написанная молодым тридцатилетним человеком, была как то по новому серьезна, и критики начали шептаться о «Великом Американском Драматурге». Один из них, известный своими крайними суждениями, воспеял его в своей статье, как нечто божественное, и с этого дня молодой драматург стал популярным и стяжал много успехов.

«За горизонтом» — ново-английская трагедия, в которой действующими лицами являются фермеры и моряки. Герой ее — слабохарактерный инвалид, который считает себя вынужденным отказаться от любимой женщины. Жизнь этой женщины трагична и конец пьесы показывает всю неспособность героя справиться с задачами существования.

Характеристика в общем хороша, но остается впечатление, что писатель не умел или не желал подчеркнуть характеры своих героев больше, чем это нужно было для ясности содержания. Естественно, что молодой тридцатилетний писатель не может дать в первом своем крупном драматическом произведении законченные образы героев и героинь. Несмотря на недостатки, «За горизонтом» — одна из лучших пьес, которые дала Америка; наши критики почти единогласно поняли это и потому стали уже чересчур востороженными. Однако, похвалы эти, к счастью, не затронули М-ра О'Нэйлля, хотя и причинили ему некоторый вред; в наши дни в Америке сравнительно легко стать «выдающимся драматургом», но если бы М-ру О'Нэйллю пришлось бы соперничать с немецкими или французскими драматургами 1890-х годов, то это его принудило бы, может быть, настойчивее бороться, дабы удовлетворить требованиям более придиричивой публики

и критиков, чутье которых в силу обстоятельств было более развито, чем наше.

С другой стороны, М-р О'Нэйль имеет для нас значение именно потому, что в нем так мало европейского и, может быть, надо радоваться тому, что родные критики наши не европейского склада.

Я верю, что настанет день, когда выдающиеся способности М-ра О'Нэйлля еще более разовьются, но на это понадобится время. «За горизонтом» — несомненно замечательное произведение, и если бы молодой драматург поставил себе просто задачей писать побольше пьес такого рода и совершенствоваться, то он сейчас был бы уже законченным писателем. Но этого ему было недостаточно; его, как и героя его пьесы, всегда влекло к себе нечто недостижимое, «за горизонтом».

«Император Джонс» — сильный и своеобразный анекдот, в котором при необычайных обстоятельствах раскрывается психология негра, характеристике которого автор, повидимому, придавал больше значения, чем самой завязке; потому и пьеса эта по содержанию глубже предыдущей. «Император Джонс» имел успех у публики Бродвея в продолжении целого сезона, а затем обошел и остальные сцены Америки.

Пьеса «Иной, чем другие», поставленная приблизительно тогда же, представляет собой короткий эскиз, затрагивающий половой вопрос. Он — немного мрачен, но драматически эффектен.

Вслед за ним появилась «Анна Кристи» — исполнявшаяся в Нью-Йорке в течение одного сезона и сейчас уже известная пьеса, в которой рисуя характеры героев, писатель больше стремится раскрыть души их, чем просто рассказать историю или анекдот. Драма эта построена на цепи резких контрастов двух жизней и чувствуется, что завязка здесь — не более, чем предлог. Впрочем, так и должно быть, ибо что же иное в серьезном драматическом

произведении действие, как не средство для его заключения?... — «Анна Кристи» прекрасно задумана и, несмотря на слабый конец, представляет собой большой шаг вперед по сравнению с драмой «За горизонтом». Но и здесь, опять, как и в предыдущем произведении, автор не сумел развить свои мысли вплоть до логического и убедительного заключения. Его концепция пока перевешивает самое выполнение ее. О каком же американском драматурге можно было бы сказать то же самое?

По этой именно причине я и возлагаю такие большие надежды на О'Нэйлля. Если бы «Анна Кристи» была так же хорошо выполнена, как и задумана, то мы имели бы законченного драматурга, которому всего тридцать пять лет, то есть своего рода чудо! Предоставим М-ру О'Нэйлль отдаваться своим грезам и тянуться к недостижимому, и посмотрим на результаты лет через пятнадцать.

Американскому критику особенно трудно хвалить нашего «передового драматурга» — каким он именно и является; но какое же это имеет значение для европейца? Разве он Гауптман или Шницлер, или Ибсен? Или, может быть, он тот, за кого большинство чутких и образованных европейцев могло бы его принять — писатель, в драматической форме передающий то, что Уитман и Поэ, Джэк Лондон и О. Хенри выражали посредством своих героев?

Прежде всего: то, что О'Нэйлль почти во всех отношениях истый американец — большое счастье. «Косматую Обезьяну» не легко сравнивать с «Игрой в любовь» или «Ганелле» или «Кукольным Домом», и это, конечно, говорит в пользу О'Нэйлля. Какое-же впечатление эти новые американские пьесы производят на европейца?

Для того, чтобы узнать какое впечатление производят на чуткого европейца самые выдающиеся наши драматические произведения, я послал два тома этих пьес Гуго

фон Гофмансталью и недавно получил от него рукопись статьи по их поводу. Он пишет, что «они насквозь проникнуты пониманием сцены. Каждая из них ясна и определена в линиях, каждая с начала и до конца прочно построена». Далее он говорит о том, что «лучший драматический диалог, как правило, тот, который обладает богатством и разнообразием жизненной силы, не рассчитанной на какое либо определенное воздействие; диалог, не сопровождаемый ни одним неоправданным движением, а являющийся каким то избытком неиссякаемого изобилия». «Такой диалог» говорит он, «можно встретить в лучших вещах Стриндберга, иногда у Ибсена, и всегда у Шекспира. Действующие лица в пьесах М-ра О'Нэйлль, если к ним прилагать такую высокую мерку, кажутся мне чуть прямолинейными: они произносят те самые слова, которых логически требует положение; кажется, что они росли с корнем в то положение, в которое случайно попали; они недостаточно пропитаны атмосферой своего собственного прошлого, тогда как прошлое владеет всеми нами, владеет неизбежно и подсознательно... Герои М-ра О'Нэйлля недостаточно прочно связаны с настоящим именно потому, что они у него недостаточно связаны с прошлым».

В заключение — еще один очень значительный комментарий, касающийся сравнительно неудачных пьес «Анна Кристи», «Император Джонс» и «Обезьяна». Гофмансталь говорит, что они «немного слишком просты, слишком ожиданны; для европейца с его сложной фактурой, всегда будет некоторым разочарованием видеть, как стрела ударяется в ту самую мишень, по направлению к которой она летела. Мне кажется, что причина слабости этого в том, что автор не будучи в состоянии сделать диалог полным выражением человеческих чувств, принужден в заключениях пьес «выжать его, как мокрую губку». — Гофмансталь заключает статью следующими словами:

«Я не сомневаюсь в том, что он сделает успехи, когда, с течением времени, научится лучше владеть своим материалом и, главное, своим собственным талантом».

Слова: «Своим собственным талантом» — как нельзя лучше подходят к О'Нэйллю который, как мне кажется, страдает избытком его. Я слежу за его развитием вот уже несколько лет, и нет ни единой пьесы, в которой не сказался бы писатель с истинным талантом. У него есть способность создавать драматические положения никогда не лишённые смысла: он умеет рисовать своеобразные черты характера. Но, при ясности своих намерений, он не всегда умеет выразить их так, как бы ему этого хотелось. Император Джонс, герой пьесы «За горизонтом», «Анна Кристи» по концепции своей вполне ясны, и ситуации все — логичны, но М-р О'Нэйлл не может противустоять соблазну создать ситуацию более увлекательной, чем герои. Он не умеет вызвать к жизни все, что таится под оболочкой и нам удастся только мельком взглянуть на горизонт, — хотя он нам постоянно твердит о существовании чего то неведомого «за горизонтом».

Как говорит Гофмансталь, «речи его героев слишком откровенно и бесхитростно искренни, и потому лишены элемента неожиданности».

М-р О'Нэйлл всегда помнит, что он пишет для сцены и, главное, для американской сцены. Американская же публика требует действия, движения — или по крайней мере оживления; анализ душевных переживаний мало нас трогает, что для меня, без сомнения, признак здоровья. Мы не интересуемся пьесой, в которой автор развивает элемент психологии в ущерб действию; мы готовы поступиться тонкой характеристикой, лишь бы видеть на сцене движение. Вот причина, быть может, побуждающая О'Нэйлла вводить своих героев в прочно-построенные, уже подготовленные рамки содержания, и не предоставлять им самим создавать положение и давать завязке то

или иное направление. Особенно это сказалось в пьесе «Косматая обезьяна», где некоторые факты, касающиеся современной цивилизации, раскрываются самим действием, тогда как действующие лица становятся безвольными куклами.

Не знаю, читает ли М-р О'Нэйлл все, что пишется о его произведениях, и как относится он ко всем похвалам, которыми так часто его балуют, но думаю, что он к ним почти равнодушен, как недюжинный писатель, который знает чего хочет. Он, наверно, сознает, что наступит миг, когда маятник покачнется обратно, и другой «Великий Американский Драматург» займет его место: ведь американцы легко откликаются на всякую новизну, но так же легко и забывают ее. Но когда этот день настанет, он, я уверен в этом, улыбнется и спокойно будет продолжать свою работу.

Я говорил о некоторых недостатках, которыми страдает О'Нэйлл, как создатель типов. Нужно указать еще на один из его недостатков. В своих произведениях О'Нэйлл пока затрагивал почти всегда одни мрачные, трагические темы; он постоянно говорит о болезни и разрушении и духовном и физическом убожестве. Быть может, наш американский театр нуждается от поры до времени в пьесах с подобными темами, хотя бы в противовес беспечным комедиям о юности и удаче, но я сейчас думаю больше о М-ре О'Нэйлле, чем об американском театре. Я чувствую, как сроднился с его пьяницами, моряками, полоумными шутами и чахоточными, с его бродягами; я рад узнать их так близко, но мне кажется, что М-р О'Нэйлл знает человечество еще лучше, чем показал это нам. Я уверен, что он может создать комедию. Герои его были случайные гости прибрежных портов, люди из заброшенных уголков страны, а между тем он знаком с жизнью больших городов, он должен знать и американского деловика, и его жену и других выдающихся пред-

ставителей современного американского общества. Пожелаем же, чтобы он подарил нас комедией. Пусть она будет полна горечи или сатиры, если это необходимо; в жизни нашего времени, я в этом уверен, кроется комедия, достойная смеха и богов и всех честных людей.

Джон Голсуорти

ОЧЕРКИ О СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В АНГЛИИ

Перевод с рукописи

В период катастрофы 1914 года и некоторое время спустя в Англии открыто высказывалось мнение, что наша беллетристика должна изменить свое течение, отрешиться от старых вех и войти в новое русло. — Однако, в водовороте последних девяти лет ничто так резко не бросается в глаза, как ложность этого пророчества: английская беллетристика изменилась не больше, а, может быть, даже и меньше, чем могла бы измениться за девять лет нормальной жизни. В 1913 году несколькими нашими молодыми романистами была выпущена в свет серия коротких статей о наших выдающихся старших романистах, а именно: Томасе Харди, Генри Джэмсе, Джозефе Конраде, Х. Т. Уэльсе, Арнольде Беннет, М-с Хэмфри Уард и об авторе данной заметки. — Критиками их были: Ребекка Уэст, Гуго Уальполь, И.Д. Бересфорд, В.Л. Джордж и Шэйла Кэй Смит. Среди старших ничего, повидимому, не изменилось, кроме того Мэй Синклер, пользовавшаяся известностью уже в 1914 году, является заместительницей умершей М-с Хэмфри Уард, а Джордж Мур, известный уже лет двадцать пять тому назад, — заместителем также умершего Генри Джэмса. К упомянутым же пяти выдающимся молодым, как и в 1914 году, можно прибав-

вить Сомерсэт Вогана, Д.Х. Лауренса, Вальтера де-ла Мара, Е. Ф. Форстера, Комптона Мэкэнзи, Джилберта Каннана, Оливера Оннсона и Чарльза Марриотта. — Самые интересные беллетристы нашего времени — Стэси Омонье, А. П. Герберт, Ольдус Гёкслей, Брэтт Ионг, Э. Л. Грэнт Уатсон и А. С. М. Гетчинсон; из писательниц следует указать на Катерину Мэнсфильд, Клеменс Дэн, Энид Багнольд и Бити Сэквилл Уэст; но в их трудах нельзя усмотреть развития, которое можно было бы приписать войне. Можно даже сказать, что влияние русского Чехова на английскую беллетристику оказалось сильнее влияния мирового бедствия. Например, дарование одного из самых даровитых и новых из перечисленных авторов, а именно Катерины Мэнсфильд, которая месяц тому назад умерла совсем молодой, оставив в наследство два произведения, достойных внимания: «Блаженство» и «Праздник в саду», — находится в прямой связи с дарованием Чехова, и она даже превзошла его в умении передавать трепет повседневной жизни и проникать в тайники той драмы, которой связаны события.

Обратясь к поэзии, мы увидим то же положение вещей. Киплинг, попрежнему занимает то особенное, одинокое положение полу-обожяемого, полу-презираемого писателя, которое занимал он в течение последних двадцати лет. Роберт Бридж все еще — поэт-лауреат. Имена Джона Мэзфильд и В. Б. Иэтс все так же известны; кроме них, как и до войны, можно упомянуть Вальтера де-ла Мара, Джона Дринкуатер, В. Х. Дэвис, Лауренса Бильона, Ральфа Ходгсона и И. Т. Скуайра.

М-с Мейнелль умерла, Джемса Флекер также нет в живых, и его шедевр — поэтическая пьеса «Гассан» — хотя уже и напечатана, но все еще ждет исполнения. Эта пьеса — одно из украшений английской литературы; она построена на фабуле из «Тысячи и одной ночи» и, будучи хорошо переведена, могла бы пригодиться для театров

любой страны. Я советую Московскому Художественному Театру обратить на нее внимание. К новым поэтам относятся: Зигфрид Сассун, пожалуй, самый неподдельный продукт войны, за последнее время, однако, мало давший нового; Эдмунд Блэнден, поэт сельской жизни и чувствований; Роберт Никольс, Роберт Грэвс, и многие другие, но ни в одном из них, кроме Сассуна, нельзя отметить особого отклонения от нормального развития английской стихотворной формы.

Из литературных критиков, писателей небольших очерков, можно, как и в 1914 году, назвать Г. К. Честертон, Макса Бирбома, Е. В. Люкаса, Артура Мэчена, Иллара Беллока и А. Ч. Бензона. Есть только одно крупное новое имя — Литтон Стрэйч, но из всех писателей на нем, может быть, наименее сказалось влияние войны.

В трудах историков, как Джордж Трэвеллэн или Джон Фортескью, нет и признака какой бы то ни было перемены.

Самые влиятельные и новые наши критики — И. Т. Скуайр, Джон Миддлтон Муррей и Сэнт-Джон Эрвайн были известны уже в 1914 году.

Автор «Багряной Страны», «Зеленого Дома» и множества книг о природе и птичьем царстве, один из виднейших наших писателей, В. Х. Хёдсен умер, и утрата эта незаменима.

В сфере драмы Шоу, Барри, Пинеро и автор этих строк почти не подвинулись вперед. Сомерсэт Могам и Альфред Сётро, как и прежде — любимцы публики. Грэнвилль Баркер на время забросил свой талант; Мэзфильд мало пишет для сцены. Можно назвать по крайней мере шесть новых драматургов, произведения которых значительны в различных отношениях: Джона Дринкуатер, известного пьесами с исторической фабулой: «Авраам Линкольн», «Оливер Кромвель» и «Мария Стюарт»; Гордона Боттомлей, много обещающего своими романтическими

драмами в стихах, как например «Грюаг»; Сэнт Джона Эрвайна, уже с 1914 года зарекомендовавшего себя несколькими подлинными драмами; есть еще другой ирландец, Леннокс Робинсон, автор двух комедий: «Потерянный Вожак» и «Белоголовый мальчик»; А. А. Майльн, самый увлекательный новый писатель легких комедий, и Клемэнс Дэн, завоевавший крупную известность пьесами: «Разводный акт» и «Уилль Шекспир».

Во всем этом нет ничего, или почти ничего, что не появилось бы на свет, еслибы войны никогда не было. Война нас, быть может, научила относиться и к жизни и к литературе менее серьезно. Но, на самом деле, не война, а революция заставляет литературу какой-либо страны изменить свое течение. В 1915 году я писал: «Для всех почти сколько нибудь значительных писателей-беллетристов война является вырождением человеческой жизни, чудовищным бедствием и злом. У них врожденный ужас перед ее разрушительным началом и несчастьями, ею несомыми, к ее неприкрытому бессмысленному зверству. Для них война не имеет никакого пафоса, никаких прикрас. Писатели, видящие в ней какую либо красоту, за редкими исключениями, не бывают творцами хороших произведений. Поэтому мы должны тотчас же опровергнуть предсказание о том, что война возвысит литературу до эпического пафоса, заставит ее расцвести и заблестать героическими подвигами и пчеловеческими образами... По какому то таинственному закону, попытки заключить героизм в рамки искусства почти всегда неудачны. В литературе мало великих творений, в основе которых лежал бы героизм... Минутное, и может быть, интенсивное впечатление от войны у писателя-беллетриста заключает в себе нечто спазмодическое, бредовое, почти ложное; род какой то глубокой и трагической непоследовательности. Она слишком чужда его настоящему, внутреннему «я»... По этим, да и по многим другим причинам, влияние вой-

ны на литературу будет поверхностно и непродолжительно. Но, добавляя я, страна должна будет перенести великое внутреннее потрясение, если только то национальное единение, которое сейчас в ней преобладает, не иссякнет и дальше, в продолжении мирной эпохи вслед за войной. Потрясение это, по всем вероятностям, будет иметь более глубокое и могущественное влияние на область литературы, чем сама война».

До сих пор Англия была избавлена от какой-либо исключительной внутренней борьбы; до сих пор у нас не была, и, как мне думается, не возможна внутренняя борьба вроде той, которая изменила течение французской литературы, как было во времена Революции или нашей родной литературы в Гражданскую Войну 1642 года или опять же при восстановлении монархии в 1660 году.

В общем я не могу отметить какого либо преобладающего направления в английской литературе в настоящее время. В ней меньше определенного движения, чем было во время великого Либерального Возрождения в 1906 году, когда социальные проблемы и реформы завладели умами писателей; меньше даже, чем то было в 1912 году, когда реакция после названного движения направила главное течение литературного сознания к Достоевщине. В настоящее время английская литература переживает период попыток и намерений, и в ней отсутствует какое либо доминирующее направление. Мы видим в ней довольно много дешевого цинизма и юного самодовольства, поползновение отойти от жизни и ткать удары в воздухе; есть в ней и несколько преувеличенное увлечение сенсационным романом и приключениями. Но книги пишутся самые разнообразные: реалистические, сатирические, лирические, и назвать хоть одно из этих направлений преобладающим — было бы невозможным.

Грегорио Мартинеу Сиерра)*

ХАСИНТО БЕНАВЕНТЕ

Перевод с рукописи

Он родился 12 августа 1866 г., сын доктора, получил консервативное воспитание. В мадридском университете изучал право, но курса не окончил: независимость духа помешала ему подчиниться университетской дисциплине и ее бесконечной скуке. Он никогда не вмешивался в политику, но, может быть, по настоянию своих друзей, был выбран депутатом «мауритской» консервативной партии, но ни разу он не произнес речи в палате депутатов: социальные и политические вопросы не интересуют его, и, человек искренний, он никогда не притворяется интересующимся ими. Его волнуют лишь «индивидуальные»

*) Грегорио Мартинеу Сиерра — один из популярнейших писателей Испании. Им написано около сорока комедий и, совместно с женой, Марией, несколько сборников новелл, один из них издан на русском языке «Всемирной литературой». Из последних пьес Сиерра особенно солидный успех имеет в Испании, Португалии и Южной Америке «Дон Жуан Австрийский». Сиерра перевел на испанский язык пьесы Шекспира, Ибсена, Биорнсена, а также многих французских драматургов. В настоящее время он стоит во главе Мадридского «Комико-драматического» театра, не чуждого новаторских задач и внимательно следящего за жизнью русского искусства и сцены.

Редакция

конфликты, все произведения Бенавенте показывают это. От души к душе, от воли к воле, от человека к человеку, но всегда человек, как свободный индивид, вне зависимости от социального организма.

Написал почти сотню драматических произведений: между самыми удачными, наиболее напумевшими, были: «Комедия зверей», сатирическая пьеса, едкая и сильная; «Обыденное» — приятная, несколько сентиментальная; «Созданные интересы» — прелестный фарс в духе «Comedia del arte» и «Нежеланная» — деревенская драма, тягловая, образец строго выдержанного стиля. Это говорит о разнообразии его таланта и оттенках творчества.

В настоящее время он во главе драматической труппы, как директор ее, раз'езжает по городам Южной Америки. Ночью, во время путешествия, на одинокой станции аргентинской пампы, Бенавенте получил известие, что он удостоен Нобелевской премии.

«Больше всего люблю искусство, но все то, что я выразил в своих произведениях, было лишь тщетным усилием выразить бесконечную любовь.»

Так говорит Хасинто Бенавенте в предисловии к полному собранию своих сочинений.

— «Я не хочу подгонять пьесы к вкусам читателей, — говорит он дальше, — я хочу публику возвысить до понимания моих произведений.»

Любовь к искусству и независимость мысли яркими чертами проходят сквозь все творения этого писателя, справедливо признанного критикой и читательской массой первым драматургом современной Испании.

Служению искусству, оказывается, по счастью, не такой уже тщетной мечтой Бенавенте, как, с насмешливой скромностью, он утверждает...

Отважная независимость духа, как логическое последствие, создало ему самую широкую популярность.

Хасинто Бенаvente большой художник, человек огромного таланта.

По моему, его талант универсален, и он мог бы так же спокойно и успешно подвизаться на какомнибудь другом поприще, как и заниматься драматургией. Он дал ряд превосходных пьес; думаю, точно также из под его пера могли бы выйти блестящие рассказы и глубокая критика, потому что духовные силы Бенаvente способны вылиться и во все иные формы творчества.

Художественное отражение действительности у него всегда на первом плане... Его искусство всегда выше искусственности. Его произведения, как кристаллизация, как проростание семени, начинаются глубоко в тайниках истинно талантливой души и выливаются наружу в прекрасных романтических формах. В этом залог его успеха и залог отсутствия изысканно сценического эффекта или вымученного финального акта... — «Прежде всего ищите царствия Божия — остальное приложится».

Я уже сказал, что духовные силы его универсальны. На первом месте надо поставить удивительную ясность разума, быструю способность анализа, как бы обгоняющую весь процесс логического построения. Беседовать с ним — лучший отдых для ума. Он понимает собеседника почти без слов, почти взглядом... Он предугадывает идеи, события и духовное содержание личности. Поэтому — мало что способно изучить его... Откуда же вытекает его находчивость, его ирония, которую часто принимают за «холодность». Бенаvente все понимает, быть может, — не все извиняет, но дает каждому проявлению жизни несомненное право на существование. К чему отрицать то, что «должно быть», что неизбежно «будет»?

Изумительная ясность и сила его ума рельефно проявляются в его способности к автокритике: наиболее беспощадная, самая точная критика пьес Бенаvente принадлежит именно ему самому. Автор всегда знает не только

то, что он выразил, но и все те коррективы, которые ему желательны, и которые ему подсказываются его талантом.

Много говорят об остроте его сатиры. Истинная ценность ее в том, что автор мужественно и благородно умеет сочетать грубость и резкость концепции с изящной мягкостью выражений.

К этому надо прибавить его всестороннее образование. Бенаvente не ученый, к счастью, не гуманист, но он вечный бродяга всех широких и малых дорог, садов и лесов и всех извилин человеческой души.

Это один из немногих умов современной Испании, который отражает в себе картину, схему, синоптическую таблицу внутреннего смысла мировых явлений, или как угодно назовите это. Всякое явление жизни претворяется в его сознании в яркий художественный образ. Быть может, он забыл или никогда даже точно не знал хронологической даты взятия Константинополя турками, но можно быть совершенно спокойным, что это не ворвется диссонансом в его стройную цель мироздания.

В мире Бенаvente каждый факт не — только любопытное ископаемое, но его семя, нечто неразрывно связанное с ним самим. Каждое вновь приобретаемое познание превращается его кузницей слова в художественное произведение под звонким молотком его творчества. Вся земля — дом его, и вся литература мира — сад его: «Поэзию беру там, где ее встречаю». Все одинаково преисполнено тайнства, красоты, и волнуется его творческий дух. Эхо всех его пьес, мотивы которых он подслушал своим «внутренним» слухом, победно и громко раздается в современной литературе, где, увы, так часто забывают искусство писать.

Итак вкратце, Бенаvente отражается в своих произведениях как в зеркале, — скорее как в подвижном кристалле ручья, в котором само преломление изображения дает свежесть разнообразия.

Его никогда не занимает моральное содержание фактов; он видит в них лишь проявления красоты и силы жизни; поэтому, если-бы было желательно искать путеводную нить в его произведениях, то это привело-бы к неожиданным скачкам через пропасти, к изумляющим противоречиям. Он не мастер жизни, он художник ее, придающий золоту, выходящему из его рук, форму небывалых драконов, когда этого требует в нем художник; он озабочен единственно-ценным для него — созданием красоты. Разумеется, из под его пера выходят также и точные изображения действительности, но не это волнует его; в борьбе с материей его главная святыня — красота.

Творчество Бенаvente морально в смысле отсутствия правил нравственности, но вместе с тем глубоко воспитательно. Его сущность — любовь, которая совершенствует наши эстетические способности. Это синее небо, зеленое поле или цветы: они не дают нам никаких медицинских рецептов, но приносят отдохновение усталым глазам....

Первая пьеса, увидавшая сцену в постановке труппы Эмильо Марьо в театре «Комедия», была «Чуждое гнездо», не знаю, точно первая-ли в хронологическом порядке из написанных Бенаvente пьес. С тех пор прошло больше четверти века непрерывного труда, не сделавшего искусства Бенаvente ремеслом, но — всю его жизнь искусством; оно дало нам поразительное разнообразие форм и приемов; мечтаний и страстных брожений с вечной молодостью и постоянным самоанализом.

Сегодня — язвительная социальная сатира с сюжетом мелочно-реалистическим, на мой взгляд, самая значительная из всех его сатир — «Обед зверей», поставленная в первый раз при сомнениях импрессарио и актеров в успехе; завтра — та же самая сатира с ее утверждением новой, сильной личности, одетая с прелестью маскарада и фантазией автора, превращается в «Созданные интересы».

Сегодня — романтическая «Сказка любви», — экскурсия в благовонный сад Шекспира, всегда бывшего предметом поклонения Бенаvente. На ряду с этим тонкая пессимистическая ирония в «Жестоким прощании». Потом опять грациозная фантазия «Без любви».

Дальше идут: декадентские меланхолии в «Жертвах» и в «Торжествующей душе», где автор воспекает смысл самоотвержения; утверждение смысла свободы и неограниченного индивидуализма в «Любви любить» и в «Принцессе Бебе»; поэтические образы далеких стран в «Огненном драконе»; изящная экзотика в «Субботней ночи»; восхваление буржуазной морали в «Осенних розах», в «Грубой силе» и в «Вблизи»; резкое осуждение этой же морали и презрение к лицемерию в «Преступниках добра» и порицание ее жалкой трусости в «Сквозь тучи»; восхваление самоотверженности женщины в «Кармен»; красочное изображение черствого честолюбия, как высшего идеала женщины в «Империи».

Утверждение материнской любви, как могущественного возбудителя в жизни женщины в «Барыне — хозяйке» и в «Младшей мечте»; наивность и простота в «Принце», который все узнает из книг; не менее убежденный скептицизм в «Мы все равны»; тоскливая грусть в «Глазах умерших»; радость в «Природе»....

Вот неполные результаты тридцатилетней беспокойной умственной жизни, внешне почти неподвижной; тридцать лет неустанного претворения в художественные формы всех сторон жизни, постоянных мучительных исканий таланта, жажда новых просторов и свежего воздуха, работа человека, который больше всего боится состариться, замереть в настоящем, и который пылливо проникает во все новое, что видит на своем пути.

Творчество Бенаvente протекало в последние годы прошлого столетия и в первые настоящего, это «fin de siècle» и «nouveau siècle», если таким произвольным обра-

зом можно разграничивать время. Бенаvente носитель всего беспокойного, всего ищущего — упадка и проростания. Связанный своим воспитанием и семейными узами с тем, что умерло, с прошлым поколением, он носит в крови пессимизм похороненного в своих невзгодах прошлого и вместе с тем на своих крыльях он несит животворный порыв нового нарождающегося поколения; отрицание, выраженное в произведениях его первых лет, уступает место здоровому оптимизму последующей эпохи. Он с болью похоронил своих стариков, отдав должное уважение обветшалому прошлому и теперь, радуясь новому, идет вровень с молодыми побегами жизни. Мы же, сознавая свой долг, должны воздать по заслугам Бенаvente, как в свое время — гению Перес Гальдоса. Если великан, который мог бы быть почти нашим дедушкой, поучал нас: «Вот поприще правды, здесь — жизнь с ее кровью и розами», то Бенаvente, который лишь несколькими годами старше нас, как брат, говорит нам: «Вот самый лучший способ придать прекрасные живые формы холодному мрамору действительности».

Я, пришедший в последний час, признаю, что благодаря им обоим понял великое дарование драматического автора, такое же легкомысленное подчас, как игра девочки с куклой, и такое же великое и бесполезное, как занятие Иеговы, который, забавляясь, создает людей из глины.
